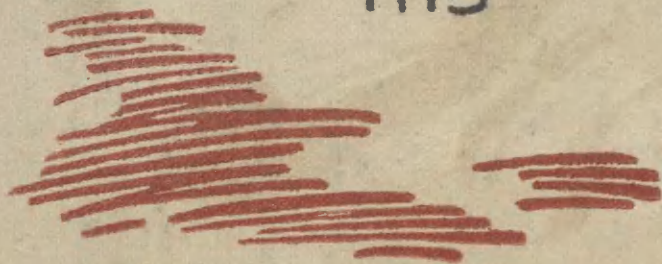


63.3(2P-4Cам)622

63.3(2P-4Cам)622

H.15



# Навеки памятные дни



98

# Навеки памятные дни

---



КУЙБЫШЕВСКОЕ  
КНИЖНОЕ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО

1975

К 0-7-3-2-1-26  
М148(03)-73 26-75

9(c)27  
H15

Куйбышевская областная  
библиотека им В. И. Ленина

а  
а1711331

**«НИКОГДА НЕ ПОБЕДЯТ ТОГО НАРОДА, В КОТОРОМ РАБОЧИЕ И КРЕСТЬЯНЕ... УЗНАЛИ, ПОЧУВСТВОВАЛИ И УВИДЕЛИ, ЧТО ОНИ ОТСТАИВАЮТ СВОЮ, СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ — ВЛАСТЬ ТРУДЯЩИХСЯ».**

**В. И. ЛЕНИН.**

Великая победа в Отечественной войне 1941—1945 гг. ковалась всем народом, во всех уголках нашей необъятной страны.

Свой вклад внесла в это священное дело и наша Куйбышевская область. Все, кто способен был носить оружие, встали в ряды Советских Вооруженных Сил.

На Неве и Днестре, на Днепре и Дону, на берегах своей родной реки Волги сражались куйбышевцы в героических полках и дивизиях. С боями прошли по всей Европе и оставили на здании рейхстага свой знаменитый автограф: «Мы с Волги».

Великие дела совершал советский народ и в тылу. Старики и женщины, молодежь, подростки, дети заменили тех, кто ушел на фронт, у станков и в поле. Они ночевали в цехах, у машин, значительно перевыполняя производственные задания. Женщины овладевали мужскими профессиями, комсомольцы организовывали сбор средств в фонд обороны. С утроенной энергией работали старые предприятия, обрели вторую жизнь эвакуированные из западных областей заводы.

Областная партийная организация возглавила патриотическое движение, направленное на помощь фронту, на восстановление освобожденных от врага городов.

В фонд Главного командования Вооруженных Сил были сданы не только сверхплановая продукция заводов и фабрик, но и средства из личных сбережений куйбышевцев. 114,3 млн. рублей собрали наши земляки в фонд обороны и особый фонд Главного командования.

А сколько патриотического духа проявилось в сборе средств на эскадрильи самолетов и танковые колонны! 64 самолета были приобретены и подарены фронту куйбышевцами! Сколько теплых вещей собрали наши земляки и

отправили на фронт, скольким бойцам и командирам согрели сердца и души исполненные материнских наказов и нежности письма на фронт.

Это было поистине нерушимое единство фронта и тыла, совместными усилиями ковавших победу.

Это незабываемо.

И нет ничего удивительного в том, что тема войны стала одной из ведущих тем советской литературы.

В годы войны и в послевоенное время писатели, поэты славят великий подвиг советского народа, его мужество, духовное величие и красоту, его историческую освободительную роль в жизни и судьбах народов земли.

Эта книга — еще одна попытка рассказать о войне, низко поклониться ее героям. Она, естественно, не претендует на полное освещение войны, на то, чтобы всеобъемлюще нарисовать картину участия куйбышевцев в ней. Это лишь отдельные штрихи, отдельные портреты и события. Произведения, включенные в этот сборник, дышат пороховым запахом военных лет, воссоздают трудную, суровую, но героическую пору в жизни нашей страны.

Авторы сборника — писатели, поэты, журналисты. Многие из них сами активно участвовали в сражениях.

Немало среди авторов и людей молодых, которые сами в войне не участвовали, но знают ее по рассказам родных и близких людей, по книгам и воспоминаниям. Их произведения — это слово нового поколения, безгранично благодарного своим отцам и старшим братьям за их высокий подвиг.

Книга «Навеки памятные дни» посвящается славному тридцатилетию исторической победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.

**22 ИЮНЯ 1941 ГОДА**

Казалось, было холодно цветам,  
И от росы они слегка поблекли.  
Зарю, что шла по травам и кустам,  
Обшарили немецкие бинокли.

Цветок, в росинках весь, к цветку приник,  
И пограничник протянул к ним руки.  
А немцы, кончив кофе пить, в тот миг  
Влезали в танки, закрывали люки.

Такою все дышало тишиной,  
Что вся земля еще спала, казалось.  
Кто знал, что между миром и войной  
Всего каких-то пять минут осталось!

Я о другом не пел бы ни о чем,  
А славил бы всю жизнь свою дорогу,  
Когда б армейским скромным трубачом  
Я эти пять минут трубил тревогу.

1943 г.

**УКАЗ  
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР**

На основании ст. 49 пункта «Л» Конституции СССР Президиум Верховного Совета СССР объявляет мобилизацию на территории военных округов — Ленинградского, Прибалтийского особого, Западного особого, Киевского особого, Одесского, Харьковского, Орловского, Московского, Архангельского, Уральского, Сибирского, Приволжского, Северокавказского и Закавказского.

Мобилизации подлежат военнообязанные, родившиеся с 1905 по 1918 год включительно.

Первым днем мобилизации считать 23 июня 1941 года.

**Председатель Президиума Верховного Совета СССР  
М. Калинин**

**Секретарь Президиума Верховного Совета СССР  
А. Горкин**

Москва, Кремль, 22 июня 1941 г.

## ГРАНИЦА

В памяти ветерана — вся война, как и вся жизнь: только затронь, и хлынут воспоминания, никакой плотиной не сдержать, да и надо ли сдерживать...

Уроженец села Черноречье Федор Климентьевич Левада помнит ступени и ступеньки, что вели его в сегодняшний день.

Вот он парнишкой бегаёт в школу, верховодит над ребятами-сверстниками... А вот и судьба его, кажется, определалась — он учитель сельской школы.

Годы на погранзаставе. Благодарности за службу — за отличие в выполнении заданий — и демобилизация. Здравствуй, Волга, родное Черноречье!

Партия — а Левада уже коммунист — призывает послужить правому делу. Крутой поворот. Высокая ступень. Будут еще выше и круче. Бои в тылу врага, снайперская школа, снайперская служба.

Ранения. Награды. Цифры в личной карточке снайпера — число уничтоженных «своею собственной рукой».

Наступательные, освободительные бои... Увольнение в запас, рабочие будни на заводе. Но во всей этой многоверстной дороге особенно живучи в памяти первые семь дней боев на границе, где Федор Левада организовал отряд ополченцев и стойко сдерживал натиск гитлеровцев.

«Величайшую преданность Родине, партии Ленина, стойкость и мужество показали бойцы, командиры и политработники в борьбе с фашистами. Они оставили границу только по приказу командования, передав ее частям Красной Армии. 2 июля 1941 года участок государственной границы был передан 30-й, 74-й и 176-й стрелковым дивизиям 9-й армии...

Командир подполковник Капустин.  
Начальник штаба майор Захарчук».

В составе 20-й погранзаставы действовал отряд ополченцев Федора Левады.

\* \* \*

Пасмурно. Накрапывает нудный осенний дождь. Федор идет от обкома партии к железнодорожной станции Черновицы. Длинная шинель перекинута через руку, на голове фуражка с зеленым верхом. Федор не обращает внимания на дождь, на красивые даже в такую погоду улицы города: листва с деревьев уже облетела, лежит под ногами золотыми дорожками.

Федор получил назначение, инструкции... МТС, куда его направили заместителем директора, пока еще не существует, нет ни машин, ни специалистов. Есть место, где будет МТС, — бывшее имение какого-то помещика Жур-Журьяна, сбежавшего в Румынию. Надлежало принять хозяйство, взять на учет разбежавшийся по лесам и болотам скот, птицу. Жур-журьяновские батраки боялись взять из имения что-либо для себя, хотя у редкого крестьянина имелись вол или лошадь. Думали, Жур-Журьян вернется вскоре и последнюю шкуру сдерет. Пусть лучше пропадом пропадает его добро. Пришел в запустение пруд, где помещик разводил рыбу, остановилась мельница...

— Эх-ма! — вздохнул Федор. И опять, уже в который раз, подумал, а не напрасно ли согласился ехать сюда. Как его уговаривала Зина отказаться, но когда он показал армейскую путевку, сникла, сдалась вроде. А как она печально смотрела вслед ему, провожая, словно предчувствовала беду. Напрасно он утешал ее, говоря, что приедет на место, обоснуется и ее вызовет или прилетит за ней на самолете. Девушка желала ему всего наилучшего, просила беречь себя и обещала приехать по первому зову. Она бы и сейчас поехала, но как поедешь, они ведь пока еще не муж и жена.

На околице села провожающие отстали, а Зина все еще шла с Федором за подводой. Наконец она словно опомнилась и остановилась:

— Простимся, Федя. Пора. Ну, до свидания, не смотри на меня, не надо. Пусть в твоей памяти я останусь веселой. Вот такой! — И Зина попыталась улыбнуться, но улыбка не получилась. Федор отлично понимал настроение девушки,

он и сам-то чувствовал, как к горлу подкатывается комок, и, чтобы не выдать себя, обнял девушку, чуть склонившись, крепко поцеловал, а когда отпустил, она быстро несколько раз поцеловала его и толкнула слабо так в спину:

— Иди, иди...

Он пошел, а она стояла и смотрела ему вслед. Он несколько раз оглядывался и видел ее грустный взгляд, кончиком платка она закрывала губы.

Федор догнал подводу и на ходу вскочил в нее.

Ездовой, бородатый дед Кудлат, выждав, по его разумению, положенное на переживание время, заговорил:

— Праведный ты парень, Федор. Мальцом норовил в командиры, и мальцы были тебе послушны. И учительствовал ты ладно, наше почтение тебе. И в армии не плошал, помню, письмо-благодарность начальство твое нам в колхоз присылало. И сейчас на важное дело идешь, потому и нету на тебя обиды нашей, что село родное покидаешь. Но и там, на новой земле, у бессарабцев этих, не прячь глаза от людей, не прячь, народ — сила...

Дед Кудлат дернул вожжи, лошадь побежала прытче, за клубилась пыль, задевая задок телеги.

— Не забуду, дед, наказа. Не забуду! — только и сказал Федор, передвигаясь из задка ближе к вознице.

По обочине дороги неторопливо бежали назад в Черно-речье невысокие молодые клены, важно проплыл золотостольный сосновый бор, а вот заблестела вдали серебрянкой матушка Волга. Федор вздохнул, да уж очень шумно: дед Кудлат посмотрел на него из-под густых седых бровей и сказал:

— Не запамятуй еще одно наше правило: впереди дел всегда больше, чем позади...

Обо всем этом и вспоминал сейчас Федор по дороге от обкома к станции.

Проще всего было послушаться совета Зины, остаться дома. Жизнь в колхозе налажена, она — как добро сработанная телега, не забывай только колеса смазывать да ошиновку вовремя менять. А здесь все надо начинать сначала, как в России после гражданской. Нет, и здесь, и где бы то ни было, он не одинок, за его спиной — Советская держава. «Только глаза от людей не прячь», — вспомнил он опять деда Кудлата и уже твердой походкой вошел в вокзал.

— Где бы перекусить? — спросил он дежурного железнодорожника.

— А вон на углу столовая, — указал ему железнодорожник на приземистое здание, — только поосторожнее там...

Сначала Федор не обратил внимания на обедающих, но когда утолил голод, пригляделся. Занимая целый угол небольшого зала, в столовой расположилась довольно пестрая компания. За столами сидело несколько разновозрастных парней в оборванной или просто измятой грязной одежде, вокруг табунился народец помельче — тонкошей, большеголовый, вихрастый, полуголый и почти босой.

— Эй ты, хлюст! — услышал Федор хриплый голос, — работаешь чисто, а водку пить не можешь. Наш брат вот так пьет! — Верзила поднялся, быстро налил полный стакан. — Смотри! — Он обращался к тщедушному пареньку, что сидел напротив и морщился. Верзила одним залпом опорожнил стакан.

К Федору подошел официант рассчитывать, искоса поглядывая на компанию в углу столовой.

— Кто такие? — спросил Федор.

— Осторожнее, не показывайте деньги. Стоит этим заметить... — Официант повел глазами на гуляющих.

— Ворье, что ли? — проговорил Федор, принимая от официанта сдачу. Тот кивнул и опять опасливо покосился в угол — не слышали ли, и зашептал:

— Будьте осторожны, пан, берегите вещи и карманы...

Бритоголовый с черными вислыми усами официант от всей души старался услужить посетителю, но и сам, видимо, боялся, быстро отошел от стола Федора. И тотчас Федора окружили человек пять из полубосого племени.

— Пан, денег нет, кушать нет, дай хлеба, — жалостливым голосом попросил один из них. Остальные молча пожирали огромными черными глазами остатки обеда на левадовском столе.

— Официант, прошу вас на минутку! — крикнул Федор. Бритоголовый охотно подскочил:

— Что прикажет пан?

— Накормите ребят и получите за них, — Федор расплатился.

Мальчишки не решались сесть за стол, но дымящиеся душистым парком блюда оказались сильнее страха. Убе-

дившись, что обед действительно подан им, они схватились за ложки...

— Отставить! — сказал Левада тихо. — Посмотрите на свои руки. Марш в туалет, умойтесь.

— А это не слямзят? — сказал один из пареньков, показывая на тарелки.

— Я покараулю, — успокоил его Левада.

Пацаны вернулись быстро, умылись они наспех, да в один прием разве отмоешь месяцами не мытые руки.

— Значит, воруете? — спрашивал Левада, наблюдая, как ребята работали ложками и, не прожеывая, глотали хлеб.

— Мы — не. Да кушать нету...

— А учиться, работать?

— Фи! — фыркнул один из пацанов. — Где? А работы нам не дают, боятся.

Федор взглянул на часы, надо было торопиться, время вышло.

— Я дам вам работу, приезжайте в имение Жур-Журьяна, — сказал Левада, поднимаясь.

Ребята недоуменными взглядами проводили его до самых дверей. Левада спиной чувствовал, что за ним следят не только те, которых он накормил, но и другие из компании. На пороге Федор обернулся. Разношерстная толпа парней и ребятешек смотрела на него, он улыбнулся и помахал им рукой. Официант неодобрительно покачивал бритой головой.

Буквально через неделю, не успел еще Федор освоиться в бывшем поместье Жур-Журьяна, пришло сообщение: на станцию прибыли платформы с тракторами. Разгружайте и принимайте.

Левада выехал в райком. Как он будет разгружать? В МТС ни одного тракториста да и грузчиков не найти. Пробовал он собрать крестьян, как только прибыл на место. Люди сошлись, да что толку, ни один из них и высказаться не решился. Так их запугали советскими колхозами и тракторами, мол, после машинной вспашки земля не родит...

Говорил им Левада, что колхозы дело добровольное, просил об одном: помочь в работе МТС, собрать скот, свиней, коров, птицу, что разбежалась из имения Жур-Журьяна, пустить мельницу.

— Теперь это все ваше. Для себя собирайте, ухаживайте за скотом, занимайте амбары, дворы помещика, угождайте его.

Люди отмалчивались, на работу никто не выходил. Левада из бывших батраков назначил комиссию и поручил ей заняться хозяйством, назначал людей, ответственных за то или иное дело, ходил по домам, разъяснял.

Начали отыскивать в лесу скотину и почти одичавшую стогнать в бывшее имение. Молоко от жур-журьяновских коров никто из крестьян брать не хотел, боялись, что высокую плату возьмет за него помещик, когда вернется: у него здесь оставлены люди, за всем следят и доносят.

Левада понимал, что среди крестьян действительно есть люди Жур-Журьяна, запугивают народ, говоря, что Советская власть временная, не удержится она.

Левада надеялся, что скоро придут остальные руководители МТС, механизаторы, коммунисты. Но пока их не было, а тут машины пришли, принимать надо.

В райкоме Леваде посоветовали получить в Госбанке ссуду, нанять рабочих в Черновицах и разгрузить состав. Левада поехал в Черновицы. И здесь он вспомнил о компании беспризорников. Пошел в столовую. Верзила, что одним глотком опоражнивал стакан водки, оказался там. Левада занял столик, заказал обед и позвал парня.

— Садись, — показал Левада глазами на место напротив себя. Парень усмехнулся и сел. Федор нарочито долго жевал, обдумывая, как начать разговор, а парню не терпелось.

— Угощать будешь? — спросил он пренебрежительным тоном.

— Если хочешь, — ответил Левада и снова отправил в рот кусок хлеба и потянулся ложкой в тарелку со щами.

— Я и сам могу угостить, — быстро нашелся парень.

— Вижу, что можешь. Ватажишь над ребятами? Как звать-то тебя?

— Ватажу, а звать как, не обязательно.

— Ну, не верзилой же мне называть тебя, а?

— А это моя кличка. Гадать умеешь? Не из цыган?

— Нет, не из цыган, а гадать умею. Верзила верзилой, а все-таки скажи, крестили-то как или некрещеный?

— Крестили Иваном, — сдался парень.

— Ну вот и порядок, Иван. Скажи мне, где дружки твои?

— Работают, пан, — сжал парень губы.

— Обьедки собирают, попрошайничают?

— Всяко бывает. Случаются деньги в кармане, а взять не можно. А желудок, он, пан, не понимает этого.

— Ясно, Иван. Собирай своих людей, работа есть, деньги есть.

— Обманешь. Да мы тяжелую работу не любим...

По голосу Левада понимал — сдается парень и только из-за гордости упрямится, видно, за последнее время трудно стало с добычей, милиции в городе появилось — числа нет.

— Я не обману, Иван. На вот, держи задаток.

— Нет, пан, не могу взять! — и глубоко вздохнул.

— Значит, не я, а ты обманешь? — пошел в наступление Левада.

— Я не обману, пан, да боюсь, пойдут ли хлопцы, — сознался Иван.

— Тогда выходит, что не вожак ты вовсе, а так себе.

— Я? — Верзила вскочил. — Ждите меня, пан граничер, здесь. Посмотрите, какой я вожак! — Проговорив все это, он почти бегом выскочил из столовой.

Бритоголовый, слышавший весь разговор, подошел к Федору:

— Извините, пан, но я должен предупредить, обманут вас...

— Примите заказ на обед, — перебил его Левада.

— На вас? — с готовностью выхватил блокнот официант, и усы его растопырились.

— На сто человек. Порции побольше да покалорийнее, пожирнее чтоб. И хлеба вдоволь, черного и белого.

— Пан граничер, — начал было официант, округлив черные глаза.

— Я не привык повторять дважды! — строго отрезал Левада и вышел из-за стола.

Ждать Федору пришлось недолго. За окнами столовой послышались громкие оживленные голоса, и в дверях показались недавние ребята. На пороге они смолкли и только улыбались, зубы снежно блестели на смуглых лицах.

— Здравствуйте, ребята. Входите. Занимайте столы! — пригласил их Левада. -- Разговор есть.

Вторичного приглашения компания ждать не стала. Вскоре в столовой яблоку упасть было негде. Последним пришел Иван. Он молча посмотрел на Федора, пряча улыбку в уголки губ. «Вожак я или нет?» — спрашивал его взгляд. Федор поднялся:

— Все? Ну, шагом марш за мной!

— А обед? — раздался разочарованный голос.

— Пока повара трудятся у котлов, мы в другом месте работаем. — Левада подозвал бритоголового. — Обед — чтобы у каждого живот трещал! Ясно?

— Ясно, пан, ясно.

— Слышали? — повернулся Федор к ребятам.

— Слыхали!

— Не безухие!

— Чего там, пошагали! — Последнюю фразу бросил Верзила и первым шагнул за Федором.

Перед железнодорожным составом с тракторами и другими сельхозмашинами толпа подростков остановилась, словно замерла. Левада поднялся на платформу.

— Испугались?

Ребята молчали.

— Эти машины, ребята, — начал Левада, — пашут, сеют и убирают хлеб. Прислала их вам Советская власть, ваши старшие братья и сестры, что в семнадцатом году сбросили со своих плеч фабрикантов и помещиков, вроде вашего Жур-Журьяна. В нашей стране давно на полях работают такие машины. Неужели откажетесь от подарка?

Верзила вскочил на платформу, усмехаясь, потрогал трактор за передок.

— В одиночку, ребята, здесь не взять. Только всем вместе. Эй, подайте сюда ломы, ваги, вон те бревна, — командовал Левада, стараясь не упустить момента, доказать этому Ивану-Верзиле, что он, Иван, может многое, только уметь надо.

Появились ломы, доски, ваги, и работа закипела. Левада показывал, как действовать ломом, как подводить вагу.

Ребята сами удивились, когда первый трактор сошел с платформы и, чуть накренясь, встал на землю.

— А отсюда он пойдет своим ходом и потащит за собой комбайны.

— Без лошадей и волов? — спросил кто-то.

— Эти машины, ребята, самоходы, как автомобиль, например! — пояснял Левада.

Окрыленные тем, что они сумели снять такую махину с платформы, ребята еще дружнее принялись за разгрузку. Некоторые вначале исподлобья наблюдали за работой, но теперь и они включились, стараясь наверстать упущенное.

Солнце закатывалось, и Левада объявил конец работы, приказал всем умыться тут же, у железнодорожной будки, из крана, и повел ребят в столовую.

Обед приготовили сытный, бритоголовый постарался, официанты бегом сновали между столов, еле успевая подавать вовремя блюда своим прожорливым клиентам.

Левада ходил между столиков и выдавал деньги, ребята и не ожидали, что столько могли заработать.

— А завтра, пан, как? — подошел Иван-Верзила к Федору.

— Утром у платформы. Я привезу трактористов, и покажем вас на тракторе.

— Добре, пан! — обрадованно сказал парень и крепко пожал поданную ему Левадой руку. — Мы придем и все разгрузим!

— Спасибо тебе, ватажить умеешь. Пойдешь в армию, командиром будешь, — сказал Левада.

На другой день разгрузка была закончена, к этому времени прибыла группа трактористов, все они бывшие воины, направленные сюда так же, как и Левада. Трактористов прямо из обкома к платформе посылал сам секретарь. Явились они туда со всем своим имуществом — с чемоданами и вещмешками. Левада готов был расцеловать каждого из них, так велика была его радость.

Еще не успевшие сменить гимнастерки на рубахи, механизаторы, засучив рукава, заводили моторы, пробовали управление, тормоза.

И вот колонна вытянулась по дороге от станции к бывшему имению Жур-Журьяна. На переднем тракторе — красный флаг, рядом с водителем примостился Иван-Верзила, остальные «грузчики» облепили комбайны, сеялки, плуги — на тракторах места всем не хватило.

Левада подал сигнал, и колонна тронулась. У «грузчиков» — улыбки до ушей, да и Левада не может не улыбаться, и трактористы в возбуждении — давно не приходилось сидеть за рулем самых мирных в мире машин.

В хуторах, что лежали на пути колонны, из хат повысыпали люди. Плотнo столпились они по обе стороны дороги: одни приветственно махали трактористам, другие молчали, а третьи — и таких было много — крестились, сплевывали в сторону.

На усадьбе технику разместили в сараях и ригах Жур-Журьяна. Ивану-Верзиле и его товарищам отвели большой амбар под жилье — многие из ребят пожелали остаться работать в МТС.

— Учи нас, пан граничер, — сказал Иван-Верзила Леваде, — водить свои машины, работать на них. Мы остаемся!

— Машины, Иван, не мои, а ваши. А что остаетесь — хорошо. Работа всем найдется. Зайди в контору, получишь матрацы и прочее для своей бригады.

Левада торжествовал победу — теперь в МТС есть рабочая сила, не ахти какая, но сила, на которую никто не рассчитывал.

В МТС прибыли агроном, парторг. Левада облегченно вздохнул.

Началась подготовка к весеннему севу, одновременно группы коммунистов вели разъяснительную работу. Люди слушали агитаторов охотно, со всем вроде бы соглашались. Да, лошадей у них нет, и волов нет, да, плугов нехватка, нет и семян, плохо дело. А земли хоть отбавляй, Советская власть все помещицьи уголья поделила между бедняками.

— Советская власть поможет вам, — говорил Левада, — она дает вам семена, машины для обработки. И все это на льготных условиях, почти даром.

— А как даром-то? — спрашивал пожилой крестьянин в остроконечной бараньей шапке, видать, не из очень-то бедной семьи. Левада его сразу приметил, и когда он задал вопрос, поспешил ответить:

— За вспашку, посев и уборку — один пуд зерна.

— Добро! — сказал в островерхой папахе, остальные крестьяне тоже закивали головами.

— Ну, коль так, приходите, товарищи, на общий сельский сход. Всем миром решать будете. Советская власть — народная власть. Как решите, так и будет.

— Да что решать-то? — опять спросил тот, что в папахе.

— МТС должна заключить договор с каждым хлебо-

пашцем на все работы. Понимаете, чтобы документ был, если не выполнит МТС условий, вы по суду можете...

— Это с властью судиться? Да где такое видано? — изумился тот, что в папаше, и глаза его сощурились.

— МТС не является властью, власть у вас своя, она и может потребовать от руководителей станции выполнить все, что будет записано в договоре.

— Разумею, пан граничер!

— Я бывший пограничник, — улыбнулся Левада, — а то, что разумеете, очень хорошо.

В воздухе уже стояли весенние запахи, когда собрался сельский сход. Были здесь представители местной власти и руководители МТС. Парторг товарищ Суббота повторил примерно то, что говорили Левада и другие коммунисты на собраниях в хуторах и в беседах по хатам. Он заключил:

— За всю обработку машинами — пуд зерна.

— Добре!

— Добре!

Дружно ответил сход. Люди долго не расходились, спорили, почесывая затылки.

Наутро работники МТС с пачками бланков договоров на обработку земельных угодий разъехались по селам и хуторам, к вечеру они вернулись, вид у каждого мрачный: ни одного договора подписать не удалось.

— Работа работой, а бумага бумагой, — отвечали крестьяне. — Мы народ неграмотный, наше дело — работа...

К Леваде в его комнату в бывшей усадьбе Жур-Журьяна пришел Иван-Верзила.

— Проходи, Иван, проходи. Дела как? — приветливо встретил его Федор.

— У меня дела лучше не надо. Я ведь из здешних мест, здесь я как рыба в жур-журьяновском пруду. А вот твои дела, пан, не похвалишься. Буду помогать, если хочешь, если веришь мне...

Иван рассказал о себе. Он оказался сыном состоятельного хуторянина Кочуры. После освобождения Бессарабии отец бежал в Румынию, а он, Иван, остался в Черновицах, пришлось воровством промышлять. Не хотелось парню на чужбине жить. Но, оказывается, отец недавно вернулся и вновь принялся за хозяйство, не по нраву пришли ему нынешние порядки в Румынии. Разузнал об этом Иван и подался к отцу с повинной.

Тот, конечно, поворчал, поворчал и простил. А потом говорит, что это, мол, ваши советчики из МТС на одних бедняков да бывших наймитов-батраков опору держат?

— Не знаю, батя. Такая инструкция у них, — отвечал Иван.

— Ну и пусть скажут на своей инструкции! — пробасил старый Кочура и сплюнул. — Народ от нас жил, нас и слушает, как мы скажем, так и будет...

— Собирались у бати на хуторе, — рассказывал далее Верзила, — и другие справные хозяева. Понимаешь, Федор Климентьевич, что говорят. И народ слушает их. Приходят семена просить, лошадь вспахать на день-два, им обещают, понимаешь... Я бы не сказал, пан, об этом. Отец узнает, забьет. Я — верзила, а он дай боже! Трактор ваш одним махом опрокинет.

— Спасибо, Иван, спасибо. Завтра я к твоему отцу наведаюсь.

— Только обо мне ни-ни! — взмолился Иван.

— Слово пограничника! А теперь присаживайся, чайку попьем...

— Ни, пан, некогда. Надо засветло до дома.

— Ну тебе виднее, Иван. А парень ты, видать, не промах, быть тебе командиром.

Чай так и остался нетронутым, не пил его в этот вечер и Левада. Проводив Ивана-Верзилу, он направился к Субботе и подробно рассказал ему все, что узнал от Ивана.

— Понимаете, Федор Климентьевич, — выслушав Леваду, заговорил Суббота. — Инструкция говорит об опоре на бедняков, их мы должны вовлечь в кооператив на добровольных началах, предоставив в аренду технику, семена на льготных условиях. Инструкции мы изменить не можем, понимаете? Не вправе мы нарушать указания партии. Советская власть сильна, одолеем этих кулаков, надо только выждать. Больше выдержки, коммунист Левада! — закончил Суббота.

Но, несмотря на его убеждения, Федор ушел к себе неудовлетворенным. Наутро он поехал к Кочуре.

«В первую очередь мы должны помочь безлошадным, — думал по дороге, не торопя коня, придерживая его, когда тот норовил перейти на рысь. Кожаное седло поскрипывало, ноги привычно пружинили в стремях, — но если эти

безлошадные нашли другую помощь, в которую пока верят больше, чем в нашу? От вековой привычки человека отучить не просто. Кто и когда задаром пахал мужику? Не было такого. А тут почти даром предлагают, значит, хитрость цыганская, обман. Так ведь думают бессарабы, они рады-радешеньки, что землю им нарезали. Они ее и вручную сохами обрабатывают. А сколько возьмут урожая? Может, через год-два и поймут всю выгоду наших предложений, а сколько потеряют за это время? Так никогда им не догнать наших колхозников. Нет, надо, чтобы в эту весну поля обработала МТС и засеяла их сортавыми, из России присланными семенами».

Когда Левада подъехал к хутору Кочуры, решение уже созрело:

«Если этого середняка, — а что он середняк, Левада не сомневался, — заставить подписать договор, а с ним и других таких же, вернувшихся из Румынии, за ними пойдет и остальной народ».

Старый Кочура встретил Леваду у калитки своего двора, придержал стремя и, когда Федор соскочил наземь, широко повел рукой:

— Прошу, товарищ пан, в хату. Не побрезгуйте угощением!

Федора усадили под образа, как почетного гостя. На стол подавала дородная сильная женщина.

— Марфа, — отрекомендовал ее Кочура, — жинка моя. А это сын, Иваном крещен, — подозвал он взглядом Верзилу.

Разговор повелся издалека:

— Слышал я, товарищ Кочура, — начал Левада, — бежали вы в Румынию?

— Был такой грех, пан товарищ. Да в одночасье понял — не жить без родимой земли, вернулся. На кордоне чуть не ухлопали румыны. Да, слава богу, обошлось, и здесь Советы приняли. Так что, считайте, и не был я в бегах.

Кочура говорил, а Левада изучал его: голос уверенный, человек, чувствуется, ни в чем виноватым себя не считает, жесты резки, глаза смотрят прямо, откровенно.

— Значит, Советская власть вам по нраву?

— Да вроде бы так. Землю она нам оставила, лишков у нас нет. А земля кого не прокормит, только руки приложи.

— Почему же вы, товарищ Кочура, не подписываете договор с нашей МТС?

Глаза хозяина чуть прищурились, к седеющим вискам побежали морщинки:

— Правду говорить?

— А мы перед народом глаз не прячем...

— Тогда слушайте. Лошадь я имею, инвентарь тоже, сохранились и семена малость. Года через два-три при советских порядках крепко на ноги встану, а могло быть и по-иному. — Кочура замолчал.

— Как по-иному? — поторопил его Левада.

— А так, если бы мою землю обрабатывали машинами, посеяли, да убрали, да еще и семена хорошие дали, я бы за первый один год на ногах стоял, как откормленный, а не заморенный вол!

— Так почему же вы не заключаете договор?

— А мне, пан товарищ, и не предлагают. Я же не безлошадный, хотя коня соломой кормлю, а если зерна и даю, то от себя отрываю, чтобы вытянул конь посевную. Вот как оно.

— И много вас таких, что от себя отрываете?

— Да почти все, а кто посправней, те за кордоном, им и там не горько... — Кочура продолжал говорить, а Левада, слушая, расстегивал планшет. Вот он достал ручку, бланк договора, заполнил его и положил на стол перед сразу замолчавшим Кочурой.

— Подписывайте, товарищ Кочура.

Кочура взял бумагу, зачем-то посмотрел на свет, повертел бланк, рассматривая печать и подпись, потом глянул на иконы, быстро перекрестился, схватил ручку и подписал. Две капельки пота упали со лба прямо на договор, он испугался было, но Левада засмеялся:

— Это, товарищ Кочура, твоя печать хлебороба, скрепил ты ею свою подпись.

Кочура понял Федора, заулыбался и крикнул:

— Марфа, вина, того, что постарше!

\* \* \*

...Наступила долгожданная весна, снег постепенно сходил с полей, с каждым днем появлялись все новые и новые пятячки черной земли.

Левада рискнул, нарушил малость рекомендацию о заключении договора, но риск оказался не напрасным: за Кочурой подписались все хуторяне, а потом и окрестные села. К началу посевной с договорами было покончено. И тут только Левада спокойно вздохнул, понял, что действовал правильно.

Перед конторой МТС на столбе установили репродуктор. Народ часами простаивал здесь, слушая передачи. Оказывается, люди не знали, что такое радио и телефон.

Край виноградников и садов, урожайной щедрой земли, ласкового солнца и обильных дождей. Но как тяжело жилось простому люду в благодатных речных низинах, в широких степях и по склонам отлогих гор в междуречье Днестра и Прута!

На концерте самодеятельности, который организовали совместно с пограничниками перед началом сева, девушка пела об этой доле горькую песню:

На земле живем чужой,  
Ни полушки за душой!..  
С малых лет я слезы лью,  
А беды не утоплю!

Как хорошо знать, что такая доля ушла в прошлое, и запахали к ней дорогу советские плуги.

А было это так. Ранним утром на усадьбе МТС загудели тракторы. Механизаторы еще раз проверили исправность плугов, борон. К машинному парку спешили люди в праздничных, ярко расшитых одеждах.

Директор МТС махнул красным флажком, и тракторы один за другим двинулись с усадьбы. У развилки дороги в поле часть тракторов повернула вправо, а другая влево. Плугари подняли рычаги, и лемеха врезались в землю. Черная лента пашни уходила все дальше и дальше. Крестьяне бежали вслед за машинами, проверяли глубину пахоты, ширину борозды.

Когда-то в детстве Левада видел, как в Черноречье первые советские тракторы запахивали навечно одиноличные межи, ему тогда показалось, что земля вдруг стала шире, просторней. Он хлопал в ладоши от радости.

Как мальчишка радовался Левада и здесь. Теперь ему не казалось, он знал точно: когда исчезают межи, земля становится шире и щедрее.

Радовался народ. Люди до позднего вечера не уходили

с пашни, а когда разошлись по домам, поле не утихало — трактористы включили фары, заступила пахать ночная смена. И опять люди высыпали в поле, о ночной пахоте при свете прожекторов они и понятия не имели. К утру второго дня начался сев.

Июнь. Глянешь на поля, и глаза солнышком засветятся. Такого урожая даже в Черноречье Левада не видел. Как старики говаривали, «сам-сто».

Уже составлены планы уборочных работ, техника готова. Сделаны пробные заезды, выкосили лобогрейками просеки для комбайновых агрегатов. Хлеба здесь созревают раньше, чем в Черноречье.

Федор написал письмо Зине: «Я жив и здоров, а сердце не спокойно. С домашностью все устроил, квартира есть, ждет твоего приезда. Так что собирайся и выезжай. Родителям твоим я пишу особо, прошу твоей руки, как у нас и положено. Пусть отпускают тебя безбоязненно. Приехать не могу, сама понимаешь, страда начинается. А ждать до осени или зимы долго покажется. Приезжай, жду.

Да и тебе, наверное, тяжело в разлуке, по письмам вижу. Приезжай.

На днях жур-журьяновский холуй паниковал: «Урожая вам не видать, Жур-Журьян с войском Гитлера идет». Вот ведь брехуны какие... Крепко целую, твой Федор. Июнь, 1941 год».

\* \* \*

«Значит, не брехал паникер!» — только и подумал Левада, когда первые фашистские бомбы накрыли усадьбу МТС. Сразу выскочил на улицу. Земля вздрагивала от частых разрывов, рушилось небо.

Тракторный парк и мастерские тонули в волнах пожара. Взлетел на воздух склад горючего. В свете пламени по усадьбе метались люди, они не знали, куда бежать, бомбы рвались кругом.

— За мной, по канавам, ложись! — крикнул Левада. А люди, казалось, только и ждали этого крика. Федор увлек народ к недавно вырытым силосным ямам у скотного двора. Здесь были женщины и дети, мужчины, почти все полуодетые. Были и раненные, были и убитые. Молдаванка с обезумевшими глазами трясла, словно будила уже окоч-

невшую на ее руках девочку. Осколок угодил в черную головку, лицо девочки залито кровью.

— Андриеску, Андриеску! — вопил чей-то уже сипатый, надорванный криком голос.

Со стороны Румынии загрохотала тяжелая артиллерия...

В перерывах между налетами механизаторы выводили уцелевшие машины, грузили на них семьи с узелками и котомками и тотчас же старались убраться подальше от горящих строений. Эвакуацией руководил Суббота. Он посадил свою беременную жену и четырнадцатилетнего сына на машину.

— Папа! Я останусь с тобой, — кричал парнишка, протягивая руки к Субботе.

— Нет, сын, мать у нас хвора, ты за нее в ответе. Держись, сын. Доброго пути вам!

Но не успели машины скрыться в лесу, за ними стервятником нырнул немецкий самолет и сбросил бомбу. Когда на место разрыва подбежали люди, машина горела, в живых никого не было. Суббота упал на колени и схватился руками за голову.

Левада пытался его уговорить, но тот словно обезумел, а когда совсем рассвело, Федор увидел, что голова Субботы бела как снег.

В тот же день Левада был назначен командиром отряда ополченцев. Здесь он и встретился со своим сослуживцем — замполитрука Ожищевым. Служили вместе, увольнялись вместе и работали по соседству. Широкоплечий, мускулистый Ожищев словно почернел и не знал, куда деть свои пудовые кулаки, то прятал их за спину, то в карманы брюк.

— Не горячись, дружище. В какой части? — сказал Левада, пожимая руку старому пограничнику.

— Пока ни в какой. В военкомат пробираюсь, — ответил Ожищев.

— Давай, друг, ко мне в отряд. С военкомом я все улажу, — обрадовался Федор.

— Хорошо, берите к себе Ожищева заместителем. Ваш отряд поступает в распоряжение погранзаставы Курбала, — давал задание военком Леваде. — Знаете такого?

— Я и Ожищев служили у него.

— Вот и отлично. Получайте оружие и марш, марш.

Пограничники требуют подмоги, а у меня только вы. Выполняйте приказ.

— Есть выполнять приказ, — четко, по-военному Левада приложил руку к козырьку теперь уже выцветшей зеленой фуражки пограничника.

А через несколько часов начальник заставы Курбала отдавал боевой приказ Федору:

— Лысую гору, что рядом с высотой Триста восемьдесят, ты знаешь отлично. Займешь на ней оборону. Немцы здесь еще не успели пробиться. Держится там старшина Ионяшин, помнишь его? Так вот, выступай на помощь другу. Лысую держите любой ценой, без приказа назад ни шагу. Скоро подойдут наши полевые войска.

Вот и крутая доверху голокаменная Лысая гора. Каждому из восьмидесяти ополченцев Левада и назначенные им командиры отделений определили участок.

— Берегите, как глаз свой! — наставлял Левада бойцов, большинство которых бывшие пограничники, но были здесь и коренные жители — лесовики-охотники, меткие стрелки.

Один из них, получив приказ Федора, сказал:

— Такой урожайище отдать нехристу? Да мы костями на Лысой ляжем, а не пропустим гадов!

«Этот постоит, — подумал Левада, — есть ему за что биться!»

Среди бойцов встретил Левада и Кочуру. Тот деловито расположился за камнями, поудобнее уложил винтовку цевьем на какой-то кусок кошмы, чтобы мягче было.

— И вы, батя, здесь? — спросил Федор.

— А где же мне быть? Тикать-то некуда. За плечьями родная земляца, хата и прочее хозяйство.

— А Иван здесь?

— Не велел я ему, да кто знает, он в меня, с норовом. Стрелять обучен, на охоту со мной хаживал.

Что ни дальше по цепи шел Левада, тем больше крепилась в нем уверенность, что ополченцы сумеют постоять за себя.

Левада не ошибся. Первая же атака фашистов была отбита с большими для них потерями. Из ополченцев погиб тот, что говорил об урожае. Осколком мины ему пробило грудь. И странно, он не выпустил винтовки, не уронил на камень голову. Как вел прицельный огонь, так и застыл, а немцам казалось, что он жив.

Ударили по убитому из пулемета. Кочура засек пулемет, тщательно прицелился и выстрелил. Пулемет замолк и больше не стрелял. Левада приказал сменить позицию.

Фашисты решили основательно обработать передний край защитников Лысой горы. Ударили немецкие пушки и минометы, налетели бомбардировщики.

Бойцы благодарно посматривали на своего командира: вовремя он сменил позицию, спас бойцов.

— Затаиться! — передал по цепи Левада.

От ополченца к ополченцу летят слова приказа. Передовая словно вымерла.

Ночью повар погранзаставы Гриценко доставил противотанковые мины. Пользуясь темнотой, старшина Ионяшин с саперами заминировали опасный участок — проход между горой Лысой и высотой 380. По этому междугорью фашисты могли прорваться через погранлинию и отрезать пограничников.

Федор обходил своих бойцов, предупреждал, что враг наутро может применить танки и биться с ними придется одними гранатами и метким огнем по смотровым щелям, но щель доступна только опытному стрелку, снайперу, а вот гранатой или связкой гранат под гусеницу может ударить каждый, только бояться танка не надо — танк полуслеп, да и скорость у него меньше, чем у трактора, бегом догнать можно, а на первый взгляд машина страшная.

— Мозгую, что можно по тем танкам и по-иному бить, — услышал Левада голос Кочуры.

Федор подсел к нему, и Кочура сказал, что не плохо бы на пути, где возможна танковая атака, накатать каменных валунов и пустить их с горы навстречу немцам.

— Никакая танка не устоит, любой Змей-Горыныч сгинет!

Кочура сам вызвался возглавить команду на заготовку валунов. Нелегко пришлось этой команде, но к утру на голых обрывах горы валунов было достаточно. Установлены они были так, что один человек мог свободно столкнуть глыбу навстречу танку.

И вот атака. Стреляя на ходу из орудий и пулеметов, танки ринулись к погранполосе. За ними, осмелев при дневном свете, почти не пригибаясь, бежали автоматчики.

Они вырвались в междугорье и стали обходить высоту 380. И тут произошло то, чего никак не ожидали фашисты.



Один за другим прогремели мощные взрывы, передние машины с перебитыми гусеницами волчками закружились на месте, следующие за ними остановились, сгрудились. Замерла и пехота. Ступить на минную полосу храбрецов не находилось.

Лысая гора ожила, грянула автоматными и винтовочными выстрелами, задымилась. Ожищев и Кочура обрушили на танки гранитные валуны. Заговорила и высота 380. Оттуда скороговоркой частил «максим» погранзаставы.

\* \* \*

Федор в своем отряде почти не встречал знакомых ополченцев, что заняли оборону на Лысой в первый день, — погибли или были тяжело ранены и отправлены в тыл. Ближе к междугорью пополнение принимал Ожищев, а выше по горе — сам Левада. Подползет неизвестный человек с винтовкой, полувоенный, полуштатский и доложит:

— В ваше распоряжение, пан граничер...

— К вам, товарищ замполитрука.

Левада коротко ставил боевую задачу. Прибывшие стаскивали в траншеи убитых, ложились на их место и сразу же вступали в бой.

Много было этих, вновь прибывших — русских, украинцев и молдаван. Они продолжали подходить в одиночку и группами, но всех павших заменить не могли, все реже гремели выстрелы и с Лысой горы и с 380-й.

— Да скоро ли наши? — оглядывался на восток Левада, словно мог увидеть приближение советских войск.

— Держимся, Федор, — раздался справа хриплый голос. Левада повернул голову и увидел Олега Ожищева. Тот стоял на коленях у камня, за которым укрывалась огневая точка Левады, и докладывал:

— Танки подрываются на минах. Уцелевшие отходят. А как у тебя?

— Отлично, сам видишь: огонь — голову не высунуть, кроют из пулеметов, но держимся.

Левада глубоко вздохнул, глаза бывалых пограничников встретились, и Ожищев проговорил:

— Я тоже думаю, подойдут наши, вот-вот подойдут. Приползет боец из тыла, а мне, и не только мне, всем кажется, прибыл связной от подошедших частей, а оказыва-

ется, он один прибыл, ну и одному рады. Неужто, Федор, — Олег помолчал, — по всей России так, от моря до моря и в тылах?

Левада строго взглянул на товарища:

— Не только говорить — и думать об этом... Знаешь!

— Знаю, Федя. Говорю каждому бойцу не то, что думаю. И самому легче. А все же...

— Безо всяких «все же», замполитрука. Наши скоро подойдут. Ступайте к своим бойцам и еще раз скажите им об этом!

Пригнувшись, Ожищев побежал вниз, скрываясь за каменными глыбами.

Эти гранитные глыбы были и друзьями и врагами, они укрывали от пуль и мин, но огонь был до того плотен, что и гранит не выдерживал, разлетался мелкими осколками, ранил бойцов.

«Если Ожищев так считает, — подумал Левада, — то и бойцы, наверное. У каждого голова, а не кочан, сердце, а не камень». И опять командир посмотрел на восток, там сгущались сумерки, солнце озаряло только запад.

Очередная атака была отбита, наступила передышка. Кто знает — надолго ли? К Леваде подобрался боец:

— Пан граничер.

— Иван? — узнав знакомый голос, удивился Левада и обнял Ивана-Верзилу. — И ты здесь?

— Людей у военкома больше нема, старики и бабы и пацаны на подмогу идут. Пан военком говорит: «Продержитесь малость, красное войско на подходе».

— Правильно говорит военком, занимай позицию, Ваня, вот за этим камнем. Пока темнота стоит, набросай земли побольше, меньше камень от пуль дробиться будет. Батя твой чуть правее. Метко бьет старик! — Чувствовалось, что Левада повеселел, слова военкома подействовали и на него.

Ночью среди бойцов появились женщины с глиняными крынками, с узелками — бабки и совсем молоденькие девчушки. Они кормили измотанных бойцов молоком, сыром и хлебом, приносили остывшее варево. Бинтовали легко раненных. Их никто не звал сюда, на осажденные врагом высоты, сами по одной собрались и пришли. И от этой неожиданной заботы теплели суровые запыленные лица красноармейцев и добровольцев.

Близился рассвет второго июля. Патроны у ополченцев на исходе. Оставались гранаты да штыки на винтовках.

— Ну, — подумал Левада, — остается один выход: ближний бой, рукопашная схватка. Только выглянет солнце, и гитлеровцы пойдут в атаку.

— Приготовиться! — передал по цепи Левада. Он увидел внизу немцев. Прячась за валунами, они шли на сближение. Кое-кто из ополченцев не выдерживает и швыряет навстречу врагу камни.

В междугорье показались немецкие танки. Ночью, видимо, гитлеровцы скрытно подобрались и разминировали участок. Смело идут. Навстречу им ни единого выстрела. Пройдут погранлинию — не сдержат. И тут снаряд вспорол воздух, тяжело ухнуло. Передний танк свечей полыхнул, башню с него словно ветром сорвало. Глянул Левада вниз по восточному склону и увидел гаубицу. Плечи у Федора вздрогнули. К нему кинулся Иван-Верзила:

— Пан граничер, наши!

Теперь уже все видели перебегающих бойцов в касках с красными звездами. Поднимая пыль, разворачивались танки — тоже с красными звездами на башнях.

**ЗАЯВЛЕНИЯ КУЙБЫШЕВЦЕВ  
О ДОБРОВОЛЬНОМ ВСТУПЛЕНИИ В НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ**

**В партбюро при обувной ф-ке им. 1 Мая  
Никольский А. С.**

**З а я в л е н и е**

**Прошу зачислить меня в народное ополчение на борьбу с напавшим на нашу Родину врагом — германскими фашистами.**

**10 июля 1941 г.      Никольский**

**\* \* \***

**В партийную организацию  
обувной фабрики им. 1 Мая  
от уч. мех. цеха    Шерстнева А.**

**З а я в л е н и е**

**Настоящим прошу зачислить меня добровольно в отряд народного ополчения, так как я хочу быть полезен в защите нашей Родины против нашего врага фашизма.**

**В чем прошу не отказать.  
10 июля 1941 г. Шерстнев**

**ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБКОМА ВКП(б) И ОБЛИСПОЛКОМА  
О СОЗДАНИИ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ  
В КУЙБЫШЕВСКОЙ ОБЛАСТИ**

*8 июля 1941 г.*

...Бюро обкома ВКП(б) и исполком облсовета депутатов трудящихся постановляют:

1. Обязать горкомы, райкомы, первичные парторганизации и исполкомы городских и районных Советов депутатов трудящихся создать при всех предприятиях, учреждениях, колхозах, МТС и совхозах части народного ополчения из граждан, способных носить оружие...

3. Практиковать с добровольцами народного ополчения проведение ночных учений по тревоге, борьбе с парашютными десантами противника, проведение походов с выполнением тактических задач и организовать охрану важнейших объектов, имеющих оборонное и государственное значение в промышленности, сельском хозяйстве и на транспорте.

Руководство народным ополчением в городах и районах области возложить на горкомы, райкомы ВКП(б), первичные парторганизации и исполкомы районных и городских Советов депутатов трудящихся.

4. Обязать все горкомы, райкомы ВКП(б) и первичные партийные организации развернуть широкую массово-политическую работу среди трудящихся о значении и задачах народного ополчения в Великой Отечественной войне против фашистских варваров.

Председатель исполкома  
облсовета депутатов трудящихся

Журавлев

Секретарь обкома ВКП(б)

Канунников

## ПАТРИОТЫ

Каждый день в папку комиссара райвоенкомата поступают новые заявления от советских патриотов, которые просят зачислить их добровольцами в ряды Красной Армии.

Эти заявления написаны по-разному, но все они выражают безграничную любовь к своей социалистической Родине, все они выражают единую волю советского народа — нанести врагу сокрушительный удар...

Многие из подавших заявления были участниками боев с белофиннами.

«Прошу принять меня добровольцем в первую очередь, — пишет сын бывшего красного партизана Илья Щерин, — я прекрасно владею оружием и у меня есть опыт борьбы с врагами».

29 подписей имеются в списке просителей о зачислении добровольцами на фронт. Это список студентов второго курса Ставропольской школы медсестер, патриотов социалистической Родины.

Много имеется заявлений от комсомольцев и призывников, которые, горя ненавистью к Гитлеру, убедительно просят зачислить их добровольцами для защиты священных границ цветущей Родины.

Вот заявление Евсея Саввича Носик:

«Сегодня мы узнали о том, что проклятые гитлеровцы напали на наш непобедимый Советский Союз. Мой сын Александр призывается в ряды славной Красной Армии. Я также прошу зачислить меня добровольцем вместе с моим сыном. Хотя мне уже 56 лет, но я себя чувствую вполне здоровым и желаю в рядах Красной Армии защищать советские границы».

Всех заявлений не перечесть. Их будут подавать и сегод-

ня и завтра. Советский народ, как никогда, сплочен вокруг нашей славной большевистской партии, вокруг нашего Советского правительства...

Советский народ на наглое нападение кровожадных псов фашизма ответит Отечественной войной.

Враг будет разгромлен и уничтожен.

Газ. «Большевистская трибуна». 1941, 25 июня, № 72.

### НАРОДНЫЙ ГНЕВ

С огромным патриотическим подъемом прошел митинг работников единых смен станции Куйбышев. Каждый железнодорожник проникнут горячим чувством преданности своей Родине, готовностью укреплять ее боевую, несокрушимую мощь.

Выступавшие с великим гневом и возмущением говорили о беспримерном вероломстве озверевших фашистских бандитов, совершивших разбойничье нападение на СССР.

На трибуне — старший стрелочник т. Еримеичев. Его простые, но убедительные слова, как электрическим током, пронизывают аудиторию. Он говорит о несокрушимой силе русского оружия, овеянного славой и победами.

— Мы, железнодорожники, приложим все свои силы к тому, чтобы транспорт работал четко, своевременно обеспечивал нужды обороны страны. Мой старший сын служит на одном из кораблей Красного Военно-Морского Флота. Он будет бить врага на море. Мне 54 года, но, если надо, я готов пойти на фронт, чтобы защищать свою Родину...

На митинге единодушно принята следующая резолюция:

...Сегодня, в исторический день, когда бойцы могущественной Рабоче-Крестьянской Красной Армии по приказу Советского правительства выступили для окончательного унич-

тожения зарвавшихся фашистских захватчиков, мы, рабочие, командиры и служащие станции Куйбышев, еще теснее сплачиваем свои ряды вокруг великой Коммунистической партии...

Навязанная нам фашистскими поработителями война является Отечественной войной за Родину, за свободу. Мы знаем, что наше дело правое, что грозные силы наши неисчерпаемо велики, а советский народ умеет воевать. Его история овеяна военной славой.

Мы, как и все железнодорожники страны социализма, даем клятву свято соблюдать государственную дисциплину, честно и самоотверженно трудиться на своем боевом посту.

А если потребует, каждый из нас в любую минуту грудью встанет на защиту своей матери-Родины и отдаст всю свою жизнь до последней капли крови за дело... рабочего класса и мирового пролетариата.

Симпатии трудящихся всего мира обращены к нам, храбрым воинам страны социализма. Победа за нами, только за нами!..

Газ. «Большевистское знамя», 1941, 23 июня, № 55.

В Куйбышеве за первые три дня войны более 2100 патриотов вступили добровольцами в Красную Армию.

По мобилизации военную форму надели за первые два дня 5267 бойцов и 1495 командиров запаса.

236 тысяч человек ушло в армию из области к середине октября 1941 года. В их числе около 32 тысяч командиров и политработников, среди них — более 4500 коммунистов и 4200 комсомольцев.

18 тысяч коммунистов области ушло на фронт к концу 1941 года, из них — 12 тысяч по партийной мобилизации.

45 тысяч комсомольцев стали фронтовиками в первые месяцы войны. Только в сентябре 1941 года обком ВЛКСМ направил в воздушно-десантные войска 1500 комсомольцев и 2000 в лыжные батальоны.

член Коммунистической партии с февраля 1918 года,  
с 1938 по 1942 год секретарь Куйбышевского городского комитета партии

## ВСТРЕЧИ ДАВНИЕ, НЕЗАБЫВАЕМЫЕ

В первые же тревожные месяцы войны к нам в город переехали некоторые всесоюзные правительственные учреждения, наркоматы, посольства... Мы, куйбышевцы, понимали: мера эта временная. Враг будет отброшен на запад, и все москвичи — работники наркоматов, сотрудники дипломатического корпуса — вернутся «домой». Пока же их пребывание здесь, на берегах Волги, диктуется острой необходимостью, жесткими условиями начала войны.

Конечно, и в те грозные дни столицей нашей Родины оставалась Москва. По-прежнему вся страна сверяла свои часы по курантам на Спасской башне.

Но пребывание многих правительственных учреждений преобразило Куйбышев — и внешне и внутренне. Жизнь в городе сразу же приобрела новый, более четкий и высокий ритм. Особенно почувствовали это партийные работники. Первое указание ЦК ВКП(б) городской партийной организации было таким: необходимо усилить внутрипартийную и массово-политическую работу с трудящимися. Работники аппарата ЦК призывали нас активнее разъяснять массам всю серьезность военной обстановки, шире привлекать в ряды партии лучших людей, бороться с настроениями беспечности, благодушия.

29 октября 1941 года состоялось собрание партийного актива города Куйбышева с повесткой дня «О партийно-политической работе в военное время». Мне, как секретарю городского комитета партии, довелось председательствовать на этом активе, и я хорошо помню, с каким воодушевлением выступали партийные работники, инженеры,

рабочие. Было принято постановление, в котором отмечалось, что в переживаемые страной грозные дни с новой огромной силой возрастает роль городской парторганизации и каждого коммуниста. Члены партии должны мобилизовать все силы и ресурсы города для отпора врагу, организовать работу всех предприятий по выпуску военной продукции.

Вся эта большая работа началась в самом преддверии октябрьских торжеств. Пожалуй, никогда еще мы не готовились к этим торжествам с чувством такой собранности и приподнятости.

День 7 ноября каждый встретил, как боец — боец фронтового тыла. Накануне вечером во Дворце культуры имени В. В. Куйбышева состоялось торжественное собрание, посвященное 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Когда закончился доклад, с которым выступил секретарь обкома ВКП(б) М. Я. Канунников, все мы с замиранием сердца прослушали транслируемую из Москвы речь Генерального секретаря ЦК ВКП(б), Председателя Государственного Комитета Обороны И. В. Сталина.

«...Захватчики хотят иметь истребительную войну с народами СССР... Они ее получают».

«Они ее получают...» Это заявление партии вселило еще большую уверенность во все сердца. С этой уверенностью вышли мы на свой первый военный парад.

Утро, как хорошо помню, выдалось слегка морозным, пасмурным. Войска выстроились на площади перед Дворцом в полном боевом снаряжении и с боеприпасами. Принимал парад Маршал Советского Союза К. Е. Ворошилов. Он выступил перед войсками с краткой речью.

Сомкнутыми рядами, под звуки торжественного марша шагали мимо трибуны солдаты. С площади их путь лежал к железнодорожному вокзалу. Там бойцов уже ждали вагоны. Родина отправляла своих сынов на запад, чтобы в скором времени нанести сокрушительный удар немецко-фашистским захватчикам под Москвой. В этом ударе должны были принять участие и волжане.

Несколько позднее нам стало известно, что в этот же день и примерно в этот же час четкий солдатский строй прошел и по другой, главной, площади страны — Красной. Мимо древних стен Кремля, мимо Мавзолея Владимира

Ильича Ленина прошли и направились прямо на передовые позиции тысячи защитников столицы — тысячи героев, которые покрыли себя в смертельных боях с фашистами неувядаемой славой. Это был выдающийся военный парад 1941 года, парад, навсегда вошедший в историю. В нем тоже участвовали многие куйбышевцы.

Но вернусь к своим воспоминаниям... На какое-то мгновение опустела площадь имени В. В. Куйбышева. Но вот снова заполнили ее звуки оркестра — началась демонстрация трудящихся. Вдоль трибуны, на которой находились Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. И. Калинин, товарищи К. Е. Ворошилов, А. А. Андреев, Н. М. Шверник и другие, двинулись колонны жителей города.

Первыми, как всегда, шли школьники. Лица ребят были взволнованы, строги. Всем своим собранным видом дети военного времени как бы говорили, что они хорошо понимают опасность, нависшую над любимой Родиной. Отцы и старшие братья многих из этих мальчишек и девчонок уже воевали. Матери с утра и до ночи трудились на заводах, фабриках. А они, ребята, пока еще только учились. Но если надо, говорили их светлые, взволнованные глазенки, устремленные на трибуну, и они встанут к станкам, будут работать наравне со взрослыми, чтобы приблизить заветный час победы.

За школьниками потянулись колонны рабочих, рабочих с флагами и транспарантами в руках. Шли люди, которые уже в полную меру испытали на себе, почем фунт военного, хотя и тылового, лиха. На их плечах лежала вся тяжесть стремительной перестройки промышленных предприятий на фронтовой лад. Они в небывало короткие сроки и в самых тяжелых условиях вводили в эксплуатацию эвакуированные заводы. Они по пятнадцать и больше часов не отходили от станков, перевыполняя вдвое и втрое нормы.

Несколько часов продолжалась эта незабываемая демонстрация. В ней принял участие буквально весь город. Куйбышевцы еще раз показали свою сплоченность вокруг Центрального Комитета партии и Советского правительства, свою готовность сделать все для защиты Родины.

И многие сразу же, колоннами, расходились по своим предприятиям. Сразу же вставали к станкам, садились на автомашины, брали за верстаком в руки молоток и зубило.

Праздник окрылил каждого, внушил каждому еще большую уверенность в своих силах, воодушевил на новые большие дела. Трудовой и боевой энтузиазм масс повысился еще более.

Немало лет минуло с той суровой осени. Но подробности тех дней, до отказа заполненных напряженной работой, и, конечно же, каждая встреча с руководителями партии и правительства настолько свежи в моей памяти, будто все было только вчера.

Помнится, аппарат Совета Народных Комиссаров СССР размещался тогда в одном из зданий на Красноармейской улице. Здесь же проводились и заседания Совнаркома. Нас, руководителей обкома и горкома партии, облисполкома, нередко приглашали на эти заседания. Обычно это случалось тогда, когда речь заходила о городских и областных делах.

Однажды в повестку дня заседания Совнаркома был включен вопрос об улучшении коммунального обслуживания. Мы, представители города и области, были заранее предупреждены об этом и имели время посоветоваться между собой. Вывод наш был такой: теми машинами и механизмами, что имелись в распоряжении городского хозяйства, обеспечить в городе настоящую чистоту и порядок невозможно. Решили просить дополнительно пять автомашин и три-четыре тонны бензина ежемесячно. Конечно, этого было крайне недостаточно. Но мы посчитали: если идет война, все средства должны быть направлены на фронт.

Выслушав наше заявление, члены правительства переглянулись. Анастас Иванович Микоян поднялся из-за стола, сделал несколько шагов по комнате, произнес:

— Скромничаете.

Потом он помолчал и вдруг предложил:

— Считаю, надо дать городскому хозяйству сорок автомашин и ежемесячно выделять по пятьдесят тонн бензина. Эти автомашины должны быть доставлены к зданию горисполкома завтра к девяти часам утра с оформленными рядами на горючее.

Это предложение было единодушно принято. А на следующий день ровно в 8 часов 50 минут большая автоколонна остановилась возле горисполкома и состоялся прием машин.

Этот пример из ряда других я привел не случайно. Мне кажется, он очень характерен. И вот в каком смысле. В ту пору нам, местным работникам, думалось, что решение некоторых вопросов вообще невозможно в условиях военного времени. Выходило же, что любые, даже самые тяжелые, проблемы и теперь решаются успешно и затрачивается на это очень мало времени. Мы видели полную уверенность в победе над фашизмом у работников Совнаркома СССР. Их спокойствие, деловитость были для нас отличной школой.

В другой раз, когда мне довелось присутствовать на заседании Совнаркома, был здесь и Михаил Иванович Калинин. И тут я воочию убедился, насколько высок авторитет этого выдающегося деятеля партии и государства среди членов правительства.

В ходе заседания Михаил Иванович не сидел на одном месте. Живой, энергичный, он время от времени подходил к висевшей на стене большой карте военных действий с наколотыми разноцветными флажками, обозначающими линию фронта. Карта словно притягивала Михаила Ивановича к себе. Казалось, он всецело поглощен ею. Но едва начиналось обсуждение нового вопроса, Калинин обращался к председательствующему и заявлял, что, по его мнению, решая данное дело, надо принять во внимание такие-то детали.

Со всесоюзным старостой мне приходилось встречаться и в несколько иной обстановке. Будучи в Куйбышеве, он часто приглашал нас, городских руководителей, в свой рабочий кабинет, подолгу беседовал с нами. Занимался Михаил Иванович тогда в доме № 163 на улице Фрунзе, во дворе, в нижнем этаже. Путь в его приемную комнату лежал через небольшую прихожую. Обстановка в кабинете была очень скромной. Небольшой двухтумбовый письменный стол с простым чернильным прибором и неизменным блокнотом, несколько стульев вдоль стен, радиоприемник.

Едва мы входили в комнату, как ее хозяин тут же вставал из-за стола, шел навстречу, жал всем руки, усаживал напротив себя. Беседа начиналась сразу и лилась непринужденно, свободно. Михаил Иванович умел расположить к себе посетителей. Только первый раз, помнится, я чувствовал себя на приеме несколько стесненно. Но вскоре от скованности и следа не осталось. Чуткость, внима-

тельность к людям были у М. И. Калинина исключительными. Буквально в течение нескольких минут он вызывал своего собеседника на полную откровенность.

О чем говорил с нами Михаил Иванович? Главным образом о нуждах городского хозяйства, об обслуживании населения. Всесоюзный староста, занимаясь большими государственными делами, глубоко вникая, как я уже упоминал, в положение дел на фронтах, живо интересовался и тем, чем живет наш город. В центре его внимания были и работа наших промышленных предприятий, особенно работающих на оборону, и военная подготовка в частях гарнизона... Разумеется, много времени и сил он отдавал вопросам партийного и советского строительства. Но здесь мне хочется рассказать о той помощи, которую товарищ Калинин оказывал нам именно в области бытового обслуживания. Мы и в этом чувствовали его большую компетентность, опытность, глубокое знание. Я сперва удивлялся: как мог он за такое непродолжительное пребывание в городе так хорошо изучить все наши проблемы, заботы? Но вскоре понял это, когда сам увидел Михаила Ивановича идущим пешочком по улицам, заглядывающим в магазины, беседующим с народом. Такие прогулки Калинин совершал часто, и они, конечно, давали ему очень много впечатлений.

Помнится, один из разговоров на приеме у Калинина начался с такого шуточного вопроса, заданного Михаилом Ивановичем:

— Знаете, почему правительство приехало в Куйбышев?

Откровенно, все мы, присутствующие, оказались несколько озадачены, замедлили с ответом. Михаил Иванович выждал немного, а затем сам ответил на свой вопрос:

— Когда мы выезжали из Москвы, молоко здесь стоило пять рублей литр. Немного дешевле, чем у нас. Но... Едва мы приехали, и молоко подорожало.

Но тут же серьезно сказал:

— Давайте, товарищи, подумаем, что нужно сделать, чтобы лучше обеспечить население молоком. Чтобы цены на него впредь не скакали так высоко.

В результате этой беседы родилась мысль организовать вокруг города Куйбышева молочно-животноводческие совхозы. Вскоре Совнарком создал специальную комиссию, которая изучила этот вопрос и внесла предложение о соз-

даний таких совхозов на базе пригородных хозяйств «Рубежное» и «Волгарь».

Точно так же произошло и с решением ряда других хозяйственных и бытовых проблем жизни города. Как были важны тогда эти проблемы, вряд ли стоит доказывать. Ведь, шутка сказать, за первые три-четыре месяца после начала войны количество населения в Куйбышеве шагнуло с 400 тысяч до 529 тысяч человек. Такой стремительный рост, связанный с большим числом эвакуированных в город промышленных предприятий и граждан, не мог не вызвать трудностей в удовлетворении бытовых нужд трудящихся. И в том, что с этими трудностями удавалось справляться, прежде всего сказывалась забота правительства и лично М. И. Калинина.

Его ободряющее слово, советы, практическая помощь ощущались во всем. Например, до войны основным видом внутригородского транспорта был трамвай. Но трамвайные линии располагались только в центре города, а промышленные объекты уже строились на Безымянке (ныне Кировский район), в других окраинных районах.

По инициативе Михаила Ивановича городу были отпущены средства на сооружение троллейбусной линии. Началась прокладка новых трамвайных путей. Протянулась железнодорожная линия на Безымянку. Несмотря на разгар войны, выделялись средства, на которые улучшались дороги, строились хлебные заводы, бани, водопроводные ветки...

Каждый раз я шел на встречу с Михаилом Ивановичем, как на праздник. А слушая этого большого государственного деятеля, разговаривая с ним, частенько ловил себя на мысли, что завидую московским работникам. Ведь Михаил Иванович проявлял, конечно, не меньшую заботу о трудящихся Москвы. Он, видимо, тоже вызывал к себе московских городских руководителей, так же с ними советовался, помогал им. А при такой помощи и работать интереснее, и уверенности больше.

Обычно М. И. Калинин вызывал нас к себе в 11 часов 30 минут по московскому времени. Беседы нередко продолжались час, полтора. Но как бы разговор ни затягивался, ровно в 12 часов Михаил Иванович подходил к приемнику, включал его. И мы, все присутствующие, вместе с ним слушали очередную сводку Совинформбюро. Они были тревожными тогда, эти сводки.

И Михаил Иванович, стоя у приемника, делался строгим, суровым. Задумчиво, как бы только для себя, произносил:

— Ничего. Это ненадолго. Скоро научимся бить врага. И обязательно победим!

В жизни каждого человека есть самые значительные, незабываемые дни. Я отношу к таким дням те, о которых только что рассказал.

## БЫТЬ ВСЕГДА НАЧЕКУ

Еще вчера на территорию Русско-Борковской МТС можно было пройти с любой стороны, в любое время. Сегодня все боковые входы закрыты. У главных ворот стоит человек с ружьем.

— Пропуск! — коротко произносит он, останавливая всех, проходящих в усадьбу.

Человек с ружьем — не обычный сторож. Его появление связано с коренной перестройкой всей производственной жизни предприятия, жизни работающих здесь людей.

«Больше хлеба для фронта! Это зависит от нас!»

«Оставшись в тылу, будь бойцом фронта!»

На стенах построек, в цехах — всюду, где раньше виднелись лозунги мирного строительства, теперь бросаются в глаза боевые призывы.

На фронт ушли десятки комбайнеров, трактористов, штурвальных, шоферов. Казалось, без них работа остановится. Этого не произошло.

В первые дни мобилизации к директору МТС тов. Петрову явилась с ребенком на руках колхозница Марья Федырчева.

— Что же, давай комбайн, — сказала она. — Муж на фронте, а я — за руль. Не стоять же машине!

Вслед за Марией Федырчевой явилась колхозница Симулина. Потом штурвальные Белякова и Козлова заявили о готовности работать комбайнерами. Через два дня на столе директора лежало 45 заявлений. Кроме того, 50 женщин и 12 мужчин из колхозов изъявили желание учиться на курсах при МТС.

Вернувшиеся к машинам опытные специалисты говорят их к уборке. Люди не считаются ни с условиями труда, ни со временем. Старые комбайнеры Чекмасов, Хазиахметов по 8 часов заняты на ремонте комбайнов и по 7 часов — в цехах, заменяя ушедших на фронт.

Четкая, высокопроизводительная работа и дружеская помощь родились в эти дни Отечественной войны.

Постоянный участник Всесоюзной сельскохозяйственной выставки опытный комбайнер Василий Рязанцев давно отремонтировал свою машину. Теперь он помогает ремонтировать комбайн группе женщин, которые впервые встанут за штурвал. Примеру Рязанцева последовали еще семь опытных комбайнеров.

Перевыполнение производственных норм становится обычным явлением. На ремонте комбайнов нормы выполняются на 150—200 и более процентов. На вспашке зяби бригады трактористов Дробатова, Никитина, Сманова и других перевыполняют задания, добиваясь экономии горючего.

Поздно вечером трактористы, комбайнеры, ремонтные рабочие и служащие МТС собираются на занятия по противовоздушной и противохимической обороне. По воскресеньям не занятые на производстве изучают боевую винтовку и пулемет.

Быть готовыми в любую минуту к выступлению на фронт с оружием в руках — такова еще одна производственная задача, прочно вошедшая в жизнь всего коллектива машинно-тракторной станции.

Н. Загородный, соб. корр. «Известий»,  
Ставропольский район Куйбышевской области.

Газ. «Известия», 1941, 11 июля, № 162.

## О РАБОТЕ МОЛОДЕЖИ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ФРОНТУ

Приближается боевой революционный праздник молодежи — Международный юношеский день.

Международный юношеский день в этом году будет проходить в обстановке, когда наша Родина ведет Отечественную войну с германским фашизмом.

Комсомольские организации уже сейчас должны широко развернуть подготовительную работу к проведению боевого праздника. На собраниях комсомольцев и молодежи нужно провести доклады и беседы о Международном юношеском дне. На этих собраниях необходимо рассказать об итогах первого Всесоюзного комсомольско-молодежного воскресника.

В первом комсомольско-молодежном воскреснике 17 августа принимали участие 1500 молодых патриотов и патриоток нашего района. Было заработано 2500 трудодней и 400 рублей, собрано 37 тонн металлолома.

Комсомольцы первичных организаций колхозов «Пламя революции», «Сталинский путь» и «Красный Восток» совместно с коммунистами на уборке урожая работали с высоким патриотическим подъемом и показали замечательные образцы высокой производительности труда. Участники воскресника значительно перевыполняли дневные нормы выработки.

Комсомольский актив райцентра, работая на очистке зерна в колхозе им. Чапаева, сделал достойный вклад во всенародный фонд обороны нашей матери-Родины.

Решением Центрального и областного комитетов ВЛКСМ в день празднования XXVII Международного юношеского

**дня 7 сентября будет проведен второй комсомольско-молодежный воскресник в фонд обороны Родины.**

**Необходимо принять меры к тому, чтобы предстоящий воскресник провести еще более организованно.**

**Сделаем новый вклад в фонд обороны Родины! В XXVII Международный юношеский день — все на воскресник!**

**К. Семенов,  
секретарь РК ВЛКСМ**

**Газ. «Красное знамя», 1941, 31 августа, № 71.**

## ТОВАРИЩЕСКИЕ ПОДАРКИ

Актив МОПРа Дзержинского района часто организует встречи прибывающих в Куйбышев санитарных пароходов. За последнее время на госпитальных судах проведено четыре митинга активистов МОПРа, бойцов, командиров и политработников, направленных на лечение в далекий тыл.

Встречи проходят в теплой, дружеской обстановке.

— Спасибо вам, родные, за заботу и ласку, — заявил на одном из митингов майор т. Бакулин. — Скоро мы снова вернемся в действующую армию и с утроенной силой и энергией, вместе со своими товарищами, будем громить и уничтожать ненавистных фашистских захватчиков.

Гости рассказывают раненым о своей работе на предприятиях и в учреждениях, о том, как они своим самоотверженным трудом всемерно помогают фронту, приближают час разгрома гитлеровской мрази.

Встречи заканчиваются вручением подарков, закупленных на средства, собранные в организациях МОПРа района. Помимо этого, на санитарные пароходы мопровцы города Куйбышева передали много литературы и свыше 800 штук столовой посуды.

Командование госпитальных судов с большой признательностью приняло эти товарищеские подарки славных патриотов родины.

Среди раненых, прибывших на санитарных пароходах, оказалось несколько куйбышевцев. Активисты МОПРа помогли своим землякам установить связь с родными, организовали встречи с ними в местном госпитале.

Газ. «Волжская коммуна», 1942, 17 июля, № 167.

**ИВАН АРСЕНТЬЕВ,**  
бывший летчик,  
Герой Советского Союза,  
член Союза писателей СССР

## **ВАСЯ ШАМШУРИН**

**Во время Великой Отечественной войны летчик Василий Шамшурин совершил подвиг. Его земляки из деревни Киясово поставили ему памятник.**

**Из газет.**

Наверно, в жизни каждого человека бывают такие случаи, которые как бы переворачивают его жизнь и оставляют глубокую, порой болезненную зарубку в душе на долгие годы.

Когда я прочитал сообщение в газете о памятнике Василию Шамшурину, сердце мое дрогнуло, ибо встреча именно с этим человеком изменила мою жизнь, изменила круто и навсегда.

Расскажу по порядку.

В тяжкую осеннюю пору 1942 года, когда немцы провалились к Сталинграду и начали карабкаться на Кавказские горы, мне пришлось воевать в составе 7-го гвардейского штурмового авиаполка. Линия фронта в те дни проходила километрах в сорока от Орджоникидзе. Места прекрасные, богатые и вместе с тем страшные: крутые склоны гор утыканы вражескими зенитками, а ты летишь по узким ущельям, где не то что самолету — воробью развернуться мудрено, на голову твою жмут громады облаков, а снизу садят по тебе из всех калибров.

Накануне Октябрьских праздников пару штурмовиков Ил-2 послали на разведку в сторону города Ордона. Разведали ребята все, что надо и возвращаются обратно. Линию фронта проскочили удачно, успокоились, летят над своей территорией «бреем». Высота метров двадцать, справа уже показался Орджоникидзе. Вдруг видят — возле селения Ги-

зели, среди кукурузного поля стоят замаскированные танки. Много танков.

— Ух ты, сколько коробок-то понапихано! А нам морочат голову, дескать, войск не хватает... — возмутился один из летчиков.

— Да-да... Ишь, прохлаждаются в кукурузе, а наш брат, горбатый, вкалывает за всех... — буркнул другой и тут же вскричал изумленно: — На коробках кресты! Это же немцы!..

— В нашем тылу? Чепуха.. Это танкисты специально мелом кресты намазали, для маскировки. Прилетит «рама», увидит — свой...

— Нет, что-то не похоже, что это наши...

— Ну, давай развернемся, пугнем их! Если наши — обозначат себя, две зеленые...

Летчики тут же сделали боевой разворот и, «клюнув», дали предупредительную очередь из пушек.

Эх, мать честная, что там поднялось! Ребята наши едва ноги унесли.

Ошалелые прилетели они в Грозный, рулят прямо к КП. «Илы» их все в дырах, на хвостах клочья трепыхаются.

— Вы тут сидите, а немцы к Орджоникидзе прорвались!.. — подняли они тревогу.

Командир полка не поверил им:

— Заблудились, черти, в горах и несете ахинею? Я вам покажу немцев... Откуда им быть здесь?..

Те тычут пальцами на пробоины, стучат себя в грудь, клянутся, что говорят правду. Заколебался командир полка. И то сказать, оба — летуны бывалые, да плохих на разведку и не посылают. Позвонил в штаб дивизии, оттуда приказ: слетать на доразведку.

Слетали. Да, так и есть, все правильно. Немцы действительно прорвались. Над районом обороны Терского ущелья, который защищали бойцы потрепанных полков и курсанты училищ — артиллерийского и внутренних войск, — нависла смертельная опасность. Не прошло и часа, как 4-ю воздушную армию подняли в воздух и бросили на Гизель. Летели все, начиная от «крючков» — американских бомбардировщиков «Бостон-3» и кончая 46-м гвардейским женским ночным бомбардировочным полком на По-2. В небе над целью стало тесно и жутко. Фашисты, разумеется, не соби-

рались отдавать нам безнаказанно свои «панцерны». Били из всех видов оружия.

В день 25-летия Октября из тридцати шести летчиков полка погибло пять. И мы, живые, подавленно молчали, словно были виноваты в гибели товарищей, словно что-то недосмотрели или прозевали и вот — трагический итог.

Вечером к еде никто не притронулся, сидели, как в воду опущенные. Мы критиковали себя за кажущиеся и за истинные промахи, которые виделись нам сейчас совершенно ясно, но днем, в чертовых клубках схваток, не были замечены. Мы, наклонив головы, смотрели перед собой на стол, но видели не ложки и тарелки, а танки и самолеты. И лишь летчик Иван Остапенко, по прозвищу «Пуля», способный шутить и тогда, когда к хвосту его Ила подбирался «месс», подмигнув Васе Шамшуруну, сказал:

— Ну, как оно, кум? Не посеял сегодня мядаль?

— Не-е... — помахал тот планшетом и улыбнулся. Улыбочка эта показалась мне и неуместной и неприятной. И вообще не по душе был мне этот Васька. Он недавно попал в полк вместе с последним пополнением и на боевое задание слетать еще не успел, зато сумел уже настроить против себя не одного меня... Ну, на самом деле, что это за летчик? Щуплый, хилый, плечи покатые. Мало того, так он еще сутулился и все время опасно оглядывался. Идет и все время оглядывается. С чистой совестью — думалось мне — должен ходить и смотреть прямо, а этот вертится, словно ждет ежеминутно, что ему накостыляют по шее. Да разве так обязан держаться настоящий летун!...»

Мне к тому времени довелось уже повоевать. Летая в начале войны на старом истребителе И-16, я был сбит, почти месяц выбирался с оккупированной территории, и выбрался благополучно. Только похудел на двенадцать килограммов... Килограммы и силы вскоре вернулись, прибавилось и боевого опыта, прибавилось, к сожалению, и самоуверенности. На необстрелянных летчиков я поглядывал обычно свысока, натаскивал их в боях неохотно, что, мол, мне с ними возиться, подавай мне таких, как я. Мне же, как на грех, подсунули этого Ваську.

Нетрудно вообразить, с каким предубеждением отнесся я к новичку. Чем дальше, тем больше во мне утверждалось мнение, что он случайный человек в авиации.

Идем однажды на КП, дорога прямая, гладкая. Вдруг Василий бряк — и растянулся.

— Ты, что же, спишь на ходу? — шумнул я на него. — Будешь так в небо смотреть, то заранее подписывай на память друзьям свои портреты... — Пока Василий виновато стряхивал пыль с колен, я продолжал возмущаться и настаивать его: — Настоящий воздушный боец — это живчик! Вертится юлой. Он должен разом слушать, думать и выполнять. А ты?

Василий только сопел. Хоть бы огрызнулся! Нет. Ты его «оттягиваешь», а он молчит.

— Как ты в летчики попал? Небось в школе одни двойки да тройки ловил, ни в какой институт тебя не взяли...

— Не-е.. — возразил он, наконец. — Я учился ничего... У меня мядаль есть...

Так и сказал «мядаль», дьявол его побери! Я развеселился и, когда мы спустились в землянку КП, завел речь о «мядали» на потеху остальным. А парни у нас такие — не дай бог попасть им на зубок!

Василий тем временем порылся в планшете, достал клок газеты, развернул, и на ладони оказался кругляш — действительно, серебряная медаль.

До войны мы все учились: кто в техникуме, кто в средней школе. В той, например, где учился я, медалей и в глаза никто не видел. Теперь все мы с интересом принялись рассматривать эту медаль и даже стали пробовать ее на зуб. Кто-то с деланным изумлением спросил:

— Где ж это ты так учился?

— В деревне Киясово...

— В деревне? Па-анятно... Небось папаша деятель районного масштаба, ха-ха!..

— Чего ж ты такой ученый и не двинул, скажем, в академию?

— Не захотел. Мне нужно летать, — сказал строго Василий и, немного помолчав, с мягкой мечтательностью произнес: — С восьми лет меня в небо тянуло. Увижу, бывало, ероплан, так меня всего и подкинет...

«Ероплан» почему-то не вызвал смеха. Наоборот, на КП сразу все приутихло. И даже азартные «козлятники», бросив костяшки, повернулись к Василию. А он потер ладонями

лицо, словно умываясь, и с той же мечтательностью продолжил:

— Однажды были войсковые маневры. Возле нашей деревни приземлился связной самолет. Не знаю, как я набрался смелости, но подошел к летчику и говорю: «Подними меня, дяденька, один только раз, и больше мне ничего в жизни не нужно. Я тебе за это все двадцать пар своих кроликов отдам». Он посмеялся, конечно, и отвечает: «Купи, брат, билет на пассажирский и катайся сколько душе угодно». Купи, думаю, а где деньги? Отец помер, мать осталась с нами четвермя. Как ни прикидывал, получалось раньше как к тридцати годам не заработать мне.

В землянке слышались сочувствующие голоса, кое-кто из летчиков усмехнулся, но без ехидства. Было в словах Шамшурина что-то знакомое и близкое всем нам, пилотам. Это «что-то» — очевидно, необъяснимая тяга к небу, к свободе полета. Ведь мы на фронте тосковали по просторному небу, наше было тесным и жарким.

«Однако, — подумал я, — этот Васька не такой уж простачок, каким кажется на первый взгляд! Ишь, как наяривает, на сердечных струнках играет!.. Хитер... Только на меня такие штучки не действуют».

— Ладно, — говорю, — Мядаль, кончай треп, займемся делом. Топай к слепой карте и лети по памяти. Курс...

С того дня и пошло: Мядаль да Мядаль... Так и прилипла к Василию Шамшурину эта кличка.

8 ноября в полку погибло еще три летчика. Вечером комиссар посмотрел на наши кислые физиономии и приказал: всем на танцы!

В холодном сарае, освещенном коптилкой — сплюсненной снарядной гильзой, технарь Чумаченко играл на баяне фокстроты, заученные с патефона. Под эту немудреную музыку мы и топтались с официантками из БАО, стараясь поднять свое настроение.

Василий тоже явился в сарай, как все, а зачем — неизвестно. Танцует, как корова на льду.

И это пилот! Которому положено обладать чеканной координацией движений!

Синоптик Клава, красивая девушка, с которой танцевал мой комэска, присела отдышаться на ящик из-под бомб, где уединился и скупающий Шамшурин. Комэска, куривший

в сторонке, поглядел в их сторону и шутя погрозил пальцем. Василия тут же, как ветром сдунуло с ящика.

На следующий день после первого вылета продырявленный самолет штурмана полка поставили в ремонт, а ему поручили проверить на двухместном тренировочном Иле новичков из пополнения. Летчиков не хватало, и надо было вводить в дело молодежь.

В числе других пошел на проверку и Василий Шамшурин. Сделал три полета с инструктором. Нормально. Выпустили самостоятельно. Пролетел вокруг аэродрома, заходит на посадку. Обычное курсантское упражнение, а он как даст «козла»! И не одного, а штук пять, да еще, как говорят, с козлятами... И главное — смотрит по сторонам: как ни в чем не бывало. Словно все так и должно быть. В училище бы за его такое художество... А на фронте что? Отругал командир за «выдающуюся» технику пилотирования и точка. Но мое личное предубеждение не позволяло мне ставить точку. В голове зародилось подозрение: «Уж не ловчит ли чего доброго Мядаль? Не выкидывает ли умышленно коленца с расчетом прокантоваться на земле. Ведь летчика с плохой подготовкой в бой не пошлют, все это знают!»

Моей группе дали команду «по самолетам», а когда мы вернулись с задания, я узнал, что Шамшурин с инструктором летал в зону высшего пилотажа и что инструктор особых претензий к нему не имеет. Все было выполнено вроде неплохо, и Василия включили впервые в боевой расчет.

Третий вылет мы делали под вечер, летели восьмеркой в район Алагирия. Меня поставили замыкающим справа от Шамшурина. В случае атаки истребителей противника я обязан был прикрыть его, если он оторвется от группы, вывести на цель, а если заблудится, привести на аэродром.. Так положено. У каждого в первых вылетах есть нянька...

В Алагире растут великолепные груши. Ароматные, сочные. Но в нас из Алагирия швыряли отнюдь не грушами. Западнее селения есть гора, названная нами «утюгом», которая от самого подножья до вершины была утыкана немецкими зенитками всех калибров. Мы, штурмовики, заканчивали обычно обработку целей на малых высотах, и иногда доходило до того, что фашисты стреляли по нас сверху вниз....

В этот раз небо впереди словно шевелилось. Подобно тому, как пузырится каша, кипящая в котле, так по серому полю облаков вспухали и лопались белые клубки разрывов. И никуда от них не увернуться, не скрыться: справа горы, слева горы, а впереди проклятый «утюг», из которого тянулись нам навстречу, как щупальца волокна трасс «Эрликонов».

Там, внизу, фашистские танки. Зенитки бьют вовсю, значит, истребителей противника поблизости нет. Наши Илы вздрагивают от близких разрывов. Я не спускаю глаз с Василия, прилип крылом к его крылу, показываю: правь на взрыв, снаряд вторично в одно и то же место не попадет. Шамшуринов все выполняет правильно. Шарю взглядом по небу — «мессов» по-прежнему нет, да так и должно быть, раз огонь с земли стал еще гуще, злее. Я лечу позади всех, и мне хорошо видны наши Илы, мотающиеся среди кудреватых вспышек. Впечатление такое, будто это не самолеты, а маленькие катера на штормовой волне.

А вот и цель. Командир группы передает по радио:

— Горбатые, внимание! Работайте спокойно, «мессов» над целью не вижу. На выходе из атаки не отрываться! Ну, пошли!..

«Началось... — подумал я мимолетно и вдруг ахнул: под мотором самолета Шамшурина блеснуло ярко-оранжево пламя и тут же потянулось под фюзеляж. — Эх, черт побери!... Даже стрелнуть тебе, друг, не дали...»

Мигом скользнул к нему, взглянул в форточку: не ранен ли? Вроде бы нет. Сидит, маневрирует. «Цел!..» — обрадовался я и сделал рукой знак, что, мол, у тебя? Шамшуринов поднял руку и махнул дважды сверху вниз. Я сначала не понял его сигнала, но потом сообразил: показывает, что будет прыгать. А что еще остается делать, раз самолет горит? Ветер в нашу сторону, авось снесет благополучно к своим.

В это время ведущий пошел в атаку. За ним «клюнул» второй Ил... третий... четвертый.. Подходит и моя очередь.

— Прыгай!.. Чего чешешься!.. — кричу я Шамшуринову, пикируя на цель. Но Василий не оставляет самолет. Мало того, сваливает его на крыло и начинает пикировать вслед за всеми. Пламя и дым тянутся за хвостом его машины. Я несусь к земле, жму кнопку эрэсов, бью из пушек и пулеметов. Шамшуринов тоже пускает эрэсы, стреляет из пуле-

метов. Мне видна его голова в шлемофоне, прикипшая к прицелу, шлейф пламени позади самолета и желтоватые пульсирующие язычки из стволов оружия. Все это намертво врезается в память.

«Черт! Какой молодчага!..» — думаю невольно я и, забыв, что он меня не слышит, снова ору во все горло:

— Прыгай же, прыгай, сумасшедший!..

Илы стремительно теряют высоту. До цели уже пятьсот метров — пора бомбить. Внимание мое на земле, но краешком глаза я все-таки вижу желтое мерцание у дульных срезов Васиных пушек.

Четыреста метров... триста... все! Ниже бросать бомбы нельзя, иначе взорвешься на них сам. Ударяю рукой по рычагу аварийного освобождения от бомб, и облегченный самолет тут же взмывает, а перегрузка сильно вдавликает меня в сидение. Изо всех сил валю машину круто на крыло и вижу, как самолет Шамшурина огромным дымным факелом несется в землю. Несется и стреляет. Еще несколько мгновений и... багровое трепещущее пятно встает передо мной... Зловещее багровое пятно и черные стрелы из него, как перья...

Машину мою швырнуло метров на сто вверх, в груди у меня что-то оборвалось. Самолет вздрагивал от осколков, но я не маневрировал. Перед глазами по-прежнему стояло зловещее багровое пятно с торчащими из него черными перьями. Оно закрывало мне весь свет и... навсегда осталось с этого момента в моих глазах.

Пробоин привез столько, что самолет поставили на ремонт, а я сел на бугре за землянкой КП и стал курить одну за другой самокрутки. Курил, чтоб не заплакать. Так и просидел дотемна в одиночестве.

Трудные были для меня эти часы — часы жестокого самообвинения, часы прозрения.

Каждый день вокруг витала смерть, и каждый день я заглядывал в ее пустые глаза. Мне не раз приходилось видеть гибель своих товарищей. И я как-то привык к этому. Но сегодня... Меня точно вышвырнуло на неведомую планету, где нужно впредь на все смотреть по-новому, все изучать сначала. Обнажая всю свою жизнь до последней жилки, я вершил над собой суд. Я говорил себе: «Ты оценивал людей по внешним случайным признакам, ты, мальчишка, сортировал их на «белых и черных», скромность и

исполнительность воспринимал как безволие и трусость.

А хватит ли у тебя самого воли и твердости духа совершить то, что совершил Вася?..»

После гибели Василия Шамшурина военная судьба, видимо, в отместку за мои грехи делала мне такие подножки, что подниматься потом приходилось месяцами. Памятней всех осталась «Керченская подножка».

Осенью 1943 года на Керченский полуостров был высажен наш десант. Вернее — два десанта: один — в Эльтигене, а второй — северо-восточнее Керчи. Я к тому времени летал уже на новом самолете с воздушным стрелком.

Кажется, на вторые сутки с начала высадки десанта в Эльтигене поднялся такой шторм, что тюлькин флот — рыбацкие суденышки, на которых высаживали и снабжали войска, переворачивало вверх днищем. Поставки боеприпасов и снаряжения на крымский берег прекратились. Тысячи моряков и пехотинцев, зажатых немцами между Соленым озером и Чурубашским болотом, попали в отчаянное положение. День и ночь напролет сыпались на них мины и снаряды противника, волнами атаковали их вражеские танки, пикировали, устрашающе завывая сиренами, Ю-87 и бомбили, бомбили, бомбили клочок истерзанной, поистине огненной земли. А десантникам воевать было нечем.

Шли дни, но шторм, точно по сговору с фашистами, лютował, не утихая. Дошло уж до того, что нам, штурмовикам, стали подвешивать мешки с гранатами и патронами, и мы сначала сбрасывали нашим десантникам этот бесценный груз, а уж затем штурмовали вражеские позиции.

У моряков была мощная наземная радиостанция с позывным «Граната», настроенная на волну летчиков, и работал на ней уж слишком горластый радист. Бывало, появишься над проливом, а он как забасит, нажимая на «р»:

— Бр-р-ратва! Штур-р-рмовики! Бросай мне скор-р-рей пат-р-р-роны, снар-р-ряды, сухар-р-ри!..

И мы бросали. Но разве накормишь слона мухой! А немец все напирал и напирал: и с моря, и с суши.

...9 декабря нас подняли, как обычно, на рассвете. Ветра на этот раз не было, но аэродром затянуло туманом — летать нельзя.

Придя на КП и узнав, что приказа о готовности не было, мы завалились на нары досыпать. Но вдруг часов в десять

подкатил «Виллис» командира дивизии и поступила команда: срочно построиться всему полку.

Крутом: шу-шу, шу-шу, с чего бы это?

Стоим в строю, ожидаем. В затылок мне — воздушный стрелок Валентин Уманец. Мы летаем с ним вместе с весны, и у него на счету уже два сбитых «месса».

— Смирно! Равнение на знамя! — раздалась команда.

Техник со знаменем в руках встает на правом фланге. Кумачовое полотнище тяжело колышется в едкой мороси.

— Товарищи летчики! — обращается к нам командир дивизии. — Наш десант в Эльтигене прошлой ночью прорвал оборону немцев, ворвался в Керчь и занял порт. С нашего берега подошли суда, приняли раненых, но к утру группу прикрытия на горе Митридате отрезали фашистские танки. Все аэродромы на Тамани закрыты туманом, а над проливом видимость хорошая. Ваша точка ближе других к берегу. Командование армии надеется, что вы, гвардейцы, сумеете нанести удар по фашистским танкам. Я знаю, что летать в тумане, да еще на малых высотах, очень опасно, но иного выхода нет и, чего бы это ни стоило для нас, мы должны помочь десантникам... — Он умолк и стал пристально вглядываться в наши лица.

Командир полка шевельнул острым кадыком, зачем-то потрогал воротник реглана. Взгляд его задержался на правом фланге, на тяжело колышавшемся гвардейском знамени.

Год тому назад, встав на колено, он первый из нас поцеловал его. И вот, шагнув порывисто вперед, он быстро заговорил, указывая пальцами:

— Группу поведу я. Со мной летят справа Аверьянов и... Плешаков, слева... — Палец командира прошелся до конца шеренги, вернулся обратно и застыл на мне...

— По самолетам! — скомандовал он и добавил: — Сбор группы над проливом возле косы Чушки...

Рулим на старт. Краев аэродрома не видно. А полк стоит, и знамя, издали кажущееся черным, полощется в руках знаменосца.

Пошли на взлет. Я — последний. Оторвался и сразу — молоко. От напряжения за ушами — струйками пот. Веду самолет наполовину по чутью, наполовину по приборам, мысль одна: как бы не уклониться от курса и во что-нибудь не врезаться. Особенно боюсь бугра, который находится где-то слева, в тумане, нога сама давит правую

педаль. Вскоре начинаю замечать, что туман становится вроде жиже, и вот внизу холодно проблеснула вода.

«Ахтанизовский лиман или море?.. Фу, черт!.. Опять земля, значит, не море... А вот снова вода...» Здесь тумана нет. Я зарыскал вокруг глазами. Эка куда меня занесло из-за боязни этого проклятого бугра! До Ахилионского маяка осталось рукой подать. Коса Чушка слева, а над ней кружатся мои товарищи. Слава богу, взлетели все. Как-то садиться будем!.. Да и будем ли... Вернемся ли мы с такого задания?.. Неприятные мысли донимают меня, и избавиться от них не так-то просто. И все же, действительно, как в таком тумане мы найдем свой аэродром? Одна надежда — радиополукомпас РПК-10. А вдруг он не работает. Моя рука машинально потянулась к тумблеру. Раньше бывало включишь приводную станцию и слушаешь «Катюшу» или еще что-нибудь веселенькое, а сейчас, как назло, радист поставил: «Напра-асно старушка ждет сына до-о-омой...»

— Вот идиот!.. Еще и он завел похоронную!.. — выругался я в адрес радиста и тут же, выключив привод, направился к своим. Теперь мы все в сборе — курс на Керчь. Высота семьдесят метров. Над разбитым городом ни дымка, ни огонька. Вокруг прозрачность и покой.

Но мы-то знаем, что это за покой! Уже не раз пробовали его на собственной шкуре. От поселка Осовино до Екатерининской крепости засечено более трехсот зенитных точек. Сейчас над проливом, кроме нашей сумасшедшей четверки, — ни души. И все триста стволов нацелились нам в лоб, а мы летим на «брее». Сейчас вряд ли помогут нам самые изощренные противозенитные маневры — надеемся лишь на удачу и на везение.

Как сумели мы проскочить через город — один аллах знает. Лупили по нас так, что живого места на самолетах не осталось. От прямых попаданий дюраль на крыльях вспучивался зловещими завитками, оглушительно звенела броня, самолет трясся, как в лихорадке. Моментами казалось, что винт перестает вращаться на моей машине. Справа возле центроплана разодрало такую дырищу, что подними руки вверх — и проскочишь насквозь без задержки. Самолет неудержимо валило набок, рулей «не хватало». Такого огня даже на «голубой линии» не упомню. А мое

положение осложнялось еще и тем, что я летел замыкающим и снаряды, не попадавшие в моих товарищей, доставались мне. Кругом перехлесты трасс, разноцветье вспышек. Немцы любой ценой старались отсечь нас от танков. И все-таки, несмотря ни на что, мы прорвались.

Вот они — на изрытой набережной, за базарной площадью! С машины ведущего сорвался густой рой ПТАБов, следом за ним стреляют и бомбят мои товарищи. Цель видна хорошо, и сам бог велит накрыть ее без промаха. Прицеливаюсь и я, стараясь не замечать «Эрликонов», гвоздящих мой Ил. «Раз, два, три, четыре!..» — жму кнопку бомбосбрасывателя и кричу стрелку:

— Как накрыли, Валентин? Смотри разрывы!

Но вместо ответа стрелка в наушниках раздается голос командира:

— Иван, скользи!.. С бочкового завода бьют в живот... — И голос его тут же обрывается.

Ошалевший, ослепленный разрывами, словно из красной пузырящейся пены выскакиваю на залив. Озираюсь налево, направо — никого. Впереди — тоже. Я один. Ужас!

И вдруг в наушниках знакомый хрипловатый бас:

— Брр-р-ратва, штур-р-рмовики! Врр-р-режьте фрицам еще р-р-разок!

«А-а... — обрадовался я, — ты еще живой, радист «Гранаты»! И, переключив рацию на внутреннюю связь, спрашиваю стрелка:

— Валентин, как дела?..

Молчание

— Как дела, Валентин?

Опять молчание, но через несколько секунд — натужно, со стоном:

— Ранен я... рука... — Опять пауза и вдруг отчаянный крик: — Командир! «Месс» заходит!..

Я хочу тут же вывести самолет из-под трассы немца, но пустое дело: рули сопротивляются, пружинят, и израненный Ил бревном ползет над водой. Мелькает тень. Надо мной, накренившись в развороте, появляется «Мессершмитт-109». Вижу размазанный фюзеляж — крокодил с разинутой пастью, белый крест и словно губной помадой выведенный номер шесть. Воротник куртки у летчика расстегнут. Губы шевелятся: видно, разговаривает по радио.

«Будет добивать...» — в ужасе подумал я. Глянул на

свинцовые волны и вздрогнул: через секунду-другую они накроют меня навсегда. Жду последней очереди, но немец не атакует, он повисает над моей головой, гримасничает и тычет куда-то пальцем. «А-а-а! Вон чего тебе, гад, надо! Хочешь посадить меня на свой аэродром в Багереве!.. Ах ты, сволочь, «крест» на мне хочешь заработать!..» — И я, чертенея от отчаянной беспомощности, показываю гитлеровцу неприличный жест — вот, мол, тебе!

Немец грозит кулаком, скрывается. Проходит несколько секунд, и мой самолет сотрясается от ударов. В кабине вихрь бензина, хлещет из пробойины нижнего бака где-то под ногами. Я мокрый с головы до пят, тело сковывает нестерпимый холод. Откидываю фонарь кабины, выплевываю бензин. Сейчас он вспыхнет и...

Высоты мало, внизу студеное море, но, возможно, если рвануть кольцо парашюта в кабине, то куполом меня выдернет... А там, глядишь, пришлют с таманского берега катер.

«Пошел!..» — команду мысленно сам себе и, бросив управление, хватаюсь за кольцо... И тут происходит то, что трудно объяснить: перед моими глазами вдруг вспыхнуло багровое пятно с черными острыми перьями. Возникло впечатление, что самолет мой взорвался, я погиб, но мозг по инерции продолжает еще жить и воспринимает окружающее.

Неуправляемый Ил продолжает лететь и крениться все больше на правое крыло. Я чувствую, как что-то больно перехватывает мне горло. Багровое пятно исчезает. Багровое пятно... Запечатленный навсегда в моем сознании миг. Он возвратился, чтоб напомнить мне... Я вздрогнул. «Вася, ты не покинул горящий самолет, а я... Там, в задней кабине, лежит мой израненный стрелок, а я хочу бросить его, лишь бы спасти свою шкуру?.. Нет, я не сделаю этого!..»

В каком-то все еще бредовом состоянии беру снова управление и стараюсь выровнять самолет. Немец больше не атакует. Видимо, отвернул, решив, что со мной все покончено. Высовываюсь за борт, гляжу. До косы Чушки не дотянуть, ближняя земля — клочок, захваченный десантом восточнее Керчи. Виден уже берег бухты Опасной, а вот и Жуковка показалась... Еникале... И в это время в кабине что-то глухо ухнуло, и в глаза мне плеснулось пламя.

Как садился — помнится смутно. Факелом выскочил из

кабины и покатился по земле. На счастье рядом оказались десантники, они тут же забросали меня шинелями, погасили пламя. Вскочил в горячке, сдернул с руки перчатку, а оказалось не перчатку — лоскутья опаленной кожи, что висели черными закрученными стружками. Оглянулся на пылающий самолет и заорал не своим голосом:

— Братва, раненый стрелок в кабине!

Бросились к самолету. У Валентина оторвало правую руку, и он был без сознания. Едва успели вытащить его, как самолет тут же взорвался.

Когда туман к вечеру рассеялся, санитарный По-2 доставил нас с Валентином в госпиталь. Вскоре я был снова на фронте, а Валентину воевать, конечно, больше не пришлось...

Встретились мы с ним много лет спустя.

В Керчи, в центре города, в том месте, где до войны был базар, стоит теперь красивый театр. В том месте на набережной, где мы накрыли фашистские танки, возвышается уютное кафе «Бригантина». И театр, и кафе построены по проектам архитектора Валентина Прокоповича Уманца, проживающего в Симферополе.

Есть в Керчи памятник, поставленный нами, бывшими летчиками своим павшим товарищам. На постаменте пять белоснежных крыльев, устремленных ввысь, символизирующих пять полков штурмовой авиадивизии. В бронзовой капсуле, замурованной в правое крыло постамента, фамилии погибших товарищей. Среди них и фамилия Героя Советского Союза Василия Шамшурина. Теперь установлен обелиск на его родине, в селе Киясово, в Удмуртии.

Меня глубоко взволновало короткое сообщение об этом в газете. И я решил рассказать о скромном и застенчивом, влюбленном в небо человеке — Васе Шамшурине, по прозвищу «Мядаль», о человеке необыкновенной воли и мужества, который долгие годы после смерти остается для меня живым.

## О ПЕРВОМ ОТКРЫТОМ ИСПОЛНЕНИИ СЕДЬМОЙ СИМФОНИИ ШОСТАКОВИЧА

Во Дворце культуры состоялось первое открытое исполнение Седьмой симфонии лауреата Сталинской премии Д. Д. Шостаковича. По окончании концерта переполнившая зрительный зал публика устроила Д. Шостаковичу, С. Самосуду и всему составу исполнителей шумную, продолжительную овацию.

На концерте присутствовали представители партийных и советских организаций города, деятели искусства и литературы, члены дипломатического корпуса, представители иностранной и советской печати и др.

Концерт транслировался по всем радиостанциям Советского Союза и за границу. Радиопередаче предшествовало выступление перед микрофоном Д. Шостаковича, рассказавшего радиослушателям о своей работе над Седьмой симфонией, о ее характере и содержании.

ИЗ ОТЧЕТА О ШЕФСКОЙ РАБОТЕ АРТИСТОВ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРДЕНА ЛЕНИНА  
АКАДЕМИЧЕСКОГО БОЛЬШОГО ТЕАТРА СОЮЗА ССР  
В ГОСПИТАЛЯХ И ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ  
ЗА ПЕРИОД С 1 ИЮЛЯ ПО 1 ОКТЯБРЯ 1942 г.

*1 октября 1942 г.*

...С 31 июля по 5 августа выезжала бригада для обслуживания Н-ских частей, отправлявшихся на фронт. Было дано 8 концертов.

...Проведено в жизнь постановление общего собрания работников Большого театра об отчислении на танковую колонну им. В. В. Куйбышева однодневного заработка из фонда зарплаты и устройстве концертов 15 февраля 1942 г.

На танковую колонну им. В. В. Куйбышева собрано было 32 386 руб.

...3 апреля 1942 г. был дан спектакль «Пиковая дама» на постройку эскадрильи «Советский артист». Сбор составил 16 512 руб., кроме того, работники театра отчислили двухдневный заработок, что составило в общей сумме 95 746 рублей.

...С 23 апреля по 2 июля выезжала бригада для обслуживания частей Северо-Западного фронта. В составе бригады из работников Большого театра принимали участие Парфененко, Долгий, Ивлиев, Рыбкин. Дано было 95 концертов.

С 25 июня по 13 сентября выезжала бригада для обслуживания частей Северо-Западного фронта. В составе бригады принимали участие Воробьев, Енакиев, Звягина, Седых, Карцев, Дусович, Вайнрот, Хрусталеv, Шухман. Бригада дала 48 концертов.

...с 25 июня по 27 августа выезжала бригада на Калининский фронт. В составе бригады принимали участие Сидоро-

ва, Дидковский, Хоссон, Яхонтов, Бочарникова, Соколов, Бельский, Гольденбрег, Панюшкин, Швейцер. Бригада дала 58 концертов.

Все вышеназванные бригады оказывали большую помощь красноармейской самодеятельности, занимаясь с певцами, инструменталистами и танцорами.

В связи с предстоящим празднованием 25-летия Октябрьской социалистической революции работники Государственного ордена Ленина Академического Большого театра Союза ССР широко развернули социалистическое соревнование как по выполнению производственного плана, так и по военно-шефской работе.

**ОТЗЫВ ПОЛИТОТДЕЛА 52-й АРМИИ О РАБОТЕ  
ФРОНТОВОЙ БРИГАДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРДЕНА  
ЛЕНИНА АКАДЕМИЧЕСКОГО БОЛЬШОГО ТЕАТРА  
СОЮЗА ССР**

*7 сентября 1942 г.*

Концертная бригада артистов ГАБТ — бригадир т. Звягина Сусанна Николаевна — работала в частях и соединениях Н-ской армии с 16 августа по 9 сентября 1942 года.

За этот период бригада дала 23 концерта, на которых присутствовало более 15 тыс. красноармейцев, командиров и политработников, главным образом, с передовой линии фронта.

Все концерты в частях армии прошли на высоком художественном и идейно-политическом уровне. Бойцы и командиры выносили глубокую и чистосердечную благодарность артистам за прекрасные концерты.

«Два дня вы пробыли среди нас. Здесь, в глухих лесах и топких болотах Валдайской возвышенности, наши мысли, чувства вновь вернулись к тому периоду, когда мы слушали и видели вас в ярких залах освещенного театра, в привычной вам обстановке, вместе со своими родными, близкими, друзьями, и эти мысли, чувства еще более крепят в нас ненависть к врагу, любовь к Родине, готовность к самопожертвованию. Мы ничего не пожалеем для нашей победы, для возвращения счастья всем народам нашей Родины, и если вы услышите о наших успехах, то помните, что в этом и ваша заслуга». Так пишут красноармейцы и командиры Н-ского соединения.

Концерты проходили в обстановке большого политического подъема и были не только демонстрацией нашего замечательного советского искусства, но и политической демонстрацией единства фронта и тыла, непоколебимой воли советского народа, направленной к победе над ненавистным врагом.

Как правило, концерты заканчивались митингами, на которых выступали бойцы, уже закаленные в боях. Они давали клятву бить врага беспощадно, до полного его разгрома...

Художественное слово, бодрая, жизнерадостная песня, темпераментный танец — все это еще больше вдохновило наших бойцов и командиров на новые героические подвиги в борьбе с немецким фашизмом. Еще больше закалили священную ненависть к врагу в сердцах воинов Красной Армии и укрепили веру в окончательном разгроме гитлеровской грабительской армии.

Политический отдел выносит искреннюю благодарность всему коллективу фронтовой концертной бригады за проведенную большую и плодотворную работу в частях и соединениях армии и просит Комитет по делам искусств повторить командировку бригады, возглавляемой тов. Звягиной....

Начальник политического отдела 52-й армии,  
бригадный комиссар Шмелев

ГАКО. ф. 3341, оп. 2., д. 39, л. 457. Зав. копия.

## ТРОЕ СО СТАРОЙ ФОТОГРАФИИ

Она вынула эту фотографию из глубины комода. Большая карточка с обломанными краями. На фоне античных колонн и кипарисовых роц сидели три моряка. И двое стояли сзади. Отутюженные темные форменки, треугольники тельняшек, надвинутые на брови бескозырки. И ленточки через плечо. По низу рукавов — два тонких шеврона, над ними вышитые звезды.

Ребята замерли, в напряженных руках дымятся папиросы. Они смотрят прямо перед собой, словно вглядываются во что-то далекое.

— Как живые... — сказала она и вытерла ладонью морщинистое лицо. — Сколько лет уж прошло, а вот гляжу и всякий раз слеза берет. Жили-то ведь они у меня всего ну, может, месяц, не больше.

— Жили?

— Ну, вроде, на постое. Вот эти трое, что сидят. Домик у меня тогда недалеко отсюда стоял, на выходе в порт. Удобно им получалось.

— Вы помните, как их звали? — спросил я.

— А как же! В серединочке который — Саша. Он с госпиталя бежал недолеченный. Живот весь в бинтах, постирайте, говорит, мамаша, а то индпакеты все перевел... А рядом с ним, справа вот, — чернявенький, его Сабиром звали. Ну, а третий — то Коля-москвич. Фамилия ему была Анисимов. Помню, утречком рано, до света еще поднялись. «Эсэсы, — говорят, — мамаша, рвутся до города. Так что уходим выполнять особое задание командования. Может, и не свидимся: обстановка серьезная...» Шторм в то утро был. Волны так и гукали, и дождь со снегом косохлестом. Я своих-то из виду потеряла, шагают где-то среди дружков; в колонне разве разглядишь — все похожие. От порта туда, к Верхне-Кардонной и дальше, в горы, с эсэсами драться...

Ребята смотрят прямо перед собой. Саша, Сабир и Коля-москвич. Когда они сфотографировались? Наверное, перед самой войной. Где-нибудь в парке культуры и отдыха. А осенью сорок второго оставили фотографию своей квартирной хозяйке в благодарность за ее ласку и заботы о них.

«Уважаемая, Пелагея Петровна, пусть это мертвое изображение напомнит вам образ наш живой. Саша, Сабир, Коля».

...В горах за Туапсе клубился тяжелый, плотный дым. Блеклые языки огня лениво лизали мокрые стволы каштанов, коробили жестяную листву рододендронов. Дым смешивался с дождем и туманом, висел над горами, зловещий и непроницаемый.

Три тысячи моряков, растянувшись на полкилометра, шли торопливым шагом, поднимаясь все выше и выше, в горы. Навстречу им ползли по крутым, скользким тропам волокуши с ранеными. Две жерди, натянутая плащ-палатка и лошадь с разбитыми о буковые корни копытами. Раненые лежали молча, и только белые, без кровинки лица говорили о том, чего им стоил спуск с гор на волокуше.

— Давай! — зло кричали девчонки-санинструкторы, размахивая красными от холода кулаками. — Давай ходом, что стали? Быстрей, пока туман, а то он опять налетит и даст!..

Моряки идут скорым шагом. Сухой паек получен на три дня, запасные диски, гранаты и еще ножи. Ножи пригодятся.

Раненые смотрят морякам вслед. Смотрят молча, приподнимаясь из последних сил, хватаясь руками за мокрые от дождя жерди волокуш.

— Давай! — торопят санинструкторы.

— Немец к морю прорыв делает. Офицерский штрафной полк СС.

— Давай! Ходом!..

Вершины гор уходят в туман и дым. Где-то за ними методично и глухо бьет фашистская батарея. Колкая дресьва хрустит под подошвами сапог. Три тысячи сапог разом ложатся на узкую, размытую дождями тропу.

— Подтянись!..

— Письма забыл мамаше отдать, — вздохнул Коля. — Специально ведь в карман бушлата положил, вот елки-палки, понимаешь!

— Почтарю отдашь, — сказал Сабир.

— Какой тебе в горах почтарь. Теперь уж когда вернемся.

— Точно.

— А я, ребята, так и не пишу — некому. — Саша развел руками. — Некому. Вот какая складывается обстановка: родни полно, а писать некому. Все под немцем находятся. Мамаша с батей в Одессе бедуют, одна сестра — в Николаеве, другая — в Херсоне. И племяши обратно там, И все, извиняюсь, знакомые девушки. Ну, а незнакомым пусть Коля пишет.

Коля молчит. У него вообще нет родни ни по ту, ни по эту сторону фронта. Он из детдома. Отца не помнил, а мать умерла в тридцать втором. Была где-то в Сибири тетка, да адрес затерялся. Нужен он сильно той тетке! Взяли в детдом, оттуда в ремесленное, а потом ушел на фронт.

Ну, а письма и вправду к незнакомой девушке, тоже москвичке, эвакуированной в Алма-Ату. Учится в десятом классе, фотографию прислала. Вот и пишет ей теперь каждую неделю. Кто знает — может, и встретятся когда.

«Здравствуйте, уважаемая Лида! Сообщаю вам, что нахожусь на энском направлении, где мы доблестно бьем ненавистного врага на суше, в воздухе и с моря. Вчера, находясь в разведке вместе со своими боевыми друзьями, взяли в плен немецкого унтер-офицера (по-нашему — сержанта) с ценными документами и личным оружием...»

Больше писать некому. Вот Сабир, у него дело другое. Он пишет в Куйбышев отцу и братьям. Соседям пишет. И еще девушке с красивым именем Фирюзя.

— Ты бы ей стихами, — не раз предлагал Саша. — Стихами лучше действует, это точно. Могу по дружбе оказать содействие.

Дорогая Фирюзя!

Глаза твои, как бирюза.

— Какая тебе бирюза? — сердится Сабир. — У нее глаза черные.

— Так то стихи... И потом можно и за черные написать:

Дорогая Фирюзя

Твои черные глаза.

— Нет, не надо. Она и без стихов все понимает. Ты стихи лучше в «боевой листок» напиши.

Но в «боевой листок» Саша не писал.

— Я только про любовь предпочитаю... Вот была у меня девушка, ребята, тоже, между прочим, с черными глазами...

И он рассказывал про девушку Лёку с Арнаутской улицы и про то, какая же это была жизнь до войны, просто невозможно счастливая жизнь в мировом городе Одессе.

Одессу они знали. Война для них началась под Одессой. Они сошли на берег и стали морской пехотой. Там, под Одессой, был их первый бой и первый убитый ими вражеский солдат. И первый дружок, не поднявшийся с земли после повелительно брошенного комротой:

— В атаку!..

— Чего ж ты, Вася?

А тот лежал, вцепившись пальцами в сожженную солнцем степную землю, точно она хотела вырваться из его последнего объятия.

— Чего ж ты, Вася?!

А рота уже бежала в атаку, выставив перед собой синеватую щетину штыков, и глухой топот сливался с протяжным и злым:

— Ура-а-а!

И только Вася лежал безучастный ко всему и тихий, прижавшись твердой скулой к горячей и жухлой траве.

Под Одессой для них началась война. А потом был Крым, и теперь вот — Туапсе, размокшая от дождей и снега тропа и эсэсовский штрафной офицерский полк, который прорывался к морю.

— Самое страшное на войне, ребята, это подлость, так я понимаю, — сказал Саша. — Ты воюй, мать твою так, ежели охота тебе воевать, на военную хитрость иди, но не подличай. Как тогда, под Татаркой, где мы Саню Пальчикова похоронили.

Есть такой хутор под Одессой, Татаркой называется. Чуть на отшибе церковь и часовня. И степь вокруг желтая от солнца.

Там-то, под Татаркой, и был их первый штыковой бой. Можно привыкнуть к бомбежке и артналетам, к посвисту шальных пуль и хрюкающим разрывам мин. К одному только не в силах привыкнуть даже самый бывалый солдат — к штыковому броску. Когда вся твоя жизнь словно сжимается до нескольких минут яростного, кровавого боя, в котором ты видишь врага вплотную, глаза в глаза и штык в

штык. И жизнь твоя, как точка на кончике этого штыка.

Страх? Может быть, в самом начале, на сближении, в течение тех десяти-пятнадцати метров, пока бежишь под пулеметным ливнем, зажав под мышкой приклад трехлинейки. До того момента как встает тебе навстречу безликая стена людей в серых стальных касках. И тебе неважно, как зовут человека, бегущего навстречу, сколько ему лет и где он родился, и что делал до того, как стал солдатом. Вся его жизнь на кончике твоего штыка. Или твоя — на кончике его. И ничто не в силах вас остановить, только смерть.

Степь пахла сухой травой и пылью. Лишайями чернели следы от старых костров. Их жгли пастухи или мальчишки с хутора, а возможно, и солдаты на ночном привале — неделю назад здесь был еще глубокий тыл. А теперь по степи беспорядочной толпой шли люди. Молодые женщины и сторбленные старухи, белоголовые ребятишки и бородатые старики. Они шли обреченно, точно во сне.

— Это же подлость! — сказал тогда Саша. — Это же просто невозможная подлость!

Там, за плотными рядами идущих, подталкивая стволами автоматов тех, кто отставал, пригнувшись, шли солдаты в серых стальных касках.

— Schnell! Иди! Frisch drauf! Вперьот, ну!

Молчали пулеметы. Молчали моряки. Лежали черной шеренгой, прижавшись подбородками к горячим брустверам окопчиков.

И только Саша, матерясь и скрипя зубами, повторял одну и ту же фразу:

— Это же невозможная подлость!..

Он смотрел на товарищей, лежащих рядом. Сабир, Коля-москвич, Санька Пальчиков, Али Напсо...

— Что ж это делается, ребята?!

— Это — фашизм, — ответил за всех комроты. — Вот он, товарищи, — фашизм...

И словно в ответ ему взвился над степью многоголосый женский крик. Высокий и пронзительный, повис он в безоблачном небе, и некуда от него было деться, то этого крика.

— Стреляйте-е, хлопчики! Стреляйте ж, милые, в тех гадов! Что ж вы себе думаете — стреляйте-е-е!

---

<sup>1</sup> Быстрее! Смелей вперед! (нем.)

— Halt Maul! Молчать. Himmelberrgott!

Дети пылили босыми ногами и, задрав с испугом головы, смотрели на исступленно кричащих матерей.

И тогда поднялся с земли Пальчиков. Поднялся рывком, хотя и не было никаких команд. Только холодной иглой блеснул выброшенный вперед штык.

— А ну, братишки, кольнем фрица.

— Вперед! — крикнул комроты. — Смерть фашистским извергам!

Черными торпедами срывались с места моряки. Они словно стелились над бурой травой степи.

— На землю, бабоньки! Ложитесь, мамыши! Не бойтесь!..

— Не бойтесь!.. Не бойтесь!.. — гремело повелительно, как приказ, сминая звенящий женский крик. И не было ни «ура», ни «вперед», лишь топот ног и это властное:

— Не бойтесь!..

Женщины падали на землю, прикрывая собой детей. Матросские клеши черными птицами пролетали на их головах.

— На землю, мамыши! Не бойтесь!..

Гитлеровцы били в упор, веером, прижав к животу автоматы. Это был панический огонь. Стрелять, во что бы то ни стало стрелять! Хоть как-то подавить ужас, перестать видеть этих стремительно и неотвратно надвигающихся людей, холод выставленных вперед русских штыков.

В этом бою не будет пленных, никого не спасут поднятые руки, никто не успеет убежать, скрыться. После этого боя останутся только живые и убитые. Победившие и побежденные.

Саша видел блеклые, злые огоньки автоматных очередей. И каждый огонек раскаленной каплей летел прямо в него. Или в Сабира. Или в Колю-москвича.

Но вот уже Пальчиков, резко выбросив руки вперед и влево, достает штыком коренастого унтера, швыряет его в сторону, как швыряют поддетую на вилы тяжелую охапку сена.

— Даешь гадов!

Немцы пьются, и вееры их автоматных очередей все жиже и жиже. Хорошая штука «шмайссер», но только

---

<sup>1</sup> Заткнитесь! Черт поberi! (нем.)

когда он подальше находится от штыка. Хорошая, ничего не скажешь. У нас еще мало автоматов, и Саша возьмет себе после боя трофейный «шмайссер». И Коля-москвич тоже. И Сабир...

Но залп над могилой Пальчикова они дадут из трехлинеек.

Прощай, Санька, прощай, корешок! Ты здорово дал тем гадам, и никогда не забудут тебя матери с хутора Татарки. Тебя похоронят неподалеку от него, в степи. Насыпят курганчик, вырежут из фанеры красную звезду, прибьют к ней бескозырку. И долгих три года женщины, таясь от полицаев, будут сажать по весне возле курганчика розовые мальвы.

Да, залп ребята дадут из трехлинеек. Чтоб не треск «шмассеров» был над тобой, а грохочущий голос друзей.

— Сегодня мы хороним, товарищи, комсомольца, геройски павшего в бою за Одессу.

Залп!

— Смерть немецким оккупантам!..

Залп!

— Победа будет за нами!

Залп!..

А за спиной замрет Одесса, закутанная в дым, как скорбная мать в траурную шаль...

Здесь, в горах, совсем другой дым. Разбавленный туманом, он не так ест глаза и пахнет лесным костром. У лесного костра совсем другой запах, чем у костра, разведенного в степи.

Сабир любил ночью лежать у костра, не спать — смотреть в огонь. За сизой дымкой, висящей над лугами, прячется Волга. Она проснется вместе с солнцем и людьми, блеснет серебряной чешуей. На мокром песке — следы птичьих лап и черные ребра старой, разбитой когда-то лодки. Лес вздрогнет от утреннего ветра, загудят кроны осокорей, и отец крикнет, махнув издали рукой:

— О-о, Сабир! Чай иди пить!..

Звон, звон над Волгой. Тихо звенят колокольчики донок, звенит осока, кланяясь над неподвижной водой старицы, звенит туго натянутая леска. И солнце звенит медными спицами лучей.

— А-яй, Сабир! Ночью спать надо, сынок. Всю рыбу проспишь, чем соседей угощать будем?..

— Ты рыбу ловить любишь? — спрашивает Сабир Сашу.  
— А как же? У меня все дядья рыбаки.  
— И отец?  
— Отец?.. Батя с гражданской без ноги вернулся. Он у нас сторожем в порту работал.

— А мой отец учитель. И Фирузя учительницей будет. Хорошо, правда?

— Кто его знает? Смотря какие пацаны попадутся. От меня вот в школе учителя каждую пятидневку плакали.

— Воздух! Прекратить движение!

Самолеты прошли низко над ущельем, то появляясь, то исчезая в рваных клубах дыма. Они бомбили по площади, наугад. Бомбы рвались на склоне горы, крошили деревья и камни. Гул скатывался вниз лавиной, давил на уши.

— Валяй, валяй, — приговаривал Коля-москвич, — а мы пока перекурим весь этот шухер.

Они сидели втроем у подножья осклизлого валуна, дымили папиросами.

— Чего это так бывает, ребята, — спросил Саша, — разговор обо всем люди ведут, о девушках, к примеру, или о разных там происшествиях, а вот про мать да про отца как-то воздерживаются, при себе это держат.

Ему сразу не ответили. Сидели молча, думали.

— Наверное, только большому другу можно, — сказал Сабир. — Зачем случайному человеку о матери рассказывать?

— Верно, — кивнул Коля, — незачем.

— Отбой! Становись!

И снова тропа, извиваясь меж колоннад букового леса, поползла вверх, изрытая копытами, жердями волокуш и воронками. В стороне от нее белели на деревьях бинты, предупреждая о минных полях, да изредка виднелись прибитые к стволам куски фанеры:

«Хозяйство Мельникова вправо по ущелью вверх, 3 км».

А там, ниже, где тропа, расширяясь, превращалась в дорогу, ведущую к Туапсе, на щитах писали другое:

«Зарастем по грудь в землю, но врага не пропустим. Ни один фашист не увидит моря, не прорвется к городу Туапсе!»

Моряки 73-го Краснознаменного зенитного артполка».

— Крепко написали ребята, — похвалил зенитчиков Саша. — По-черноморски!

Он шел, чуть прихрамывая, время от времени прижимал ладонь к правому боку.

— Болит все? — спросил его Сабир.

— Да не очень. Зудит больше... — Он усмехнулся. — Когда зацепило, я понял — все, капут. Ребята с пехоты двое суток перли меня на носилках. Думаю: мертвое мое дело, а они донесли все ж до медсанбата. Теперь вот опять иду, и будет с меня фриц еще раз иметь крупные слезы.

— А где сейчас эти ребята?

— Где-нибудь здесь, если целы пока. Хорошие мои ко-решки, хоть и пехота, конечно.

— Мы, что ли, конница? Та же пешая братия.

— Мы — морская пехота, Коля. Понимать надо разницу, а еще москвич.

— Валяй, валяй...

Он шел, глядя под ноги, сбивая носком сапога камни с тропы. И в такт шагам складывались строки письма:

«Здравствуйте, уважаемая Лида!

Спешу сообщить вам, что я жив и здоров и продолжаю громить вместе с моими неразлучными боевыми друзьями ненавистного врага. В настоящий момент мы находимся на форсированном марше в горах, идем на сближение с фрицем и к вечеру, по всему виду, вступим с ним в смертельный бой...»

Коля часто думал о том времени, когда окончится война и он, выправив отпуск, приедет в Москву. Сдаст чемодан в камеру хранения и пойдет пешком к Чистым Прудам. Именно там, у кинотеатра «Колизей» они встретятся с Лидой. Лицо у нее, конечно, такое же, как и на фотографии, красивое и с ямочками на щеках. А вот высокая она или среднего роста или совсем маленькая, Коля не знал. В письмах не спрашивал, боялся, еще обидится. Ему хотелось, чтоб она была высокой и чтоб косички у нее к тому времени подлиннее стали и потолще. Но это, конечно, не обязательно. Коля хорошо представлял себе все, до мельчайших деталей. И как сдаст чемодан, и как, выйдя на привокзальную площадь, купит в киоске самые красивые цветы, и как будут глазеть на него толпящиеся у «Колизея» безбилетные мальчишки. Одного не знал Коля: что же он скажет ей? Какие слова придумает? Не начинать же, как в письме:

«Здравствуйте, уважаемая Лида!..»

В верховьях ущелья полк остановился.

— Инструктаж будет.

Комроты, тыча потухшей трубкой в целлулоидную крышку планшетки, торопливо объяснял:

— Обстановка такая, товарищи: по данным разведки эсэсовцы, сменяя заслоны, быстро продвигаются по двум сходящимся ущельям — вот здесь и здесь, — имея целью выйти к морю через долину речки Туапсинки. Этот ударный полк состоит из офицеров-штрафников и является как бы тараном, задача которого — пробить брешь в нашей обороне. Допустить до этого нельзя ни под каким видом! Ясно почему?

— Чего яснее.

— Выход врага к морю, даже временный, приведет не только к тактическим, но и к стратегическим последствиям, товарищи краснофлотцы. По имеющемуся сговору Турция гарантировала Гитлеру вступление в войну на стороне фашистской Германии, как только передовые части рейха выйдут на Черноморское побережье восточнее Туапсе. Понятно?

— Эх, ты! Вот те и Турция!

— Дать бы им всем зараз до точки! — вставил Саша.

Комроты глянул на него, сунул трубку в карман короткой черной шинели, сказал:

— Пока что дать надо эсэсовцам. К двадцати одному ноль-ноль мы должны успеть закрыть выход из ущелья Безымянное. Ширина его в средней части не превышает пятидесяти метров, борта почти отвесные, ближайших обходов нет. Мы навяжем бой именно здесь, где им не развернуться фронтом. За пределы ущелья Безымянное не должен выйти ни один немец. Установка ясна, товарищи краснофлотцы?

— Ясна...

Комроты помолчал, погладил ладонями гладко выбритые щеки. Вынув из кармана кисет, набил трубку мелкорезаным табаком.

— Очень трудная установка, товарищи. Не все вернемся в Туапсе, сами понимаете — ближний бой, рукопашная, в общем.

Эти слова можно было и не говорить. Комроты так, больше для себя, сказал их, как бы отвечая собственным тревожным мыслям.

Каждый день и каждый час, да что там час — каждую минуту стояла смерть за плечами у любого из его ребят.

Самому старшему в роте было двадцать семь. Его считали чуть ли не стариком. Другим было по двадцать, по двадцать два. Тому же Саше, который считал себя человеком бывалым и любил говорить новичкам:

— Ну, что ты знаешь за настоящую жизнь? Ну, когда ты пришел на флот, скажи мне честно, как будто я тебе папаша.

— Папаша! В сорок первом пришел, а что?

— Вот видишь. А я к тому времени уже имел за своими широкими плечами три года срочной. И, между прочим, не в береговой обороне. И потом же, я, вообще, родился в Одессе, под шум прибоя, это тебе тоже не что-нибудь.

Саша любил поговорить о том непонятном и даже загадочном времени, когда сегодняшняя морская пехота выйдет на «гражданку». Интересно ж посмотреть, как они наденут галстуки и желтые штиблеты со скрипом.

— Ну скажи, что это ты станешь делать, когда закончим войну? — приставал он к Коле-москвичу. — Небось вернешься к себе, в столицу, и заживешь шикарной жизнью вдали от Черного моря?

— Нет, — отвечал Коля и хмурился. — Съезжу, конечно, не без этого. Если отпуск дадут. А потом назад вернусь служить.

— Порядок, значит. Вот Сабир пацанов арифметике учить собирается в Куйбышеве своем, — не унимался Саша.

— Разве это плохо? — обиженно спрашивал Сабир. — И почему — арифметике? Я не знаю, чему буду учить. И нельзя одному чему-то учить, все должен учитель знать. Как числа складывать и как стихи складывать, и как на кушаках бороться...

— Воздух!!!

— Ищут, гады! — выругался Саша. — Чуют, значит, что дело у них пустяком не обойдется.

На этот раз «штукасы»<sup>1</sup>, вывалившись из-за гребня хребта, зашли на бомбежку в низовую часть ущелья и с воем начали пикировать. Но сгущавшиеся сумерки и частолесье помогли морякам уйти из опасной зоны.

---

<sup>1</sup> Пикирующие бомбардировщики.

— Не иначе как наводит кто.

— Наведешь здесь, в этом чертоломе. Просто бомбят подряд все ущелья. Благо небо открытое и бомб хватает.

— Да, нам бы хоть какой аэродромчик, а то вконец расхамились фрицы...

Недели две назад, в подвале полуразрушенного дома серый от бессонницы секретарь горкома партии говорил речь. Подвал был большой, в нем уместилось человек четыреста моряков. Кто сидел на деревянных садовых скамейках или просто на корточках, кто стоял, положив руки на висящий поперек груди автомат.

— В заключение своего выступления, — сказал он, — как председатель комитета обороны города Туапсе хочу заверить, что в ближайшие дни строительство так необходимого нам аэродрома, несмотря на невероятные, нечеловеческие просто трудности, будет завершено. А теперь разрешите предоставить слово токарю нашего судоремзавода, участнику гражданской войны, товарищу Капустину.

Человек лет сорока пяти, прихрамывая, подошел к некрашенной фанерной трибуне, положил на нее смятую кепку, откашлялся в кулак.

— Дорогие товарищи бойцы — доблестные защитники города, — начал он. — Мне вот с завода нашего народ и с горкома руководство предложили, значит, выступить перед вами. Время сейчас для речей малоподходящее, однако скажу, что город Туапсе — это город революционных традиций. Где после Питера сразу была установлена Советская власть? — Он обвел глазами собравшихся, погладил пальцами короткие, с рыжиной усы. — В Иванове да в Туапсе, товарищи, вот где! В третьем по счету городе бывшей царской России. Кто плечом к плечу с таманцами громил грузинских меньшевиков, помогал Таманской армии и в боях, и куском хлеба делился, и партизанил в горах? Туапсинцы! Вот в те самые героические годы и чесануло меня по ноге осколком гранаты, списало со строя. Да... Киров, товарищи, и Орджоникидзе лично самому Ленину, — он поднал вверх тяжелый темный палец, потряс им, — Ленину докладывали о туапсинском отряде, что хоть, мол, и невелик он, а самоотверженностью своей подает пример революционным бойцам Причерноморья и Закавказья. Давно это было, товарищи, а забывать не забываем, не положено

забывать такое! Двадцать лет Советскому Союзу скоро отмечать будем, сам Ильич двадцать лет назад объявил всему свету о рождении Союза наших республик, а фриц сегодня все еще у Семашко топчется, к морю прорваться мечтает!..

Из подвала выходили цепочкой. Над городом в холодном беззвездном небе висело зарево, похожее на мятый плюшевый занавес. Море было тихое; мелкие сонные волны лениво набегали на берег, шелестели галькой, баюкали истерзанный бомбами город. Вдали, в красноватых отсветах вставал у самой воды судоремонтный. Разбитый мол и пирсы уходили в ночное море; на рейде — неясные силуэты кораблей, как безлюдные острова, — ни огня, ни голосов, ни боя склянок.

Город спит или просто молчит, вслушиваясь в недолгую, ставшую непривычной, тишину. Уцелевшие дома среди груд битого кирпича и рваного железа, одинокое дерево с обгоревшими сучьями.

...Свинная тушенка, ржаные сухари, липкие комки фиников. Чая не будет — костры разводить нельзя.

Саша снимает с пояса фляжку, встряхивает ее.

— Рванем по глотку, что ли?

— Давай.

Алюминиевая фляжка в брезентовом чехле. Нарезная крышечка на цепочке. Походная фляжка. С разбавленным спиртом, с трофейным ромом, с кукурузным самогоном, просто с чистой родниковой или теплой болотной водой, пахнущей илом. Фляжка — спутник и друг, немой свидетель всего, что выпадает на ратную долю ее хозяина. И если суждено ему пасть где-то в глухом ущелье, куда не придет после войны ни зверь, ни человек, и спишет бойца в без вести пропавшие, фляжка и тут не покинет его. Годами будет лежать рядом, и, может, когда-нибудь, что-нибудь да скажут людям нацарапанные на ней инициалы...

Письмо его было полно оптимизма:

«Моя дорогая Анхен! У всех у нас большая радость: великий фюрер доверил нам первыми выйти к Черному морю, пробить ту самую дыру, через которую мы выпустим дух из русских. Это будет веселая работа, и каждому пред-

стоит показать себя. За нами потоком двинутся егеря, и на этом, я думаю, здесь все кончится. Мы сорвем, наконец, кавказский эдельвейс! А там, Анхен, дальше пустяки — прогулка на манер той, что была у меня во Франции. Вдоль побережья и до Баку. Здесь уж никто нас не остановит. Германия получит нефть, о которой фюрер говорил как о залоге его победы в этой войне. И нам с тобой тоже, дорогая Анхен, кое-что перепадет. Да, да! Фюрер лично просил передать, что всех нас ждет не только полное отпущение штрафных грехов, но и очередной чин. И не только это, Анхен, душа моя! Что ты скажешь о сорока гектарах кавказской земли, а? Я выберу себе кусочек на самом побережье, с мандариновой рощей и виноградником. После войны можно будет построить небольшой пансион для туристов, это не так уж плохо, я думаю. Оберст сказал, что все мы не только будем повышены в чине, но и получим железные кресты лично из рук представителя ставки! Там, на побережье моря, конечно, где-нибудь поблизости от нашей черноморской усадьбы. Подумай, Анхен, мы станем грессбауэр, не хуже моего оберста. Когда начнется прорыв, я повешу себе на шею как талисман ключ от ворот нашего будущего поместья, черт возьми! Фюрер не ошибся, доверив нам это дело. Через три дня мы вымоем свои сапоги в Черном море! Хайль Гитлер! Твой верный Карл целует свою крошку и передает привет родне».

Товарный состав медленно вытягивался по временной колее из последних ущелий предгорья. На площадках вагонов, подняв воротники, стояли часовые. Паровозы пугливо вскрикивали на крутых поворотах, щупали лучом света туманную мглу. Опасные места — того и гляди из облетевшей лесной чащи ударят партизанские автоматы. В этих горах люди, как иголки в копне сена, попробуй, найди их тут.

Часовые ежатся от сырого ветра, свешиваясь с площадок, светят фонарями вдоль состава.

В вагонах — аккуратно сложенные посылки, мешки с письмами, тяжелые ящики со спецгрузом трофейных команд.

Тысячи посылок, десятки тысяч писем. В Мюнхен и Эссен, в Люкау и Гамбург, в далекий милый сердцу фатерланд, где нет ни этих мрачных осенних гор, ни парти-

зан, ни неуверенности в том, будешь ли жив завтра. Скорей бы уж победить. Скорей бы, скорей бы...

Паровоз с радостным криком вырывается из ущелья; впереди кубанская степь, плоские азовские равнины, Украина и, наконец, та далекая черта, через которую полтора года назад перешагнул первый немецкий солдат. «Полтора года, бог мой! Как затянулось это дело, однако. Скорей бы победить, скорей бы...»

Товарный состав выползал из ущелья, увозя посылки, письма, обитые жестью ящики, толстые брезентовые мешки.

«Моя дорогая Анхен!..»

«Миля Грета!..»

«Твой любящий Рихард нежно целует тебя, Лотта...»

Наверное, все до одного из офицерского штрафного полка СС, узнав о высоком доверии, которое оказал им великий фюрер, написали письма домой. Все до единого.

Теперь полк двумя колоннами входил в Безымянное ущелье. Тридцать километров по горному бездорожью они прошли за девять часов. Несколько скоротечных боев за высоты — русские отходили, не оказывая серьезного сопротивления, точно сжимались пружиной. И это настораживало. Наивных не было — все понимали, что к морю их не выпустят без боя, без целой цепи боев. Они готовы к этому и будут сбивать заслон за заслоном, преграду за преградой, пока не сбросят в море последнего из защитников Туапсе. Они были готовы ко многому, но только не к тому, что русские успеют заткнуть выход из Безымянного ущелья.

— Моряки!

— Черные дьяволы!

— Сколько?

— Неизвестно...

В этой проклятой теснине не развернуться, здесь не помогут ни артиллерией, ни с воздуха, особенно ночью.

— Обходов нет.

— Придется с утра вышибать пробку руками.

Но моряки не стали дожидаться утра. В одиннадцать пятьдесят две начался бой.

Из всех рукопашных боев этот, возможно, был самым страшным и самым долгим. Несколько тысяч людей плотно

забили ущелье. Бой шел где-то в середине, почти без выстрелов: казалось, что людскую массу колышет, точно морскую волну. И сколько бы ни взял он жизней, этот бой в середине ущелья, новые и новые ряды выступают из его глубины, как бы рожденные сырой мглой.

Откуда-то сверху, срезая макушки каштанов, бил крупнокалиберный пулемет. Разноцветные трассы широкими стежками прошивали темноту, неслись вдоль ущелья, рыскали от одного его борта к другому. Пули щелкали о камни, о стволы деревьев, беззвучно впивались в матросские бушлаты. Рядом с Сашей кто-то охнул; глухо ударился о землю приклад автомата.

— Откуда же он режет, комроты?

— Проводник говорит: у развилки ущелья шишка есть, ну, вроде утеса такого, отдельно стоящего. Там вполне можно сработать дзот. Площадка, он говорит, метров двадцать квадратных выходит.

— Надо взять этот дзот, комроты.

— А если это не дзот?

— Да хоть что бы там. Погробит, зараза, полроты, пока до эсэса доберемся.

— Как вы его взять хотите?

— А хрен его знает. По обстановке. Разрешите попытаться.

— В одиночку?

— Никак нет. Анисимов с Сабиром Ишмуратовым высказывают согласие.

Комроты колеблется. Как они доберутся до этой самой шишки? И не напутал ли чего проводник? А даже если и доберутся, то надо ведь еще и к дзоту подойти на бросок. Ребята они, конечно, отчаянные, но... Безнадежное это дело все-таки...

Трассы опять брызнули веером, заматались разноцветными светляками меж черных стволов мелкоlesia.

«Да, бьют откуда-то с развилки», — подумал комроты.

— Разрешаю разведать. Слышите — только разведать. Понятно?

— Как божий день.

— Старшим пойдет... Ты пойдешь, Саша.

— Есть!

Он уже знал, как поведет ребят. По самому краю ущелья, вплотную к отвесному его борту; должна же быть

там хоть какая-то, самая малая щель между плотной стеной напирających сверху немцев и холодными, нависающими над головой камнями склона.

Слева, в середине, в узком горле ущелья, продолжался бой. Люди втягивались с двух сторон, точно в воронки, и не хотелось думать, что происходит там, на стыке двух полков, для каждого из которых в этом бою были поставлены на карту море и жизнь. В бою, раскаленном, как вольтова дуга, двумя громадными стержнями сходились оба полка — и сгорали...

— Развернуть бы тот пулемет вверх, по ущелью, да дать по их задам... — Саша снял с пояса фляжку, встряхнул ее.

— Найди сперва его в этой толкучке, — ответил Коля. Он вынул из-за пазухи треугольники писем, протянул их командиру роты. — Возьмите на всякий случай... Если что, так нечего их немцу читать.

— Мои тоже возьмите, — сказал Сабир. — Два у меня. Комроты молча спрятал письма в планшетку.

— Долить? — спросил он Сашу.

— Долей, комроты, если не жалко.

— Не жалко.

В синем луче фонарика тускло блеснули горлышки фляжек. Одно к другому.

— Будет! Мы, значит, пошли, комроты...

Камни сплошь увиты стеблями ежевики. Тронешь рукой — ничего, загребели ладони. Хуже, когда прижмешься щекой. Но надо ползти, вжимаясь в эти колючие, мокрые камни, надо быть невидимым и неслышным, только тогда, может, и удастся как-то проскользнуть вверх, по ущелью, найти эту самую шишку, о которой то ли врал, то ли правду говорил проводник.

— Einreln abfallen! Fertig!<sup>1</sup>

Это совсем рядом. Хруст щебенки под сапогами, голоса, ругань. Еще секунда — и наступят на лицо. Саша невольно прижался спиной к склону. Неясные тени скользили мимо. Кто-то, зацепившись ногой за ежевичные стебли, упал.

— Worwärts! Worwärts! Schnell!<sup>2</sup>

Тени — мимо. Саша зачем-то считает их. Одиннадцать.. Двадцать четыре... Сорок пять...

<sup>1</sup> По одному! Готовьтесь! (нем.)

<sup>2</sup> Вперед! Вперед! Быстрее (нем.)

Осторожно дотянувшись рукой до головы лежащего рядом Сабира, шепнул:

— Давай!..

Они ползут дальше. Туда, где веер разноцветных трасс сходится в точку. Кажется, что она висит в небе, как далекая, злая звезда. Вот вспыхнула опять, и понеслись от нее лучи, и каждый из них — это смерть для кого-то, кто сейчас там, на подходе к сдавленному боем горлу ущелья.

— Давай!..

Они подтягиваются на руках, неслышно скользят вперед, колючие камни царапают им щеки, вода заползает в тепло бушлатов, леденит тело.

Снова тени, бегущие мимо, отрывисто брошенные на ходу слова, звяканье подкованных каблучков.

— Цок! Цок!..

Совсем рядом, черт возьми! В который раз уже Саша кладет палец на спусковой крючок автомата, потому что кажется — все, сейчас обнаружат! Но тени мимо. В метре, в полуметре от лица, слепые тени, чтоб им не прозреть никогда!

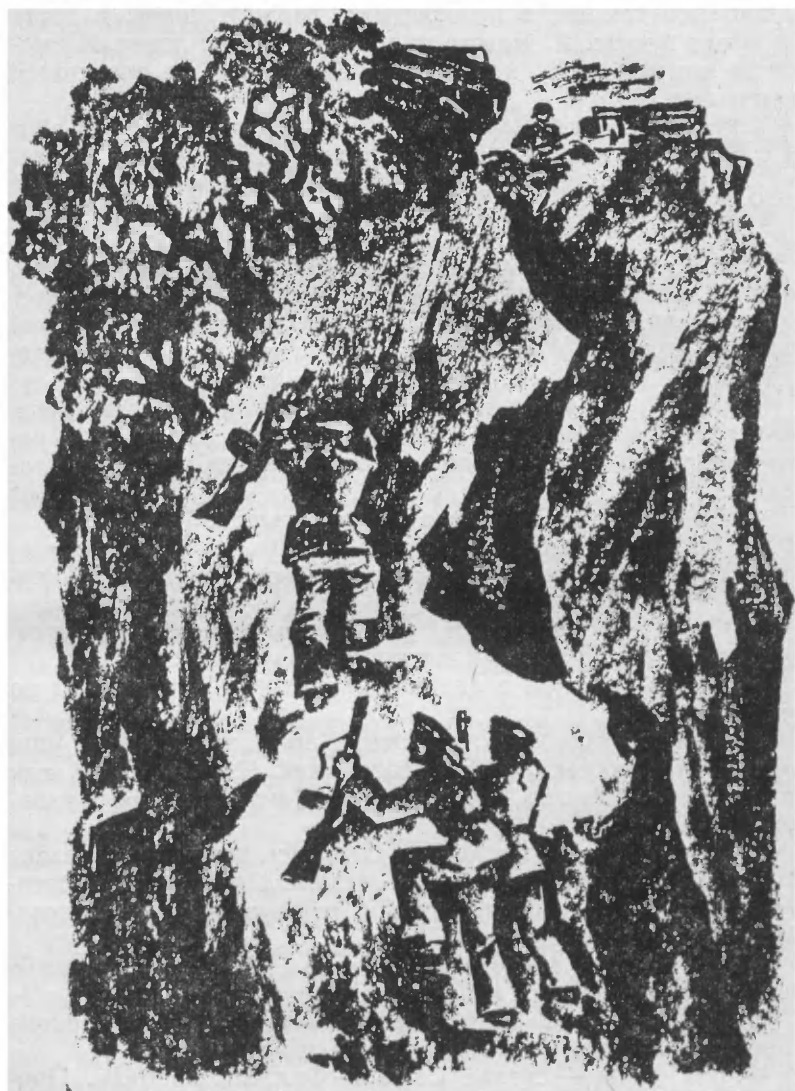
Проводник очень точно назвал эту скалу шишкой. Она и вправду торчала у развилки ущелья широкой, нелепой шишкой с крутыми, осыпавшимися склонами. Скала уходила вверх, в темноту, туда, где был спрятан в кустах рододендрона дзот. Саша представлял его себе приземистым и тяжелым, сработанным из валунов и поваленных буков. Замаскированный зелеными ветками, он венчает скалу-шишку неприметным бугорком, который не сразу-то и разглядишь со стороны. А сейчас он и вообще не виден. Только вот цветные веера трасс, вылетающие из его черного брюха.

— Где-то должно быть охранение, — шепчет в самое ухо Сабир. — Прикрытие.

Саша кивает — должно быть, не иначе. Где-нибудь у подножья шишки, ищи его тут, впотьмах.

— Давай в обхват?

Нет, в обхват нельзя. Только всем вместе. Их всего трое, это очень мало — трое. Они должны действовать, как один человек с тремя парами рук. Бросок вперед — и три



удара. И три коротких ножа и три автоматных приклада. Только так, иначе ничего не выйдет, и все будет зря.

Сколько там их, в прикрытии? Может, пять, и тогда все будет проще. А, может, и десять, кто его знает. И вместе ли они все, или разбросаны по склону, по отдельным окопчикам.

Известно только одно — они не ждут их, Сашу и Сабир с Колей-москвичем. Не всматриваются в темноту, не шарят по кустам синими лучами фонариков. Они спокойны и ничего не подозревают. Это многого стоит. Знать бы еще, где они...

В прикрытии их было шестеро. Они не были беспечны, но в то же время ничто особенно не беспокоило их. Когда пошел дождь, сменившийся вскоре ледяной крупой, они бросили жребий. Двоим выпало торчать в яме, заменявшей окоп, а четверо забрались в блокгауз.

Чадили угли в мангале, на стальной решетке жарились куски баранины. Сизый дымок пробивался через неплотно прикрытую дверь, дразнил пряным запахом.

— Вы не сожрите там все без нас, каналы!

Из блокгауза что-то ответили, но что, не разобрать.

— Проклятые горы! Бывает ли здесь когда-нибудь сухо?

— Спроси у Карла. Он расскажет тебе всю здешнюю географию, как школьный выскочка, назубок.

— И про пансион с девочками, который он откроет на берегу моря?

Они рассмеялись. Ох, уж этот Карл, забил всем уши болтовней о своем будущем заведении. Что ж, такой, как он, сумеет неплохо развернуться, эти баварцы ухватистый народ...

Они говорили вполголоса и смеялись негромко. Шелест крупы в листьях и шум ветра заглушал все звуки. Поэтому они и не услышали, как три черные тени переметнулись через край ямы.

Потом хлопнула дверь блокгауза. На секунду тускло мелькнул освещенный квадрат проема.

Скупое и сухо ударили автоматные очереди. И снова стало тихо. Лишь шелест крупы да удары ветра.

— Вот гады, — сказал Саша. — Фляжку пробили. Пропал зря комровотский добавок — вытекло все.

В мангале с треском вспыхивали угли, горели зелеными огоньками — это капал с кусков баранины мутный жир. Начатая четверть красного крестьянского вина стояла на выючном ящике.

Сабир вынул из вещмешка кружку, налил ее до краев.

— За победу!

— За море! — сказал Коля-москвич.

— За то, чтоб не по последней, — Саша вытер ладонью губы, покосился на лежащего поперек топчана эсэсовца. — С ума спятил немец — ключи на шею повесил, надо же...

В яме у подножья шишки остались Сабир с Колей. Они положили на раскисший бруствер гранаты, прикрыли немецким клеенчатым плащом шесть «шмайссеров».

— Боезапасу хватит...

Дальше Саша поползет один. Один на один с дзотом. Если ничего не получится — пойдет Коля. Потом Сабир. Ну, а если выйдет все по-счастливому, то пусть тогда прикрывают его снизу, пока дзот будет работать против немца.

Крупа хрустящим месивом покрывала крутой склон. Подошвы сапог скользили по ней, срывались с голых каменных лбов, торчащих из земли. Тропа шла вверх почти по прямой и была хорошо набита. По ней таскали волоком что-то тяжелое, наверное, буковые стволы для стен дзота.

Саша, цепляясь руками за выступы, быстро полз вперед. Капли пота, мешаясь с дождем, застилали глаза, сильнее обычного болел бок — успел-таки в него ткнуть сапогом этот сумасшедший фриц с картонным ключом на шее. Большой ключ, как от городских ворот: Саша видел однажды такой в музее. Ходили себе по пустым залам парень в мичманке и девушка по имени Лёка. Самая красивая на всей Арнаутской улице. Смотрели они на какие-то там, я знаю, ключи, на пыльных бабочек в стеклянных коробках, и была вокруг них невероятно счастливая жизнь, и все в ней было понятно и хорошо.

Саша на секунду остановился, хватил губами комок крупы, подержал его во рту, пока тот не растаял.

Вот он — дзот. Приземистый и темный, едва различимый среди зарослей рододендрона. Солидный дзот, совсем такой, каким он представлялся Саше: буковые бревна в полтора обхвата, валуны и узкий коридор, ведущий в глубину.

«И когда так, по-хозяйски, сработать успели? Ну и ушлые гады!..»

Он прислушался. Пулеметов явно два. Саша не видел их — амбразуры были расположены с противоположной стороны. До него доносился лишь глухой клочок очередей.

«Придется с шумом действовать, — подумал он. — Иначе мало ли что. У них связь наверняка...»

Он протиснулся боком в коридор и, прижавшись спиной к бревнам стены, пихнул ногой тяжелую дверь.

— Хенде хох, сволочи!

Из дзота пахло пороховой гарью. Саша швырнул гранату и упал ничком. Взрывом сорвало с петли дверь, ударило по каске тугой волной. Не поднимая головы, он бросил еще одну гранату и вслед за ней — третью...

Дым медленно валил по коридору белыми клубами. Из амбразуры тянуло сквозняком. Никто не шевелился, не стонал, красными точками тлели рассыпавшиеся по земляному полу угли из мангала.

«Кажется, получилось...»

Он добрался до пулеметов. Один был покорежен взрывом, газовая защелка отлетела, валялась рядом. Другой вроде бы цел. В широкой амбразуре, как в раме, серыми призраками вставляли склоны ущелья, на дне которого лежало бледное, колеблющееся сияние. Оттуда доносился притушенный расстоянием гул, точно где-то, очень далеко, за мгlistой пеленой непогоды, бился о прибрежные скалы штормовой накат.

Но это не накат. До моря далеко. Это человеческий крик. Крик на тысячи голосов. И много бы дал сейчас Саша, чтобы различить в нем голос комроты:

— Смотри, смолк пулемет-то! Значит, порядок у ребят!..

Порядок, комроты, полный порядок, а как же. Сейчас он развернет эту трещотку, вот только второго номера нет, одному придется, что поделаешь.

Он ощупал в коридоре перекрытие, осветил фонариком. Если рвануть гранатную связку, то все к чертям завалится, и тогда у него с тыла все будет надежно. Ну, а если спереди, так спереди подхода нет — дзот висит над самым обрывом.

— Будет порядок, комроты! Мы не так себе забрались на эту шишку, будет порядок...

Там, где дорога, устало сбегая с последнего склона, медленно втекала в город, обрастая домиками, превращаясь постепенно в улицу, стоял оркестр. Это не был военный оркестр — военные оркестранты воевали в горах, им было не до музыки. Три трубы, валторна, барабан и скрипка. На скрипке играл небритый старик в испачканном штукатуркой пальто. Скрипки не было слышно, ее заглушали трубы, забивал барабан. Но старик все равно играл; из всех шестерых он был единственным настоящим музыкантом, дирижером этого необычного оркестра.

Два ремесленника, два инвалида с костылями, зажатые под мышками, и девушка с барабаном. Они умели играть один-единственный марш — «Прощание славянки». И играли его, стоя у обочины дороги.

А по дороге шел полк морской пехоты. Триста моряков в мокрых, перемазанных землей бушлатах. Остальные остались там, в Безымянном ущелье. Вместе с офицерским штрафным полком СС, который так и не увидел Черного моря. И никогда теперь уж не увидит его.

Срываясь на верхних нотах, пели трубы, чиркали по булыжной мостовой подкованные сапоги, плакали сбившиеся вокруг оркестра женщины. На уцелевшем столбе висел погнутый алюминиевый репродуктор. Передавали сводку Совинформбюро:

— Северо-восточнее Туапсе идут бои местного значения...

— Я комроты ихнего сразу заметила. — Глаза Пелагеи Петровны снова заблестели, она растерла ладонью слезы по загорелой морщинистой щеке. — Во второй шеренге шел комроты, и лицо все белое, как неживое. Я к нему подбежала, за руку его ухватила, а где, говорю, ребятки мои, где Саша, говорю, да Сабир с Москвичем? Он только головой в ответ покачал: «Не знаю, Пелагея Петровна...» Как же, говорю, не знаете?! Да разве так бывает, чтоб не знать, куда люди подевались? «Бывает, Пелагея Петровна. Выполняя боевое задание, пропали они без вести, все трое». Так, может, объявятся еще?! — кричу я ему и сама себя не слышу. «Может быть, Пелагея Петровна. Будем иметь на то надежду...» И достает он с планшетки, и протягивает мне письма, ребятками, значит, написанные.

«Отправьте, Пелагея Петровна...» Держу я те письма, треугольнички, и иду, и иду за комротой и через слезы ничего не вижу. А музыканты так и рвут душу, так и рвут!.. Видите, фотографию храню. Вдруг объявятся еще, придут, скажут: «Здравствуйте, мамаша, это мы, живые..» Ведь может такое случиться?! Ведь может же!..

От автора

*Эта старая фотография, с обломанными краями, хранится теперь у меня. Пятеро ребят в отутюженных форменках довоенного образца.*

*Время донесло до нас имена только троих.*

*В этой короткой истории нет ничего вымышленного. Благодарная человеческая память сохранила подробности одной из самых трагических рукопашных схваток, когда героические защитники Туапсе, в полном смысле слова, грудью своей закрыли ближние подступы к городу и морю.*

*Среди других героев в сыром безымянном ущелье навсегда остались Саша, Коля по прозвищу Москвич и черноглазый парень по имени Сабир. Он был сыном учителя из Куйбышева. И это пока все, что мы о них знаем...*

**ПИСЬМО ВОЕННОГО ФЕЛЬДШЕРА ПУТИВЛЬСКИХ  
ПАРТИЗАН Н. Д. ЛЯПИНОЙ РОДИТЕЛЯМ**

*Апрель 1942 г.*

**Я жива и здорова. С 5 марта в Путивльском партизанском отряде. У Ковпака. Может, слышали про такого! О том, что случилось, где была, что делала, писать рано. Вот кончится война, встретимся — все расскажу. Пережила и перевидала такое, что меня ничем не испугаешь.**

Перед войной Нина Дмитриевна окончила медицинский техникум и работала в одной из куйбышевских клиник.

В первые дни войны она добровольцем пошла на фронт. В бою Нине Ляпиной оторвало ноги. Бойцы не успели донести девушку до лазарета, она скончалась у них на руках. Это случилось на исходе дня, 4 октября 1942 года.

## ПОСТРОИМ ЭСКАДРИЛЬЮ САМОЛЕТОВ «КУЙБЫШЕВСКИЙ КОМСОМОЛ»

ОБРАЩЕНИЕ МОЛОДЕЖИ ЗАВОДА КАТЭК  
КО ВСЕМ КОМСОМОЛЬЦАМ И МОЛОДЕЖИ  
ОБЛАСТИ

К вам, боевые друзья — подруги и сверстники, обращаем мы свое слово. Угроза смертельной опасности, нависшей над любимой Родиной, сейчас велика как никогда. Ожесточенная битва Красной Армии с врагом становится все упорнее. Немецко-фашистские оккупанты рвутся вперед, пытаются захватить Сталинград, отрезать советский Юг, лишиться нефти. Гитлеровские варвары хотят ввергнуть в рабство новые десятки тысяч советских людей, истребить наше молодое поколение. Не считаясь с огромными потерями в технике и живой силе, Гитлер и его вассалы ради своих кровавых замыслов бросают в бой все новые и новые резервы.

Суровое время переживает наша страна. Но не померкли воинские традиции великого русского народа. Наш народ смело стоит перед лицом опасности, напрягает все свои силы, чтобы остановить, опрокинуть и разгромить немецких насильников.

В стране разгорается предоктябрьское социалистическое соревнование. Советские труженики увеличивают выпуск самолетов и танков, орудий, пулеметов и боеприпасов. Для нас, комсомольцев и молодежи, нет большей чести, чем отдать все свои силы во имя Родины, во имя победы над врагом.

На своем комсомольско-молодежном собрании мы решили начать сбор средств на постройку эскадрильи самолетов «Куйбышевский комсомол». Нас, комсомольцев, молодых рабочих, инженеров, техников, горячо поддерживает весь коллектив завода.

Дорогие друзья и товарищи! Мы обращаемся к вам с

призывом развернуть сбор средств на постройку эскадрильи боевых машин.

Великой гордостью наполняются наши сердца, когда мы узнаем, что наши прославленные соколы беспощадно громят фашистскую нечисть.

Построим же эскадрилью боевых самолетов «Куйбышевский комсомол» и передадим ее на вооружение Красной Армии! Это будет наш боевой подарок в честь 25-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.

По поручению собрания комсомольцев и молодежи Куйбышевского карбюраторного завода:

слесарь-модельщик Мясников, секретарь комитета ВЛКСМ Каршина, двухсотник-фрезеровщик Назаров, инженер-технолог Нонкин, мастер Барслогов, чертежница Ананьева, комсорг заводоуправления Клементьева, комсорг Байштейн, фрезеровщик-двухсотник Зедин, токарь Хоменко, комсорг Лигарева, расчетчица Макарецова, начальник Лазебный, работница Абашина.

Газ. «Волжская коммуна». 1942. 29 сентября. № 230.

**ПИСЬМО СЕРЖАНТА П. ДОРОГОВА  
К ЗЕМЛЯКАМ-КОЛХОЗНИКАМ КОШКИНСКОГО РАЙОНА**

Дорогие земляки, колхозники колхоза имени Ленина! Шлю я вам свой боевой привет с фронта. Героическая борьба идет сейчас в Сталинграде и на Кавказе. Фашистские оккупанты рвутся к Волге, лезут к Баку, с волчьим аппетитом на советскую нефть, на богатства Кавказа. Но они не пройдут! Доблестная Красная Армия, вооруженная по последнему слову техники, окруженная вниманием и заботой всего советского народа, беспощадно истребляет гитлеровских мерзавцев.

Я, как и тысячи других воинов Красной Армии, с честью выполняю свой долг перед Родиной. Я мщу гитлеровцам за кровь и страдания наших людей, временно подпавших под иго варваров. Я имею на своем счету свыше 100 истребленных гитлеровцев.

Спешу сообщить вам, дорогие земляки, что я удостоен высокой награды — медали «За отвагу». Эта награда меня обязывает еще мощнее обрушивать огонь своего оружия на гитлеровских палачей. Смерть им!

Ко дню 25-й годовщины Октября я обязался namного увеличить свой счет мести гитлеровским разбойникам.

Дорогие земляки! Помогайте фронту ковать победу над врагом, все свои силы отдавайте великому делу разгрома немецко-фашистских оккупантов!

Сержант П. К. Дорогов

Газ. «Маяк Ильича», 1942, 7 ноября, № 133

## ПИСЬМО РАБОТНИЦ ЗАВОДА ИМ. МАСЛЕННИКОВА БОЙЦАМ КРАСНОЙ АРМИИ

Здравствуйте, дорогие бойцы, командиры, политработники — защитники нашей любимой Родины!

Мы восхищены вашими героическими подвигами, о которых рассказал нам т. Бузуев, член заводской делегации, ездивший к вам с подарками.

В ответ на ваши боевые успехи мы берем на себя дополнительные обязательства, чтобы оказать вам еще большую помощь в борьбе с ненавистными захватчиками.

Наша стахановка военного времени Валя Лабутина на днях получила известие о гибели своего отца на фронте. Ранее погиб в боях за Родину и ее брат. Слов нет — тяжелая утрата нашей подруги. Но жгучая, неугасимая ненависть к кровожадному фашистскому отродью делает ее крепкой духом. Своей самоотверженной стахановской работой Валя поклялась мстить гитлеровским вырождакам за смерть своих отца и брата.

Стахановка военного времени Мария Конева, вырабатывающая более двух норм за смену, обещает день ото дня увеличивать выпуск продукции и тем самым еще лучше помогать вам, фронтовикам, громить врага.

Родные! Тыл с вами неразлучен. Уничтожайте гитлеровских псов, не давайте им опомниться, гоните их прочь от нашей родной земли. Горячим свинцом, острым штыком мстите им за наших погибших отцов, братьев, мужей. Желаем вам дальнейших успехов в разгроме немецких захватчиков. Мы же постараемся обеспечить вас всем необходимым.

Смерть немецким оккупантам!

Сейчас мы собираем для вас новогодние подарки. Леся Зайцева посылает вам кисет с табаком и конфетами,

Дуся Еранова — теплые варежки, кисет с табаком и мундштук, Клава Ржеусская — носовой платок, кисет с табаком и сахару. Не отстает от них и стахановка военного времени Маруся Конева. Она уже приготовила кисет с табаком, носки и носовой платок.

Шлем вам искренний горячий привет.

Пишите нам.

Газ. «За третью пятилетку», 1942, 8 декабря, № 65

## «АИРОВЦЫ»

Мы идем на курган. Всю ночь лил дождь, земля взбухла, как опара, и куда ни ступи — ноги в жидкой и липкой грязи.

Вокруг — жуткая темень. Лишь на переднем крае вспыхивают ракеты и, повисев, гаснут.

Идем цепочкой. Навьюченные приборами, еле переставляем ноги. Командир взвода лейтенант Гнубкин все чаще повторяет:

— Шире шаг. Не отставать!

Уже вторую неделю вот так месим грязь: усталые, мокрые, невыспавшиеся. Работы — невпроворот. Видно, скоро «сабантуй». Каждый день «привязываем» пять-шесть новых батарей, прибывших из тыла. Вчера впервые видели «катушу». Говорят — огненный смерч.

— Из-э-эх, житуха солдатская...

Это вздохнул Иван Перебейнос, длинный, худющий потомок кубанских казаков. Ему сегодня досталась «бандура», как мы называем цейсовский теодолит.

— Давай подмогну, — шепчет ему Яха Ольшевский, приостановившись возле него.

— Мерси, браток, сам довезу, — отвечает тот.

Курган встретил нас туманом. По ходам сообщений, вырытым в полный рост, снуют люди-тени, испачканные желтой глиной. Откуда-то вынырнул старший лейтенант Джапаридзе, командир одной из батарей, которую нам следует «привязать». Джапаридзе — наш старый знакомый по Тамани и десанту на Керчь.

— Ай-вай, генацвале, где ты пропадал? — ринулся он к командиру взвода. — Хочешь кахетинского? Хочешь цинан-

дали? Пожалуйста. Хочешь шашлык по-грузински? Хочешь по-карски? Пожалуйста. Только давай скорей координат.

Джапаризде напоминает мне героя из «Витязя в тигровой шкуре»: огромен, плечист, с напрягшимися мускулами.

— Через полчаса координаты получите, — успокаивает его Гнубкин. Но Джапаризде настойчив.

— Давай скорей, — горячится он. — Фашиста надо бить, кишки пускать, шашлык чертям жарить.

— Ладно, не мешай, — отмахивается Гнубкин.

Джапаризде недовольно морщит лоб.

— Ай-вай, чертова война, — резко машет он рукой. — Все задом наперед. Раньше у нас, у грузин, было так: гость пришел — угощай, а потом дело делай.

На пункте работа в полном ходу. Иван Перебейнос, закрепив теодолит, начинает водить трубой, отыскивая на местности ориентиры. Он то и дело досадливо морщится:

— Молоко плывет.

— А ты бери ближние точки, — советует ему Яха Ольшевский, приготовившийся записывать отсчеты. Яха невысок, но тучен и неповоротлив, сидит, загородив весь правый угол пункта.

Вот Перебейнос поднимает руку. Он поймал цель в перекрестье сетки.

Тут уж только успевай записывать...

Я еще вычислял последнюю задачу засечки, как совсем рядом раздался оглушительный взрыв, затем другой, третий, и курган закачался, словно кораблик в бурю. Перебейнос, быстро сняв теодолит, кладет его на землю и сам ложится тут же, у стены траншеи, Яха плотно прижался в углу, словно врос в глину.

Артналет начался, как и вчера, неожиданно. Фашисты бьют по кургану только фугасными, «на разрушение». От взрывов все вокруг сотрясается и грохочет. Взрывная волна, как щепку, подняла меня и отбросила к противоположной стенке, где лежал Перебейнос. В то же мгновение раздался истошный крик. Яха Ольшевский, неожиданно быстро вскочив, побежал к выходу. Я попытался подняться,

но не мог, ноги как чужие, невесомые. Тогда пополз попластунски, цепляясь за стенки прохода.

Сквозь гарь и дым вижу: у самого входа, скорчившись, сидит Сандро Осашвили. Он кричит страшным нечеловеческим голосом. «Ранен или истерика?» — думаю я. Но Яха видать, определил, что случилось с ним. Он навалился на Сандро и плотно прижал его к земле.

— Ишь, чего испугался! Война, привыкай! — наизидательно кричит Ольшевский.

Гнубкин, сидевший у Джапаридзе, после первых же разрывов выскочил из блиндажа и побежал к нам на пункт.

— Что с ним? Ранен? — тревожно спросил он, указывая на Осашвили.

— Мандраже.

— Это не страшно, у новичков случается, — махнул рукой Гнубкин.

— Обстреляется.

Через час мы были уже в районе огневых позиций. Правда, мне пришлось из-за контузии шагать между Долженковым и Форманским, придерживаясь за их плечи.

— «В упорной схватке за селение... рассеяли взвод пехоты, — медленно читает Яха Ольшевский, нагнувшись над газетой. — Один солдат противника взят в плен».

— Тоже мне, вояки: «В упорной... рассеяли...», — морщится Саша Форманский. — Когда они с такими темпами до Европы доползут?

— Жди, лет через пять на блюде второй фронт тебе преподнесут, — корчит рожу Миша Долженков. — Империалисты.

— Трусика, панамочки, как у нас в Артеке, — снова начинает комментировать Форманский. — Куда им торопиться. Кофе, виски, прочее... Одно слово — Африка.

— Хватит, ну их к черту, этих союзничков, — кидает Яха газету в сторону.

Саша Форманский, уставив взор куда-то вдаль, начинает мурлыкать свою любимую песню:

Уезжал моряк из дому,  
Стал со мною говорить...

Ребята тихо начинают подпевать, и через минуту над поляной, изрытой воронками, льется мелодичная песня:

Разрешите вам на память  
Свое сердце подарить...

Мы сидим в ожидании возвращения Ивана Перебейноса с новым заданием. Что же интересного он нам принесет?

Курган. На карте он значится как безымянная высотка. Своим четким контуром напоминает египетские пирамиды. Не создан ли он руками скифов, обитавших в этих местах? Не соплеменники ли легендарного Савмака воздвигли его в память о победах над своими поработителями — боспорскими царями Персидом и Митридатом?

Курган в минуты затишья кажется вымершим, безлюдным, каким, видимо, был в мирное время. Но только те, кто бывает на нем, знают, что и днем, и ночью, в погоду и в непогоду там кипит боевая жизнь. Его скаты изрезаны извилистыми линиями траншей и ходов сообщений, еле заметными бугорками выделяются многочисленные блиндажи, а на гребне — десятки наблюдательных пунктов. Здесь из узких щелей амбразур и «колодцев» непрерывно шарят по переднему краю и глубине обороны фашистов сотни неуспящих глаз разведчиков: окуляры стереотруб, перископов, теодолитов и биноклей. Малейшее движение или изменение у противника заносится в журналы наблюдений и схемы; ни один шорох, ни один подозрительный звук, донесшийся оттуда, не останется неуловленным и неоцененным. Курган — глаза и уши наших рот и батарей, батальонов и дивизионов, полков и бригад; он — единственное место обзора всего, что делается в ближайшем тылу врага. Фашисты знают это и потому не оставляют его в покое ни днем ни ночью: бьют из винтовок и автоматов, из пулеметов и минометов, обрушивают шквалы огня дальнобоем, бомбят с самолетов.

Вот и сейчас на кургане гремит канонада, взлетают вверх комья земли, бревна от накатов, доски и еще какие-то бесформенные предметы. Кажется, там нет уже живого места. А курган стоит; нет, не курган, а люди стоят, умирая и истекая кровью, стоят, словно позади них пропасть.

Отдыхаем мы только урывками. Часок-другой поспим, и снова на задание. Фашисты, отступая с Керченского полуострова, выжгли его дотла. Сейчас особенно трудно приходится нашей батарее топографической разведки, в част-

ности, взводу Гнубкина. С каждым днем прибывает артиллерия. Ее надо «привязывать», а вся триангуляционная сеть, все тригонометрические и геодезические точки и пункты разрушены до основания. Взвод получил задание: в течение двух недель восстановить нарушенную сеть. Прибыв на место, сразу беремся разбрасывать камни и щебень. Приходится их выворачивать целые горы, пока найдешь центрирующий стержень пункта или точки. Потом на это место ставим небольшую треуголку, сбитую из разных жердочек, или простую, но прочную вежу. И только после этого уже начинаем тянуть сеть ближе к расположениям батарей артполков и «привязывать» их к единой координатной системе. Без этого невозможно вести точную стрельбу по врагу.

Еще — разведка, непрерывная, круглосуточная оптическая разведка вражеских позиций с нашей передовой, засечка фашистских батарей, пулеметных точек, наблюдательных пунктов. Оборудование пунктов засечек — тоже не менее сложное и трудное дело, ведь их приходится делать непосредственно под огнем противника.

Наше главное оружие — алгебра, тригонометрия и геометрия, а результат нашей работы — это точные координаты, точные до сантиметра, полученные путем вычисления сложнейших задач аналитическим или графическим способом.

За два довоенных года учебы и службы в разведывательно-артиллерийском дивизионе инструментальной разведки мы научились решать задачи точно и быстро, доводя этот процесс до автоматизма. Вот где пригодились знания, полученные еще за школьной скамьей.

А наша батарея звуковой разведки? Она для засечки вражеских целей и корректирования огня нашей артиллерии по фашистам использует сложнейшие аппараты звукозаписи, которые дают возможность точно определять координаты целей, находящихся за 5—10 и более километров. Один аппарат центрального пункта регистрирующих приборов — это целый агрегат сложнейших механизмов. Мы, топографы, работаем в тесном контакте со звукометристами, каждую засечку взаимно проверяем, изучаем и делаем выводы.

А наши фотографы? Они тоже работают день и ночь, не зная покоя, сна и отдыха. Батарея фоторазведки распола-

гают такими лабораториями, подобные которым вряд ли где еще есть. Сюда поступает огромное количество фотопленок нашей авиаразведки всего Крымского фронта, заснятых в ближнем и дальнем тылу врага. Фотограмметристы и лаборанты скрупулезно сидят над дешифровкой уже проявленных снимков. Работа эта очень нудная, изнурительная, требующая не меньшей точности, чем топографические вычисления. К тому же наши фотографы, как и мы, день и ночь лазают по переднему краю нашей обороны, делая каждый раз новые панорамные снимки, дающие возможность уточнять изменения во вражеской обороне.

Ах, как порой хочется попасть в свою школу, где работал до службы в армии. Я бы сейчас нашел что сказать своим ученикам: учитесь, ребята, грызите науку, как ни трудно, но глубже овладевайте ею — она нужна нам не только для добывания хлеба насущного, но и для защиты себя от врагов! Жив останусь — непременно это сделаю.

Конечно, работа наша не из героических, мы не ходим в атаку на врага с винтовкой наперевес, не лазаем за «языком», не берем пленных. Вдруг не отличишься. Для человека с экспансивным характером она — мука однообразная. Не потому ли Саша Форманский в минуты хандры кланет тот день, когда попал в этот дивизион:

— Уйду, как только представится случай, убегу, — горючит он.

— Куда уйдешь?

— В морскую пехоту — вот сила! — восхищается он. — Полундра!

— Га, выискался новый Посейдон. Мор-ряк, — смеется Иван Перебейнос.

— Как ты сказал? Да я, знаешь ли ты, вырос на море. Одесса, — подступает к нему со сжатыми кулаками Форманский.

— Цыц, салажонок!

Ребята покатываются со смеху. Оскорбленный Саша отходит, понутив голову.

— Все равно убегу. Вот увидите, — не хочет он сдаваться.

Время приближается к обеду. В расположение дивизиона один за другим возвращаются отделения и взводы с заданий.

— Сахар! Табак! Водка! Скорее получайте! — громко зовет старшина топоватарей Иван Чепеленко.

Ребята кидаются к блиндажу старшины. А там, возле самого входа в блиндаж, на разостланной плащпалатке небольшими кучками белеет сахар и тут же стоит бидон с водкой. Сахар и табак получают на отделение, а водку — каждый боец сам.

— Ого, попируем, — трет ладони Миша Долженков, хитро подмигивая.

Каждый подносит фляжку к бидону. Чепеленко неторопливо черпает жидкость и осторожно сливает ее в узенькие горлышки. Каждый смотрит на мерку придирчиво — чтоб ни грамма недолива!

А те, кто уже получил водку, делят сахар и табак.

Вот сидит отделение. Посредине круга на полотенце — маленькие кучки сахару. Саша Форманский стоит спиной к товарищам, а Иван Перебейнос, указывая пальцем на кучку, громко спрашивает:

— Кому?

— Мише толстомятому, — отвечает Форманский.

— Кому?

— Яхе рыхлому...

— Кому?

— Тебе, кубанскому кощею.

Затем таким же способом делится и табак. Не беда, что одному достанется чуть меньшая кучка, а другому — чуть большая. Зато точно соблюдены правила дележки.

А тут поспел и обед.

— Подходи скорей! Вкусный, наваристый! — кричит шеф-повар Вася Сухинин, широколицый парень с тамбовщины.

Все устремляются к пышущей паром кухне и становятся в очередь.

— Чаю нет, — предупреждает Вася.

— Как так нет? И утром и в обед нет!

— Фрицы всю воду выпили, — парирует повар. — Дали только на первое и второе.

Грустно, но факт. Чаю опять нет.

— Сволочи, погодите же, — потрясает кулачищем Яха Ольшевский, показывая в сторону переднего края.

День только начинается. Свободное от дежурства время коротают кто как может: Яха, пристроившись возле ящика, расчерчивает новый планшет; Гнубкин лежа грызет сахар вместо воды, а Саша Форманский, вырыв в ходе сообщения нишу, плотно привалился к брустверу и, выставив винтовку-снайперку, внимательно наблюдает за передним краем фашистов.

— Так, так, хорошо, — повторяет он вслух, а потом медленно нажимает на спусковой крючок. — Есть один!

Все выскакивают из блиндажа и устремляются к Форманскому:

— Где, где?

Наш пункт — в четырехстах метрах от первой линии противника, в боевых порядках нашей пехоты. Отсюда легко вести прицельный огонь из винтовки. Пример Саши заражает и остальных. Через минуту у бруствера стоят уже и Яха, и Долженков. Только нет Ивана Перебейноса — он дежурит у теодолита.

Ночь проходит в хлопотах. Надо ознакомиться с целями, засеченными ранее третьим взводом, чтоб не делать двойную работу. Но уже после полуночи вбежал Яха и сообщил, что на крайнем правом фланге бьет новая батарея. Пришлось срочно скомандовать и правому пункту на засечку. Там со своим отделением Андрей Ярошенко, конопатый черниговец с острыми и цепкими глазами. Засечка получилась хорошая. Но батарея почему-то выходит на Сиваше, метрах в трехстах от берега. Засечку повторили — результат тот же. Вот оказия. Гнубкин недоверчиво качает головой.

— Где-то прошляпили, — говорит он. — Или отсчеты сняли неверно, или ошиблись в вычислении. Проверьте.

Яха корпит над записями в журнале, я уже третий, четвертый раз проверяю решение задачи. Все точно. Но почему она получается на воде? Правда, батарея почти в пяти километрах от «передка», по звуку заметно: состоит она из двух орудий тяжелого калибра, не менее ста двадцати миллиметров. Щучка крупная. В чем дело? Мне вдруг в голову приходит идея.

— Разреши сходить? — обращаюсь к Гнубкину.

— Куда?

— К звукам.

— Только ненадолго.

Петляя по ходам сообщения, то и дело кланяясь земле от разрывов мин, устремляюсь вниз по скату кургана. В полукилометре — центральный пункт регистрирующих приборов звукометрической батареи.

— Так, так, и вы засекли? — переспрашивает меня командир звукобатарей старший лейтенант Пустовалов, развертывая ленту ночной смены. — А мы уже третью ночь ее засекаем и все на воде и координаты разные. Не верится, но факт.

— А не с лодки ли бьют? — спрашиваю я его.

— Чепуха. Такие пушки стоят только на линкорах, — замечает он. — А на Сиваше плоскодонка застрянет.

Решаем пока просто: засечь еще раз и точно проверить данные.

Сегодня — ответственное дежурство. Гнубкин ушел на правый пункт.

— Сам буду засекать эту батарею, — предупредил он.

Пока бьют только ранее выявленные батареи и бьют то шквальным, то методическим огнем. Теодолит с вечера сориентирован строго в основном направлении. Приходится, не отрываясь, следить за районом действия загадочной батареи. Совсем рядом взрывается несколько мин, и осколки, фырча, пролетают над пунктом. Лишь бы не зацепили перископ теодолитной трубы... Тогда все пропало. Гулко отдаются взрывы то справа, то слева. Я беру телефонную трубку:

— Правый! Правый!

Но правый пункт молчит.

— Порыв на линии, — докладывает Ваню Сарахуладзе, вбегая на пункт.

— Немедленно исправить. Срочно! — даю команду.

И, как на грех, в этот момент вижу огненные блески загадочной батареи. Она заработала. Медленно подвожу перекрестье трубы и закрепляю. Есть, засек. Но беда — связи с правым все еще нет. Но уже через минуту слышу, как зуммерит телефонная трубка.

— Алло! Левый? — гремит голос Гнубкина. — Что случилось, почему не отвечали?

— Порыв был. Засек?

— Засек, записывай данные, — предлагает он.

Проверяем координаты на планшете. Батарея получается опять на воде, но уже правее на сто двадцать метров от вчерашнего места.

Связываюсь с звукометристами — у них то же самое. Батарея явно на воде. Но как она там оказалась? Загадка. В течение ночи засекаем еще три раза — данные почти неизменны. Значит, мы не ошибаемся.

Гнубкин зол, ругается, клянет все на свете.

— Портачи, сапожники, — гремит он. — Не умеем самое простое.

Утром он прибегает на наш пункт. Продолжаются ночные хлопоты. Гнубкин вытаскивает из планшетки карту и расстилает на ящике.

— Давай-ка прибросим на карте, — предлагает он, вооружившись хордоугломером и циркулем. — Ого, ты смотри, где она скрывается...

Батарея фашистов снова получается на Сиваше, но в заливе шириной с километр. Оба смотрим друг на друга: это уже о чем-то говорит. Но о чем?

— А не на плотях ли эти пушки? — осторожно говорю ему.

Гнубкин с минуту молчит, а потом спрашивает:

— Днем батарея действует?

— Нет, не замечено.

— Тогда вполне возможно, что фашисты хотят нас одурачить, надо проверить еще раз, — решает он.

— Но здесь мы сделали уже все возможное, — говорю ему. — Не лучше ли засечь с других пунктов с более широкой базой. Будет точнее.

Встал вопрос: куда перенести пункты. Хорошо бы развернуть их на Арабатской стрелке, оттуда будет виден и залив, в котором прячется фашистская батарея, и база будет широкая. Но очень далеко, нам не хватит даже телефонного кабеля. Как быть?

В разговор вмешивается Иван Перебейнос:

— А если на «ястребок», на Сиваш? — говорит он.

Мы с Гнубкиным переглядываемся; идея очень интересная, заманчивая. Еще в дни февральского наступления меж-

ду берегом и Арабатской стрелкой, не дотянув до аэродрома, прямо на воду сел наш израненный самолет. Летчик ночью под огнем фашистов еле выплыл на берег. «Ястребок» почти весь над водой. От берега в полтора — двух километрах. С него, пожалуй, будет виден весь вражеский берег на многие километры. Очень удобное место для пункта засечки. Но есть серьезные препятствия: днем нельзя — немцы засыпят огнем; как подать через воду связь? На чем добраться до самолета?

И все же через час все обмозговано. Гнубкин связывается с командиром батареи Степановым, просит разрешения на перенос левого пункта на Сиваш. После переговоров с командиром дивизиона Степанов разрешает, предупредив, что штаб дивизиона недоволен нашей медлительностью.

— Приказано к следующему утру дать точные координаты этой батареи, — строго наказывает он.

Сразу же начинаем распределять силы: Саша Форманский, Сандро Осашвили и Вано Сарахуладзе направляются в рощу под Ак-Монай на заготовку вешек для подвешивания телефонного кабеля; мы вместе с Долженковым и Ольшевским идем сооружать плотик, а Гнубкин и Перебейнос готовят приборы.

Вторая половина дня проходит в хлопотах. Работы много, торопимся, но не хватает то одного, то другого. Целый час приходится выпрашивать у командира автопарка негодные покрышки, по дощечке собираем настил. Приходится чертыхаться и ругаться на чем свет стоит. Только Яха с присущей ему молчаливостью ковыряется, сопя себе под нос.

Все готово. Вешки, катушки с проводом уже на плоту. Первым рейсом решено проложить связь. Отправляемся трое: Гнубкин шестом двигает плот, Саша Форманский ставит вешки, а я подвешиваю кабель. Надо торопиться. Часа через полтора выглянет луна — тогда конец всей затее. Сперва все идет хорошо. Но уже метров через двести становится глубже, длинный шест в руках Гнубкина погружается все дальше в пучину, ему приходится присе-

дать на колени и с трудом отталкиваться. Работаем молча — над водой слышимость предательская.

Прошли уже больше полпути, как вдруг Форманский, потеряв равновесие, вместе с вешкой исчез под водой. Вот незадача! Я беру вешку и подаю Саше, выплывшему в полтора метра от плота. Скрежеща зубами, он вылезает. Хорошо хоть плот устойчив — на пяти автомобильных скатах.

Через несколько минут осторожно пристаем к борту самолета. Он почти весь над водой, только, видать, шасси погрузились в ил, а распластанные крылья удерживают его на поверхности. Гнубкин забирается в кабину, ища удобное место для закрепления теодолита и телефонного аппарата. Но в кабине почти до колен вода.

Саша Форманский отплывает обратно. Гнубкин, спрятавшись в глубине кабины летчика, вызывает левый пункт. Говорить приходится шепотом. Я, пристроившись на крыле рядом с фюзеляжем, вглядываюсь в темноту. Еле заметной темной лентой видны очертания берега. В одном месте берег углубляется влево: вот и тот залив, где прячется загадочная батарея.

Без четверти одиннадцать. Ровно через пятнадцать минут батарея заработает. Гнубкин за теодолитом, я — у телефонного аппарата. Все готово.

Часы отсчитывают секунду за секундой. Но что это? Плот снова приближается к нам. На нем два человека. И вдруг слышим:

— Гнубка, дорогой генацвале, — тихо говорит голос. — Ай-вай. Линкор. Вот энпэ. Сила!

В это время слева впереди вспыхивают яркие блески.

— Левый! Засакай по вспышкам, — передаю команду.

— Так, есть! — Гнубкин включает фонарик и, прикрыв теодолит полкой куртки, читает отсчет.

Джапаридзе, забравшись на фюзеляж, сидит у самой кабины и завистливо цокает языком.

— Ай-вай, вот энпэ. Вот постреляем! — шепчет он, следя за выстрелами фашистской батареи. — Завтра капут фрицам-гансам.

В момент выстрелов батареи сквозь блеск видно, как

возле пушек перебегают тени. Совсем близко, в полутора-двух километрах, не больше.

— Стреляй сейчас. Все как на ладони, — предлагает Гнубкин Джапаридзе. Но тот уклончиво вздыхает.

— Нет. Шалва зря не бросает снаряды, — говорит он. — Ночь пройдет — утро придет. Глазами видим — стреляем.

С левого пункта передают координаты засеченной батареи. Гнубкин склоняется над картой и вдруг со злостью бросает:

— Опять неувязка. На сто двадцать три метра левее по игрекам.

— Чего ты сокрушаешься? — говорю ему. — Все нормально: батарея кочует по воде. Ясно?

— А ведь и верно, — соглашается он после раздумий. — Ну, все, мы свое сделали. Пиши, Шалва, координаты. Мне приказано срочно вернуться.

Через несколько минут плот отчаливает. В самолете мы остаемся вдвоем с Джапаридзе.

— Вот стрельнем, генацвале, — восторгается мой напарник. — Сто двадцать баклажанов. Сам командующий дал. «Разбей, говорит, Шалва, эту заразу в пух и прах». Вот как, генацвале.

Утро наступает медленно. Над Сивашом сперва опускается синеватая пелена. Затем на нее густым слоем ложится желтовато-серый туман. Между ровной и тихой гладью воды и туманом курится пар. Красиво и безмятежно, как в мирное время. Только слева, на берегу, взлетают ракеты, тускло озаряя землю, и слитной дробью отстукивают пулеметы и автоматы. Джапаридзе пристроился на сиденье летчика в кабине, а я растянувшись, лежу по-прежнему на крыле. В ожидании полного рассвета оба бодрствуем. Джапаридзе изредка зуммерит аппаратом:

— Казбек! Казбек! Не дремать. Начеку! Понятно?

Туман постепенно рассеивался.

— Казбек! Седьмого. Седьмой? Приготовиться. Скажи наводчикам, чтоб прицел — как в аптеке, — предупреждает Джапаридзе своих огневиков.

Вот завиднелся и залив. Он не широк, метров шестьсот-семьсот. У самой кромки левого берега стоит длинная и громоздкая посудина. На ней четко видны два еще не

зачехленных орудия. Возле них снуют люди. Теперь-то уже все ясно: батарея стоит на понтонах, и с наступлением ночи ее вытягивают в залив лебедками. Она каждую ночь может менять свой боевой порядок, двигаясь то влево, то вправо. Вот почему и не могло быть у нее точных координат. Ну, фашисты, как ни хитрите, вам не обмануть нас. Сейчас получите свое.

— По фашистской батарее, — тихо, но внятно командует Джапаридзе. — Буссоль шесть — двадцать четыре, уровень ноль — ноль три, прицел... Фугасными. Первому один снаряд. Огонь! — И он тут же подносит к глазам бинокль.

Снаряд, мягко шелестя, пролетает чуть левее от нас, и через секунду возле понтона с орудиями вздымается черный столб воды и грязи.

— Плюс, — передаю я Джапаридзе. Но он и сам хорошо наблюдает, видимость — что на ладони.

— Левее ноль — ноль два. Прицел... Огонь!

Не проходит и минуты, как на берегу залива вырастает лес разрывов, снаряды рвутся точно в том месте, где стоят понтоны, но их уже не видно.

— Четыре снаряда, беглый. Огонь!

— Огонь!

Джапаридзе в азарте: лицо красное, возбужденное, глаза блестят какими-то озорными чертиками.

— Ага, фриц-ганс, кушай шашлык, пей цинандали, — приговаривает он между командами. — Получай еще перчику. Огонь!

Сквозь дым и гарь, сквозь фонтаны грязи и воды видно, как в заливе летят вверх щепки и доски разбитых понтонов, как один из понтонов, задрав корму, переворачивается и плашмя ложится на воду, похоронив под собой орудие; другой понтон лежит уже на боку. Солдаты, то падая, то поднимаясь, разбегаются по кособоку.

Огонь батареи Джапаридзе еще бушевал в заливе, как вдруг рядом с самолетом, вскидывая частые брызги, стали ложиться пули, с берега донесся дробный стук «гочкиса». Немцы заметили нас. Что нас выдало? Может, окуляры бинокля? Может, мое неосторожное движение на крыле? Возможно. Пули ложатся все ближе и, ударяясь о брони-

рованную кабину и рикошетируя, с фырчащим свистом падают в воду. Соскользнув с крыла, я погружаюсь в воду и, держась за края, подплываю к Джапаридзе.

— Что будем делать?

Джапаридзе с минуту молчит, а потом, кивнув головой, решает:

— Уходить надо. Сейчас минами забросают.

Уходить? Но как? Нас отделяет от нашего берега почти полторакилометровое водное пространство. А медлить уже нельзя. Джапаридзе сбрасывает с себя куртку, сапоги, бинокль и все это сворачивает в одну кучу, а затем, перевязав ее телефонным проводом, прикрепляет к ремню, создав себя. То же самое делаю и я.

— Плыви, — приказывает он мне. — Плыви от вешки к вешке. Понимаешь? Вот.

Нам надо отплыть хотя бы метров на шестьсот, дальше нас будет прикрывать передний мысок, и враги не смогут вести прицельный огонь. Я плыву впереди, задерживаясь возле каждой вешки. Пули ложатся то впереди, то сзади, то с боков. Бьют издали, метров с семисот, вероятность попадания ничтожная. Но шальной пуле и расстояние не помеха. Джапаридзе плывет метрах в двадцати от меня, в зубах он держит планшетку — боится намочить документы.

Еще, еще немного! Там мысок — наше спасение. Холодная, обжигающая вода и усталость сковывают движения. Но что это? Тут и там над водой вздымаются фонтаны. Вот один из них взрывается совсем рядом, чуть справа. Я тут же ныряю под воду, несколько секунд плыву.

Еще, еще немного! Вынырнув, тут же оборачиваюсь назад: Джапаридзе жив, продолжает плыть. Мины ложатся густо. Брызги воды и грязи застилают лицо и голову, почти не видно, что делается вокруг. Хватаюсь за очередную вешку и снова несколько секунд отдыхаю. И в этот момент вижу, как по берегу, заметив нас, бегут ребята. Вот двое отталкивают плотик и торопливо начинают работать шестами.

Еще, еще немного! Мне почему-то на память приходит одна книга о гражданской войне. В ней рассказывалось о том, как в период штурма Крыма через Сиваш вброд и вплавь под непрерывным огнем врага за ночь переправилась целая дивизия. Вот были герои. Через весь Сиваш. А тут каких-то полтора километра...

А ну еще, еще.

Через несколько минут, когда мы почти уже выбились из сил, подоспел плот. Ухватившись цепко за крайние доски настила, плывем к берегу. Ребята нас подхватывают, стоя по пояс в воде.

То один, то другой суют нам свои фляги с водкой: Мы горячо обнимаем своих спасителей, плотогонщиков Сашу Форманского и Мишу Долженкова.

**ПОСЛЕ БОЯ**

**Хорошо, товарищ, после боя,  
Выдыхая дым пороховой,  
Посмотреть на небо голубое —  
Облака плывут над головой...**

**И в затихшем орудийном гуле,  
Что в ушах моих еще звенит,  
Вся страна в почетном карауле  
Над убитым воином стоит.**

**10 мая 1943 г.**

## РЕШЕНИЕ ОБЛИСПОЛКОМА О РАЗМЕЩЕНИИ 5000 ЭВАКУИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ ИЗ ЛЕНИНГРАДА

26 мая 1942 г.

Исполком облсовета депутатов трудящихся решает:

- 1) принять 5000 детей из Ленинграда;
- 2) обязать зав. облоно тов. Чепурнова разместить 2000 детей по детдомам и общежитиям спецшкол области;
- 3) обязать председателей исполкомов Куйбышевского, Ульяновского, Сызранского, Мелекесского горсоветов и председателей Сергиевского, Богатовского, Молотовского (сельского), Кизель-Черкасского, Сенгилеевского, Подбельского, Ставропольского, Кошкинского, Челно-Вершинского, Клявлинского, Ново-Малыклинского, Барышского, Карсунского, Инзенского и Чердаклинского райсоветов депутатов трудящихся принять 3000 детей в соответствии с приложенным планом, подготовив помещения, необходимое оборудование, питание, медицинское обслуживание, транспорт, топливо — к 5 июня сего года;
- 4) поручить председателям Ульяновского, Куйбышевского горсоветов и председателям Инзенского, Ново-Малыклинского, Борского, Барышского и Чердаклинского райсоветов депутатов трудящихся освободить до 1 июня 1942 года для размещения ленинградских детей здания бывш. детских санаториев;
- 5) обязать заведующего облздравотделом тов. Васильева:
  - а) обеспечить медицинскую помощь, медико-санитарное обслуживание и строжайший контроль за санитарным состоянием помещений и качеством питания эвакуированных детей;
  - б) подготовить прием больных и ослабленных детей в лечебные учреждения указанных в плане городов и районов;
- 6) обязать зав. облоно тов. Чепурнова обеспечить руководящим и воспитательским персоналом вновь открываемые учреждения для эвакуированных детей;

7) обязать зав. облторготделом тов. Акимова и председателя облпотребсоюза тов. Галкина выделить не позднее 29 мая 1942 года продукты питания торгующим организациям городов и районов, указанных в данном решении, по установленным нормам и обеспечить полную реализацию нарядов для вновь организуемых детских интернатов;

8) поручить облплану тов. Носову организовать изготовление местной промышленностью и промкооперацией жесткого инвентаря для детских интернатов на контингент 3000 детей;

9) обязать зав. облфо тов. Грибанова увеличить кассовый план II квартала т. г. по облоно на 500 000 руб. для организационных расходов по размещению 5000 эвакуированных детей.

Поручить тов. Чепурнову и тов. Грибанову подготовить докладную записку СНК РСФСР с расчетом на средства, необходимые на содержание этих детей.

Председатель исполнительного комитета  
облсовета депутатов трудящихся Н. Васильев

Секретарь исполнительного комитета  
облсовета депутатов трудящихся Ф. Туманов

**КЛАВДИЯ КИРШИНА,**  
**лауреат областной премии**  
**Ленинского комсомола,**  
**член Союза писателей.**

## **ВСЕМ МИРОМ**

На втором году войны в одной из зарубежных газет была напечатана статья под крупным заголовком: «В Советском Союзе нет военных сирот!»

Конечно, там, за рубежом, доподлинно знали, какие неисчислимые беды принесло нам фашистское нашествие. Знали, что уже тогда сотни тысяч наших ребят — это же вымолвить страшно: сотни тысяч! — лишились родного крова, матерей, отцов. Но при всех тяготах, невосполнимых утратах, при невиданном напряжении сил для отпора врагу на советской земле действительно не было брошенных на произвол судьбы, беспризорных, забытых детей. Этого не мог не заметить непредубежденный взгляд даже со стороны, издалека.

Ну, а мы-то не со стороны смотрели. Спасали детей, берегли, ставили на ноги, как у нас говорится, — всем миром.

### **1. Родные**

Была поздняя весна 1942 года... Разве можно когда-нибудь забыть, как тянулись на восток эшелоны с эвакуированными детьми? Один такой печальный поезд остановился у маленькой станции.

Яркий солнечный день. В пристанционном скверике отцветала черемуха, и белые лепестки тихо осыпались на землю, на плечи людям. Даже на красной фуражке дежурного лежало несколько белых кружочков, будто бы он явился сюда прямо со школьного выпускного вечера, где ребята не пожалели конфетти для гостя.

Встречать эшелон пришло чуть ли не полсела: заранее было известно, что понадобится помощь. Председатель колхоза — молодой еще, в солдатской гимнастерке с пустым правым рукавом, заправленным за широкий ремень, — распорядился на перроне, следил, чтобы у каждого вагона кто-нибудь был наготове.

Открылись двери вагонов, приехавших стали выводить под руки, выносить на носилках.

— Ироды, что сделали с ребятишками! Да как земля терпит, носит на себе этого Гитлера проклятого! — запричитала старуха в черном платке, схватилась за сердце.

— Тише, мать, тише, — остановил ее председатель. — Не ко времени слезы точить. — А сам теребил, рвал ворот гимнастерки, судорожно глотал застрявший в горле комок...

На первых носилках лежала девочка — неподвижная, опухшая, белая, как рыхлое тесто. Она глядела в никуда, в глазах не было живой искры.

— На ладан дышит. Не жилица, — горестно шептались женщины.

— Не время слезы точить, — повторял председатель. — Вон в машине матрацы, укладывают больных.

— Осторожнее, товарищи, потихоньку, товарищи, — просила-хлопотала заведующая кочевым детским домом, типичная северянка-ленинградка, синеглазая, с лицом утомленным и нежным, будто фарфоровым. Седоватые волосы, аккуратно забранные в небольшой узел на затылке, белый воротничок на темном костюме — словно и не с дороги человек.

— Раиса Григорьевна, Раиса Григорьевна, — звали ее со всех сторон, и она успевала от одного своего питомца к другому — кого по голове погладит, кому что-то шепнет.

— Обещала я, что скоро до места доберемся? Вот и добрались, конец дороге. И не потеряли никого, целехонькие. Радуйтесь!..

На «целехоньких» тяжело было смотреть. Но и радость понятна: блокадную зиму пережили, на Ладого от бомбежки ускользнули, из-под обстрела ушли...

Детей разместили в школе. Чисто побеленные светлые классы превратились в спальни — вернее, поначалу в больничные палаты. И как в больнице, каждый пациент имел свою «историю болезни». В «истории» той девочки, над которой женщины вздыхали — «не жилица», — оказалась

такая запись: «Катя Виноградова. Найдена в полуразрушенном доме, извлечена из-под развалин. От соседки узнали, что мать и старший брат Кати умерли. Отец на фронте, адрес неизвестен. Сама Катя ни о чем не рассказывает. Состояние тяжелое, дистрофия»...

Постепенно, день за днем, детский дом оживал. Мало-помалу ребята научились спать спокойно, а днем не ждать, что вот-вот завоет сирена воздушной тревоги. Теперь фронт был далеко от них. Здесь у самого крыльца росла мягкая трава, под горой, как стеклянный, блестел на солнце пруд, за ним расстилалось неоглядное чистое поле. А воздух! Удивительный для горожан деревенский воздух, который пахнет полынью, укропом, сырою землей огородных грядок и еще чем-то, необыкновенно свежим.

— Можно его прописывать и принимать, как лекарство, — говорил старый врач детского дома.

И прописывал щедрыми дозами — чем больше, тем лучше.

Но едва ли не самым целительным средством была доброта окружающих людей. То останавливался возле школы грузовик с подарками от соседних колхозов и расторопные мальчишки таскали на кухню кринки с простоквашей, корзинки с яйцами; то девушки приходили снимать мерку с малышей, шили цветастые сарафанчики; то пионеры являлись с большими пучками щавеля, с лесной земляникой на зеленых тарелках-лопухах.

Сверстники сдружились быстро. На лужайке за домом начались «посиделки» — долгие разговоры, а потом и состязания: кто кого перепоеет, и даже перепляшет. Особенно по вечерам было тут многолюдно — днем сельские ребята работали в поле, на огородах. Вечерние сумерки они почему-то располагают человека к воспоминаниям, иногда к печали. И хорошо, если с тобой в это время друзья...

Только в одной комнате детского дома ни днем, ни вечером не раздвигались марлевые занавески на окошках. Здесь говорили вполголоса, ходили без поспешности — лежащие больные нуждались в покое.

Среди них была и Катя Виноградова. Хотя выглядела она не так плохо, как в день приезда, — легкий румянец появился на щеках, исчезла одутловатость, — но стала часто плакать. Ее пытались утешать — она отворачивалась, закрывалась одеялом с головой.

В Катином сознании, по мере того, как оно прояснялось, все отчетливее возникали страшные картины пережитого. Стена, которая медленно отделяется от дома, клонится, клонится и вдруг оседает каменной грудой.. Мохнатое от инея, как в белой шубе, беспросветное окно... Провал в лестнице... Завернутая в простыню мертвая мама.

— Мама! — кричит и бьется Катя.

— Пожалуй, больничный покой тут уже противопоказан. Попробуем отвлечь ее, — предложил врач Раисе Григорьевне. — Разрешим здешним ребятам приходить к ней в гости. Вон как они с нашими малышами хороводятся. Душевные нянечки.

Сельские тимуровцы были заботливыми шефами малышей да еще помогали поварихе, уборщице, сестре-хозяйке. Раиса Григорьевна давно заметила двух самых безотказных помощниц, приветливых, веселых. Им-то и позволили навещать тихую палату. С одним условием: ни в коем случае не говорить с Катей о войне. Пусть поменьше вспоминает.

Катя встретила гостей настороженно. Кто еще такие? В платках зачем-то. Холодно, что ли?

— Я Люба, — представилась одна гостья, веснушчатая, будто ее обрызгали светло-коричневой краской.

— Нюра, — сказала другая, черненькая, деловито, как для работы, усаживаясь на табурете. — Мы тебе книжку принесли, хочешь? Смотри: «Сказки» Пушкина.

Катя взяла, полистала книгу, хмыкнула:

— Я эти сказки наизусть знаю.

— Ну, другую возьмем в библиотеке, хочешь?

— Мне все равно...

Разговор не вязался.

Так же получилось на другой день и на третий. Катя смотрела исподлобья, с усмешкой.

— Знаться с нами не желает, а мы будем навязываться? — возмутилась наконец Люба. — Не пойду к ней больше.

А Нюра не отступалась. Недаром выныянчила она двух братишек-близнецов, капризами ее не проймешь. Дуется Катерина, форсит, ну и ладно, чего с больной спросишь. Полежи-ка вот так, не вставая, небось тоже не возрадуешься. А подушку поправить, окно закрыть, если ветер озоует, воду в кувшине сменить надо же.

Катя вроде стала привыкать к Нюре, но порой раздражалась и сердилась по самым неожиданным поводам.

— Это ты пела вчера на улице с нашими ребятами?

— Да, — радостно улыбалась Нюра. — Мы нарочно здесь пели, чтобы ты послушала.

— Какой у тебя голос громкий. Я никак уснуть не могла.

— Правда? Так ты велела бы сказать нам, мы бы подалее ушли.

— Ну, ваши голоса издалека слышны. Вы же здоровые.

Выходило так, будто Нюра виновата в том, что она здоровая, что у нее звонкий голос...

Катя никогда не выражала удовольствия при виде ее. Но когда однажды Нюра пришла в детский дом позже обычного, Раиса Григорьевна сказала ей, что Катя очень тревожилась.

— Катенька, я потому опоздала, что наше звено поливало капусту. Нельзя было раньше уйти.

— Подумаешь, нельзя уйти с огорода! Попробовало бы ваше звено дежурить на крыше, «зажигалки» тушить. А тут что?

— Так ведь дождя давно не было. Земля, знаешь, как пересохла? Больше сотни ведер пришлось натаскать из колодца, — оправдывалась Нюра. — Даже руки болят, хотя и привычные.

Нюра могла бы добавить, что овощи с колхозного огорода будут отправлены раненым в госпиталь. Но говорить о войне нельзя. А если Катя сама о «зажигалках» вспомнила, надо, значит, замять разговор, увести в сторону.

— Ой, что у нас было вчера! Братишки-то у меня двойняшки, похожие — капля в капельку. Так вот, Васек чашку разбил, а бабка за это Сережку скалкой огрела.

Катя начала ходить под руку с Нюрой, сначала по комнате, а вскоре и по зеленой лужайке.

«Через недельку поставим ее кровать в общей спальне, пусть начинает жить со всеми вместе. И дежурить будет, и в поле с ребятами ездить, работать. Поймет постепенно, что таких, как она, у нас в доме сто двенадцать человек, что не только ее постигло самое горчайшее горе, — думала Раиса Григорьевна. — Поймет со временем...»

Катя поняла это, вернее, сердцем восприняла вдруг.

В День авиации утром пришел голубой автобус и стар-

ших ребят — сельских и детдомовских — повезли на расположенный поблизости аэродром.

Катя тоже собиралась ехать. Порозовевшая от радостного волнения, она надела новый пионерский костюм — белую блузку и синюю юбку, — завязала красный галстук и сразу стала красивой. Глаза черные, брови будто наведенные угольком, а волосы светлые, легкие как пух.

Она еще ничего не видела дальше своего дома. Другие хорошо знали улицы и проулки села, бывали в поле и в лесу, а для Кати все было внове.

Нюрины подружки сбились в стайку, перешептывались, казалось, почему-то не очень радовались поездке. Одна из них забежала в кабинет Раисы Григорьевны.

— Где же Нюра? — нетерпеливо спрашивала Катя. — Надо послать за ней кого-нибудь, ведь она опоздает!

— Нюра не придет, — сказала Раиса Григорьевна, выйдя на крыльцо.

— Как не придет?

— Она... Она уехала в город.

— В город? А говорила, что будем на празднике вместе. Она же знала, что я жду ее. Как ей не стыдно! — выпалила Катя.

— У каждого человека могут быть свои неотложные дела, — необычно строго одернула ее Раиса Григорьевна.

Катя убежала в спальню, кинулась на кровать. Обида душила ее.

— Подруга! Уехала, ни словечка не сказала. А я ленту разрезала на две части, чтоб у нас одинаковые были банты в косах.

— Ребята, занимайте места, пора трогаться, — торопил шофер автобуса.

Катя встала. Чья-то загорелая рука приподняла край оконной занавески. В комнату заглянула Люба, хотела что-то сказать, но за спиной у нее показалась Раиса Григорьевна, и Любино испуганное лицо исчезло...

Катю поместили на мягкое кожаное сиденье, рядом с шофером. В первом ряду, за кабиной, села Люба. Обернувшись к ней, Катя тихонько спросила:

— Чего ты мне хотела сказать?

Мотор зафырчал, автобус тронулся.

— Нюра-то, Нюра-то вовсе не в городе, — шептала Люба Кате. — К ним похоронка пришла. На отца.

Катя не сразу поняла, потом изо всех сил толкнула в плечо шофера, вскочила:

— Остановите, остановите!

У шофера рука соскользнула с баранки, он рассердился:

— Что еще за фокусы?

— Да остановите же! Раиса Григорьевна, скажите ему! — кричала Катя. — Выпустите меня, я не поеду. Я пойду к Нюре.

Мальчишки что-то гневно говорили покрасневшей, смущенной Любе.

— Ничего, ничего, — сказала Раиса Григорьевна, — не браните Любу. Наша Катя выздоровела.

— Идем к Нюре, я тебя доведу. Я тоже не хочу ехать, — вытирая слезы концом головного платка, заявила Люба.

Девочки пошли вдвоем по широкой зеленой улице...

## 2. Любимица

В просторных, прохладных сенях белый пол чисто выкоблен. С притолоки спускаются крепкие веревки качелей. Крохотная девчушка в упоении качается взад-вперед. Темные глазенки блестят, брови высоко подняты, русые волосы разлетаются — дух захватывает от полета.

— Как тебя зовут, девочка?

— Люба, — отвечает она с веселой готовностью.

— А где твоя мама?

— На работе.

— А кто же это устроил тебе такие хорошие качели?

— Папа.

Из кухни в сени выглядывает бабушка, невысокая, сухонькая, в темном платке на седых волосах. Смотрит озабоченно, ревниво: с кем разговаривалась внучка, не обидит ли ее кто-нибудь ненароком?..

Папа, мама, бабушка да еще старший брат Володя — вот сколько родных у Любы. Это ее мир — добрый, надежный, привычный.

А живет здесь девочка всего четыре месяца, хотя от роду ей года три...

Виктор Петрович Осин и его жена Мария Васильевна немало повидали людского горя, которое, как лихое половодье, ширилось тогда и росло. Машинист-железнодорож-

ник и медицинская сестра, они были на самой быстрине — первыми лицом к лицу встречали эвакуированных.

— Ко многому притерпелась, к этому не могу, — сокрушалась Мария Васильевна. — Мыслимо ли, ребенок только-только ходить начал, первые шаги по земле сделал — и вот, весь в бинтах. Раненый!... А то еще девчоночку никак не забуду — стоит, совсем прозрачная и смотрит глазами, будто спрашивает: «Как же так? Как же так?..» Стоит и смотрит неотступно прямо тебе в душу...

Виктор Петрович помалкивал. Но у него тоже был свой неотступный образ: дитя на руках у дежурной эвакупункта. Женщина кормит его кашей, а малыш — девочка или мальчик, бог весть — раскрывает рот, как птенец в гнезде, тянется к ложке и глотает кашу взахлеб, взахлеб...

Сын Володя со своим ремесленным училищем ездил в подшефный детский дом, возил комсомольские подарки от завода.

— Ну, хорошо ли там ребятишкам? — спрашивала бабушка.

— Неплохо. Сыты, обуты, одеты. Над головой не каплет. Только скучают некоторые, маму зовут. Я сам слышал, когда мы там ночевали.

Бабушка ходила в церковь, вымаливала у бога скорую победу. А один раз Володя слышал, как она в уголке за ширмой укоряла своего темноликого, сурового бога:

— Куда же это годится, господи! Ну, пусть нам по грехам и мука. А малые при чем? Оборони ты их, господи, яви такую милость. Где же твоя защита?..

Словом, когда Мария Васильевна предложила взять на воспитание сироту, никто в семье не возражал. Правда, жились не широко — но ведь как всем по военному времени. И квартира, конечно, не больно велика: две комнатухи на четверых. Ну, где четверо, там и пятому место найдется, тем более что отец постоянно в разъездах.

Пошли супруги Осины в детский дом вместе. Думали, как будут выбирать.. А выбирали недолго — Люба как-то сразу приглянулась обоим. «Курносенькая, славная.. И волосы русые, в нашу родню. Ничего, что худышка, у нас поправится...»

Марию Васильевну, может, больше всего и тронуло, что именно худышка, — защемило женское сердце.

Никто не знал, кто были родители Любы, как она их потеряла. Подобрали ее солдаты где-то на фронтовых перепутьях в самом начале войны. В эшелоне с белорусскими детьми привезли в Куйбышев. Где родилась, как отчество, фамилия, — ничего не известно.

Пока оформлялись документы на удочерение да комиссия из горono придирчиво знакомилась с тем, как живет семья Осиных, Виктор Петрович в свободные после очередной поездки дни навещал Любу в детском доме, приносил гостинцы, сидел с ней. Только разговориться им не удавалось: сам-то он немногословный, да и девочка, видно, «в него».. Все-таки он тревожился, спрашивал воспитательницу:

— Почему она молчит? Может, вовсе говорить не умеет?

— Умеет, — уверяла воспитательница, — просто дичит-ся с непривычки.

И вдруг однажды Люба бросилась навстречу будущему отцу со всех ног. Он подхватил ее на руки, ощутил биение маленького сердца у своей груди, услышал... радостный смех!

Куда девалась стеснительность Виктора Петровича, когда он принялся по телефону отчитывать работника горono:

— Долго еще будете канитель тянуть? Сколько можно? Дома все давно готово, и дочка нас знает, имейте в виду. Еще, что ли, каких-то справок недостает? Кончайте, товарище, заждались мы все...

Поехали за Любой с большим узлом. Мать и бабушка сколько вечеров глаз не жалели, шили-вязали приданое новорожденной. Все в пору, все к лицу, к темным глазам, светлой челочке. Нарядная, тихонькая, вошла девочка в новую семью, стала Любой Осиной, Любовью Викторовной на будущее время.

В детском доме она уже привыкла к тому, что кругом ребята, а здесь были только взрослые. В комнате стояла беленькая кровать: пикейное покрывало, кружевная накидка на подушке.

— Твоя постелька, — сказали Любе.

Нелегко проникнуть в детскую душу, понять, что в ней творится. Очевидным было одно: ребенку не по себе. Ее кормили вкусным обедом, угощали самодельной пастилой из яблок-леснушек, она ела, односложно отвечала на вопросы, перебирала новые игрушки, но все поглядывала кру-

гом вопросительно и беспокойно. Казалось, хотела спросить, что будет с ней дальше, почему она здесь очутилась, надолго ли.

Всю первую ночь на новом месте Люба не спала, без конца вертелась с боку на бок, садилась, вставала в кровати. Ее баюкали, качали, уговаривали, даже на руки брали, носили по комнате — ничто не помогало. Глядя на нее, и мать и бабушка извелись, измучились. Когда же наконец, уже под утро, дочка затихла и вроде уснула, Мария Васильевна склонилась над ней и увидела широко раскрытые глаза, полные слез.

— Будто ножом полоснули меня по сердцу, — говорила после Мария Васильевна. — Если бы она по-детски вслух плакала, не так было бы жалко. А то ведь лежит такая кроха и молча что-то переживает...

Но как цветы поворачиваются к солнцу, так и ребенок безошибочно чувствует ласку и тянется к ней всем существом. Люба очень скоро уверилась в том, что она среди своих и больше никуда ее не повезут. Целыми днями не затихает в доме топот неугомонных ножек, не смолкает веселая болтовня — ошибся отец, не совсем в него дочка, но это ничуть ей не в укор.

Люба уже знает, что мама не любит, когда берут пальцы в рот, бабушка не велит терять носовой платок, Володя не хочет, чтобы трогали его книги. Подчас, может, и трудно обо всем помнить, но Люба старается.

— Послушная... Нет в ней никакого упрямства. Хороший будет характер, — радуются взрослые. И точно состязаются в том, кто больше сделает приятного малышу.

Ласковая, общительная, она стала любимицей не только всей семьи, но и соседей, родных, знакомых. Когда она выходит гулять в белой шапочке и таком же пальтишке, соседи называют ее Снегурочкой. А Володя, которому идет шестнадцатый год, солидно говорит:

— В случае чего я сам ее довоспитаю, можете не сомневаться...

Бабушка любовно следит за внучкой из-под очков и вдруг замечает неладное:

— Ох, косит, косит правый глазок!

— Что вы, мама! — отмахивается Мария Васильевна.

Но глазок и вправду косит немного: то будто прямо смотрит, то чуть-чуть в сторону.

Любу показали врачу.

— Видимо, это на нервной почве, — сделал он заключение, — в спокойной обстановке должно пройти.

Как не вяжется одно с другим — трехлетний человечек и... нервное потрясение. Неизвестно, что довелось испытать девочке, но когда весенним вечером зазвучал по радио сигнал учебной воздушной тревоги, Люба затрепетала, прижалась к матери, закричала:

— Самолет, самолет...

Было ясно: видела она самолеты с крестами на крыльях, сеющие смерть, помнит их.

Бабушка, спасибо, не растерялась, кинулась к репродуктору:

— Ах ты, негодник, черная твоя образина! Ишь, разорался, горлопан. Я вот тебе задам перцу с солью, — и выдернула вилку из розетки. — Ага, замолчал! То-то.

Такую разыграла сцену, что Любе смешно стало...

Пошла однажды Мария Васильевна с дочкой в кино. И никогда не забудет тот вечер, не устанет вспоминать:

— Сидит она у меня на коленях, а на экран и не смотрит, все мне в лицо заглядывает. Я перед этим много работала, дома бывала урывками, вот она и соскучилась, стало быть. Обняла меня за шею крепко-крепко и говорит, да звонко так, на весь зал: «Мамочка моя дорогая!». Я ей тогда: «Тише, дочка, тише, здесь нельзя шуметь», — а самой хочется, чтобы все слышали, как она меня называет: «Мамочка моя дорогая»...

## РЕШЕНИЕ ОБЛИСПОЛКОМА О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРИЕМЕ В ОБЛАСТЬ ЭВАКУИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ

25 июля 1942 г.

Исполком облсовета депутатов трудящихся решает:

1. Принять в область дополнительный контингент эвакуированных детей в количестве 1300 чел.

2. Обязать председателей исполкомов Елховского, Николо-Черемшанского, Шенталинского, Чердаклинского, Мало-Кандалинского, Шигонского, Кинельского, Старо-Майнского, Безенчукского, Сызранского и Мелекесского райсоветов депутатов трудящихся принять детей в соответствии с приложенным планом, подготовить помещение, необходимое оборудование, питание, медицинское обслуживание, топливо к 10 августа с. г.

3. Зав. облоно тов. Чепурнову обеспечить все вновь открываемые детские учреждения руководящим и воспитательским персоналом.

4. Облздравотделу обеспечить медицинскую помощь, медико-санитарное обслуживание эвакуированных детей и контроль за санитарным состоянием помещений, где будут размещены дети.

5. Облторготделу тов. Акимову и председателю облпотребсоюза тов. Галкину выделять для всех районов, где организуются детские учреждения, с августа продукты питания по утвержденным для детдомов нормам. Обеспечить полную реализацию выделяемых нарядов и установить строжайший контроль за доведением их до организуемых детских интернатов.

Председатель исполнительного комитета  
облсовета депутатов трудящихся Н. Васильев

За секретаря исполкома облсовета  
депутатов трудящихся А. Ланков

## СПРАВКА КУЙБЫШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТЕ ШКОЛ ЗА ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

15 июня 1945 г.

«Все для фронта, все для победы!» Этот лозунг был положен в основу задач советского народа с первых дней войны.

В соответствии с требованиями военного времени перестроили свою работу и школы гор. Куйбышева.

Летом 1941 г. учителя и учащиеся школ работали агитаторами среди неорганизованного населения (157 человек) и на агитпунктах (313 человек).

Большая работа была проделана по выявлению работоспособного населения города для мобилизации рабочей силы.

В связи с введением карточной системы по школам были организованы пункты для выдачи стандартных справок. Учителя несли на этих пунктах круглосуточные дежурства.

В годы Отечественной войны каждое лето учащиеся и учителя работали на сельскохозяйственных работах в колхозах и совхозах области.

Горячие отклики среди учащихся и учителей встретило мероприятие по созданию фонда обороны страны. Были собраны денежные средства в фонд обороны страны на танки и самолеты.

Для бойцов и командиров Красной Армии школьники собирали теплые вещи, отправляли посылки.

Для детей эвакуированного населения и освобожденных районов собирались различные вещи, деньги и книги.

Все школы города работали на воскресниках: старшие классы работали на земляных работах, на железной дороге

по разгрузке различных материалов, младшие школьники собирали металлический лом и лекарственные растения.

Большую работу проводили учителя и старшие учащиеся с населением города по линии ПВХО.

Много работали школы по подготовке зданий школ для госпиталей, вели шефскую работу по обслуживанию раненых бойцов.

Все школы города в течение всего периода Отечественной войны имели тесную связь с фронтом через переписку с бойцами, из которых многие являлись учениками городских школ и были награждены на фронте высокой наградой. Например, бывший ученик 63-й школы Свержинский — трижды орденноносец, Хайкин — дважды орденноносец, Менкин — дважды орденноносец и др.

Школьники города оказывали большую помощь семьям фронтовиков, ухаживая за маленькими детьми, обеспечивая семьи колкой дров и т. д.

Активное участие школьники принимали в подготовке школ к новому учебному году, они ремонтировали здания школ, школьную мебель, учебно-наглядные пособия, заготавливали, грузили и подвозили дрова к школам.

Трудно перечислить все виды работ, в которых принимали участие учителя и учащиеся по укреплению тыла и в помощь фронту в дни Великой Отечественной войны.

Зав. горono  
Зам. зав. горono

Капранов  
Виноградова

## **У ОГНЯ ЛУЧИНЫ**

Когда подъезжаешь на автобусе к Серноводску, перед тобой открывается гряда высоких холмов. Шоссе разрезает ее у подножия Шихан-горы. Холмы каменистые, растет на них главным образом полынь, да и та чахлая. Во впадинах и на южных склонах поближе к грунтовым водам, скрытые холмами от зимних степных ветров, притаились дубовые вперемешку с осиной рощицы.

Вдоль этих холмов вправо от Шихан-горы и шоссе ведет проселочная дорога в глубинку.

Каждый раз, когда я из автобуса гляжу на уходящую в степь дорогу, в душе моей и памяти оживает далекое прошлое.

Несколько лет назад мы с братом Василием на машине проехали по ней в родные памяти места. Но это пустое дело — вспоминать, сидя за рулем и давя ногой на акселератор. Вредное дело. Над памятью издеваться. Мелькают километры на спидометре. Летят мимо тебя, твоей души годы. Чьи-то лица, обрывки фраз, слезы и смех, и уже чьи-то судьбы и целые жизни мелькают, будто придорожные камни. И твоя жизнь — тоже.

Обязательно бы надо сделать так: купить билет на рейсовый автобус Куйбышев — Серноводск и уже в пути готовить себя к встрече с холмами и дорогой. И у развилки попросить шофера остановиться. Выйти, взбросить на плечи рюкзак и ступить на ту самую дорогу. И сказать: «Ну, здравствуй. Видишь, я не забыл тебя. Как ты живешь? Ну, идем вместе. А ты поможешь мне: нет, нет, я ничего не забыл! Но вдвоем все-таки надежнее. И ты подскажешь, если что-то ушло в забвение. Очень мне это нужно сегодня».

**Да, сделать так!**

...Зимой 1943 года мою мать Елену Андреевну вызвали в облздравотдел и предложили возглавить сельскую больницу. Она согласилась. Это было кстати: к тому времени мы радовались уже и каше из немолотой пшеницы.

Мне не исполнилось еще и пятнадцати лет, брату Василию чуть-чуть не хватало до тринадцати, а сестра Елена на будущий год собиралась в первый класс.

Сумеречным утром поезд остановился у станции Серноводск.

Во время войны нынешний курорт Сергиевские Минеральные Воды был предназначен для лечения выздоравливающих раненых. Мы, ребятишки, забыв про вещи, во все глаза глядели, как из соседних вагонов — кто на костылях, кто сам по себе — выходили военные. Они осматривались вокруг, негромко окликали друг друга. Кого-то пронесли на носилках, потом еще. Кто-то сердито попросил нас не мешаться на дороге.

Скоро поезд ушел, увезли раненых, и только теперь мы заметили, что матери с нами нет. Лялька — так мы звали сестру в детстве — собралась было уже захныкать, но тут показалась мать.

Рядом с нею шагал человек чуть повыше меня ростом с кнутом в руке. Был он в огромных подшитых валенках, в старом полушубке, подвязанном кушаком.

— Это Устюм, — сказала мать. — Конюх из больницы. Пахло от него овчиной и чем-то деревенским.

Устюм оглядел кучу узлов и покачал головой:

— Э-э, сдюк<sup>1</sup>. Не пойдет, токтор.

— Что не пойдет?

— Вещей мноко, саней мало. Лошадь слап. Самим пешком идти? Тритцать верст, токтор.

— Как же быть?

— Тумать нато.

Вещи договорились оставить у начальника станции дня на два. Взяли с собой самое необходимое. И с этим-то едва уместились в мелких розвальнях. Устюм сел в передке саней к вожжам. Мать с сестрой закуталась в тулуп. Мы с братом кое-как уселись на узлах.

<sup>1</sup> Сдюк (чуваш.) — нет.

И поехали. Синева утра поблекла, день обещал быть тихим и неморозным. Над избами в недалеком селе под самое небо уходили дымы. Пахло жильем, собаки лаяли лениво и незлобно. Удивительная тишина и покой даже настораживали...

Сонная, заросшая тальником речка показалась впереди. Под копытами лошади гулко и мерзло отозвался деревянный мост. Ворона чистила черный клюв о перила. Она нехотя поднялась, прошуршала над нашими головами.

— А что они едят здесь? — спросил брат.

— Кто?

— Птицы.

Я тоже не знал, что едят птицы в пустом зимнем поле. Я достал из сумки кусок хлеба, разделил его, дал брату и Устюму. Мать с сестрой дремали в тулупе.

— А у вас в деревне хлеб есть? — спрашивал брат Устюма.

— Есть немного.

— А картошка?

— Немного есть.

— А вы были на фронте?

— Нет. Старый я.

— Можно мне вожжи взять? Я править лошадю буду.

— Мошно...

А лошадю-то и нечего было править. Она сама знала, как ей идти и куда. Дорога вела к дому, сему и теплу конюшни. Дорога была дальней. Да и некуда с нее сворачивать: вокруг лежали не тронутые даже и птичьим следом снега.

— Но-о, — покрикивает Васек.

Откуда-то у него бас взялся.

А лошадь в его строгость не верит. И шаг ее по-прежнему размеренный, испытанный за много лет бесконечной дороги.

Устюм вылез из саней, идет сзади — ноги разминает. Махорочный дымок пахнет на морозе сладко и едко. Хорошо.

Я прыгнул на снег, подошел к Устюму и шепотом (мать бы не услышала) и робко (вдруг Устюм за уши отдерет) попросил закурить.

— На, кури, — сказал он громко и охотно.

Кисет у него был кожаный, затягивался сыромятным,

уже потемневшим ремешком. Самосад — чудо! Такой в городе обходился по 50 рублей за стакан. Я старался не уронить ни табачинки. А потом... Потом Устюм подал мне самое настоящее огниво! Я только слышал о нем и мечтал, но ни разу не видел.

В дороге никакие спички его не заменят. Небольшой камень-кременшек в синих прожилках — будто застыли в нем молнии. К нему прикладывается трут — волоконец высушенного мха. В правую руку надежно ложится откованное кресало. Теперь ударить бы поточнее, чтобы кремневая искорка угодила на мох и зажгла огонь. А пальцы береги: очень даже больно бьет кресало.

Я высек огонь с одного раза, хотя и по пальцу угодил. — Устюм, продай мне огниво! — невольно вырвалось у меня.

— Сачем протай? Так пери.

— Вот уж спасибо, Устюм!

— Сыну телал. Хотел на фронт посылать. Письмо получил: упило сына. Нету сына. Ты восьми. Тепя как совут?

— Андрей.

— Мой сын Екор пыл... Кури, кури, Антрей. Путь тлиный. Тапак есть.

Хороший, добрый Устюм, чем я могу помочь тебе в твоём горе?

Если бы мне было немного побольше лет, я бы сейчас тоже воевал. И кто знает, вдруг я оказался бы в тот трудный смертный час рядом с Егором и выручил бы его. Обязательно бы выручил! А потом мы добыли бы огня от твоего огнива, Устюм...

Нет, мать увозит меня подальше от войны. А я послушно еду. И не знаю, чем я могу помочь Устюму, солдату, вставшему на место убитого Егора, Родине.

Война коснулась меня только краешком, тихим краешком...

Мы жили в поселке на Красной Глинке, мать работала врачом в здравпункте. Она возвращалась домой уже к ночи. Мы вдвоем ждали ее шагов к крыльцу барака, ждали настроженные и голодные.

Раньше, когда в доме водились кое-какие продукты, мы с братом варили что-то съедобное к ее приходу. Мать хвалила нас: «Очень вкусно». Потом, к зиме, наши заботы упростились: нужно было выучить уроки, на что уходило



вовсе немного времени, и поддерживать тепло в двух комнатах барака. Ненадежное тепло. И ждать, когда мать постучит в дверь.

Ждать просто так, когда идет война, — самое трудное, даже если ты еще совсем мальчишка и горести доходят до твоего сознания сквозь ребячью слепую надежду: завтра все будет лучше.

Часто отключали свет, и никогда потом я не встречался с такой пронзительно черной темнотой, какая наступала в холодной комнате с занавешенными маскировочными шторами окнами.

— А мама придет? — спрашивала сестра почти шепотом.

— Придет, придет.

— А почему же она не идет?

— Видишь, свет погас. Как же ей идти впотьмах?

— А почему он погас?

— Потому что погас! — не выдерживал брат. — И перестань почемукать. Пискаля ты... Андрей, подыми штору, и в самом деле боязно что-то.

Зимняя серая ночь властвовала за окном. В ней стили черные деревья. Длинные, без единого огонька, бараки тонули в снегу. Стужа. И где-то в стуже и ночи торопится мама...

И еще я помню: каждый вечер местный радиоузел проигрывал одни и те же бодрые пластинки. Но в памяти осталась только одна мелодия — увертюра к опере «Кармен». Странно, ошеломляюще странно звучала эта музыка в холодной темной комнате...

— Пора топить печку! — командовал Васек. — Скоро мама придет.

Да, пора. Мама, как всегда, промерзла. И тьма отступит. Мы разжигали буржуйку...

Сейчас я подумал: а почему люди называли немудреное устройство буржуйкой? Название родилось, наверное, еще в годы гражданской войны. У кого в доме печь, значит, есть тепло среди смутной и холодной зимы. А тепло — это Тепло и Кипяток, сухие Портянки и живой Огонь, глядя на который обязательно мечтается о прекрасном. Чего же еще более богатого желать?..

Топить буржуйку — это было славное дело! Огонь торжественно гудел в железном ящике. Держись, мороз! Железо потрескивало, потом местами накалялось докрасна.

до малиновых искр. Мы садились у самой дверцы, а затем, когда лицам становилось нестерпимо горячо, а спинам было по-прежнему холодно, отодвигались от жара все дальше и дальше. Тепло достигало промерзших до инея углов, окон, и с них уже начинало капать — стекали морозные узоры на стеклах. Закипал чайник. Он был из какой-то авиационной детали, с веселым свистком-караульщиком.

Мы с братом подкладывали запасенные правдами и неправдами дрова и спорили: сколько звездочек на погонах старшего лейтенанта и капитана и кто из них старше. Недавно ввели новую офицерскую форму, казалась она всем диковинной.

А вот и стук в дверь! Мы опрометью бросались навстречу матери.

— Мам, мы есть хотим!

— Сейчас, сейчас. Я только обогреюсь немного. Какие вы молодцы у меня: натопили. Что бы я без вас делала?.. И чай уже готов? Совсем хорошо.

А я или Васек уже ставили на печку сковородку и открывали материну сумку: что она принесла? И принесла ли?

И однажды вечером мать сказала:

— Ну, дети, давайте собираться. Мы уезжаем в деревню.

...Остались позади холмы. Неяркое зимнее солнце стояло над равниной. Дорога шла то полями, то вдоль речки, обозначенной тальником, торопилась в неглубокий овраг и медленно взбиралась на подъем. От лошади парило, шерсть ее покрывалась инеем. Я шел пешком и обирал сосульки с ее губ.

— Но-о, — покрикивал Васек.

Мать откинула ворот тулупа. Задумчиво глядела она на дорогу: как-то все сложится впереди?..

— Устюм, а сколько в нашей больнице лошадей?

— Тве.

— И вторая такая же дряхлая?

— Тряхлая, — вздыхал Устюм. — Корма сук, спруи сук.

— А дрова есть?

— Есть немноко.

— Как же мы будем работать?

— Нато рапотать, токтор. Очень нато.

— Да, надо.

Мать выпрашивала у Устюма, сколько в больнице коек,

далеко ли ближние села, хороший ли человек председатель сельского Совета.

— Сачем плохой? — отвечал Устюм...

Мы подъезжали к своему новому дому уже в сумерках — только-только погасла оранжевая закраина неба. В избах кое-где светились огни. Кто-то с ведрами на коромысле проводил взглядом наши сани. К ночи морозило, снег скрипел. Лошадь уже из последних сил вышагивала последние метры дороги. Мы свернули в проулок, кто-то посторонился, ступив в глубокий сугроб, и поздоровался. На бугре стоял большой шатровый дом, окна его были черны.

— Приехали, токтор, — сказал Устюм и стал отворять ворота.

## О терпении и хлебе

И здесь, в деревне, мать целыми днями была на работе. С утра она принимала больных в амбулатории, потом — обязательный обход стационара. И еще копились хозяйственные дела: достать хотя бы соломы для лошадей, приготовить дров прожорливым печам, добыть лекарства, без которых уж вовсе нельзя было обойтись в сельской, затерянной в снегах больнице.

На срочные вызовы в соседние села мать часто брала с собой меня.

С помощью Устюма я скоро постиг немудреное искусство управлять полуголодной и мирной по старости лошадю. Их было две в больничной конюшне: Портной — мерин, и кобыла Лысуха. Устюм был прав — обе они были «тряхлые».

Я выезжал с матерью за возницу. Устюма, единственно-го мужчину в больнице, на все не хватало: ему нужно было напилить и наколоть дров, чинить ветхую сбрую. И мало ли еще что сделать по хозяйству.

Мы с Устюмом запрягали Портного или Лысуху в возок, я кидал в него охапку соломы и совал под мышку кнут, в общем-то бесполезный, — лошади брали в рысь только с горы. Я укутывал мать в казенный тулуп и разбирал веревочные вожжи.

— С поком, токтор, — провожал нас Устюм.

Мы выезжали в одно из соседних сел километра за три-четыре.

— Ты понимаешь, сын, — говорила мать, — в чем наша с тобой трудность? Лекарство и мой опыт — этого недостаточно сейчас. Голод, а еще больше — горе страшнее всяких болезней. Я все время ищу слова утешения для вдовы или матери, у которой погиб сын. Лекарства — вот они, в сумке. А как найти слова?.. И знаешь еще что: я сама учусь терпению у своих больных. Великому мужественному терпению. Сейчас, кажется, это и есть главное лекарство. А слова мы с тобой найти обязаны. Как ты думаешь, сын?

— Да, мама. Скорее бы дожить до весны. Тогда будет легче, правда?

— Весны-то я и боюсь больше всего.

— Почему?

— Ты заметил неубранный хлеб в полях?

— Да, не успели. Некому было.

— К весне, когда совсем станет трудно с едой, зерно станут собирать из-под снега. А в нем будет яд.

— В элеме яд?! Так не может быть, мама! Ведь это же хлеб.

— Да. И все-таки может быть. Когда я говорю об этом на приеме в амбулатории, в больнице, я вижу — мне никто не верит. Да и как поверить, ты прав...

Я поверил, осознал это спустя много лет, когда стал взрослым и вместе с матерью вспоминали мы ту весну.

Разве Хлеб может стать смертью? Здесь не поможет ничей научный авторитет — поверить в такое невозможно.

Хлеб — во всем русском языке слово коренное, вечное.

Приходят в речь новые слова, отжившие свое — умирают.

Слово «хлеб» не требует никакого украшения. Скажешь или напишешь — «хлеб», и в нем все: жизнь, победа, человек...

Но в ту весну — мало ли выпало на нашу долю испытаний — к великому терпению прибавилось испытание несказанное: видеть хлеб, держать его в горсти и не есть. Нельзя! А в избе и печи пусто. А надо кормить детей — продолжение твоего рода, будущее России. И главное в ту весну — растить новый хлеб: не самое ли необходимое в предстоящей победе? Где же взять силы и на терпение и на работу в поле за двоих, за троих?

Да, болели и умирали люди, не выдержавшие искушения съесть испеченный из перезимовавшего под снегом зерна хлеб.

Их нельзя упрекнуть в невежестве. Невозможно поверить, что ты своими же руками вырастил погибель себе! И не ради ли того ешь ты этот хлеб, чтобы осилить тяжесть весенней борозды во имя жизни и победы?

Все было поднято на ноги для борьбы с бедой.

По письму райкома партии из Куйбышева прислали самолет с бригадой врачей, с медикаментами, шоколадом и глюкозой. В селах были открыты питательные пункты. На участках с неубранным хлебом поставлены караульные. Больница превратилась в штаб. На крайний случай самая большая комната в нашем доме была предназначена под больничную палату.

Мать мы, ребятишки, не видели целыми неделями. Заглянет домой:

— Живы?

— Живы.

— Руки, ноги целы?

— Целы.

— Ну и слава богу! Побежала я, некогда.

Меня с собой в поездки мать больше не брала. Она боялась, как бы где нечаянно я не попробовал того самого хлеба. С ней такой случай был. Остановилась она в одной избе. Хозяйка рада: как же — доктор приехал, гость редкий.

— Сейчас я вам, доктор, блингов подам. Прямо с пылу с жару.

— Что ж, не откажусь.

Подала хозяйка блины.

— Угощайтесь! С дороги-то.

— Спасибо... А где же ты, хозяйка, мукой разжилась?

— В поле насобирала да и смолола.

— И много ты съела сама?

— Вчера пекла, и нынче вот... Разговорелись. Теперь жить можно.

— Ну, собирайся, поедешь со мной в больницу.

— В какую больницу? Мне коров на ферме доить! Телята непоенные...

Беда пошла на убыль к лету, когда начали поспевать первые овощи, когда, собравшись всем миром, посеяли новый хлеб и жить стало надежнее...

## Самый вкусный мед

Я и сейчас могу сварить затируху — главное блюдо по тому военному лету.

Это нетрудно: просеять немного муки, горсти две — не больше, ведь надо оставить и на завтра. Влить чуть-чуть воды. Перемешать рукой, чтобы мука свалялась в комочки. А к этому времени уже держать кипящий чугунок. Бросить все в него. И пока варево кипит, мелко нарезать зеленый лук, если он уже поспел. Ну, конечно, посолить, если есть соль. Ведь не всегда и соль в доме водилась. Эх, как бы раздобыть ложку подсолнечного масла! Или хотя бы конопляного. Чтобы маленькие золотые солнца в чугуне радовали глаз. А уж теперь бы забелить молоком!

Вот и все готово. Чуть-чуть подождать, пока остынет, и — хвали знай! Да не больно спеши с ложкой-то, черед соблюдай!..

И сварили однажды в доме кашу. Пшеничную. Как янтарь — пшенинки! И одна к одной — сосчитать можно. Сварили на молоке, и должно быть поэтому на краях горшка образовалась хрустящая корочка. Не пожалели в кашу и настоящего скоромного масла.

Праздник!

Нет, пынче таких каш уже не варят!

А в городе — и замахиваться нечего. Горшок глиняный обожженный нужен и русская печь с березовым живым огнем.

Разделили кашу, и досталось всем ложки по три. Большие ложки.

Сели за стол. Оглянуться не успели — а где же каша-то?

Брата Василия за столом не было. Работал он на колхозном пчельнике. Пчеловодство вел старик Максимыч. Был он красив: высок и прям, с кудрявой головой, борода серебряная. Детей своих я у него не помню. Привязался он к брату Василию, может быть, потому привязался, что тот тоже любил все живое — будь то пчела или лошадь. С ут-

ра до вечера пропадал Васек на пчельнике. Идти к нему было километра три.

И послали меня отнести Ваську тарелку каши.

Иду я полынной околицей, потом овражками сырыми. Тропка в поле вывела. Жарко и ясно. И незаметно для себя стал я по щепотке пробовать кашу — из своей тарелки вроде бы не успел вкуса разобрать. Да и ел ли я ее? Что-то не чувствуется.

Когда подошел я к опушке липовой рощицы, где раскинули пчельник, каши на тарелке не набралось бы и щепоти.

Что делать? Возвратиться? Сказать, что споткнулся в овраге и... Ведь так могло быть? И никто не узнает...

И сейчас бы и, должно быть, особенно сейчас не простил бы я себе, если бы сделал так, как точил негодный червячок.

Я пришел на пчельник. Максимыч и Васек с дымарем в руках, с сетками на головах проверяли сотовые рамки в ульях. Занятые своим делом, они не видели меня.

— Васек, — сказал я, как топором отрубил, — я ведь съел твою кашу.

— Какую кашу?

— Вот тарелка... Варили дома. А я нес тебе и...

Максимыч сквозь сетку поглядел на нас обоих, улыбнулся:

— Дай-ка тарелку-то, — попросил он и вырезал из рамки добрую долю сотового горячего меда. — Идите-ка, побалуйтесь. Вы оба заслужили.

Никогда потом я не ел такого вкусного меда...

## **Спектакль в нетопленном клубе**

Горькая однажды выдалась мне встреча...

Было это лет пять назад.

Чугунная болванка, подвешенная на тросе к стреле автокрана, с размаху ударялась о бревенчатую стену. Трещали стропила, со звоном сыпались стекла. Верхние венцы косились от ударов и, наконец, рассыпаясь, падали на землю. Углы нижних венцов, рубленные «в лапу», кряхтели, но еще держались.

Я стоял неподалеку.

Можно ли что-то толково сказать о своих чувствах? Ломали школу, где я и мой брат, а потом сестра учились в 1943/44 году. Вот какая вышла встреча.

Я с горечью смотрел, как крановщик, еще совсем молодой, азартно дергал рычагами, стараясь размахнуться болванкой пошире и угодить, как говорится, под самый дых: «Эх, мол, с одного бы разу — делу конец!».

Парень видимо устал, он выключил двигатель и, оставив кабину, подошел ко мне. Достал пачку сигарет, мы закурили.

— Вот строили предки, а? — и с досадой и с уважением сказал он. — Насмерть держится старуха!

— Зачем же ломать? — спросил я.

— А тут новую школу поставят.

— Так сперва поставьте. Предки так делали. Тесно, что ли?

Я показал на соседний пустырь.

— Там клуб должен быть. Видишь, и стройматериалы уже подвозят.

Я заметил это и раньше. И новая школа — конечно же, это хорошо. Она встанет светлой и просторной.

Но это будет уже не моя школа!

Жаль, я совсем немного опоздал, дня на два. Позавчера еще я успел бы войти в прохладные сени с перекошенным и даже покатым полом. Потом прошел бы коридором с неизменной лавкой и ведром с водой. Может быть, напился бы из него, как когда-то. Вкусная была вода! А вот и наш класс! В нем стояли парты, за которыми с трудом умещались мы, старшеклассники. Мы сидели скрючившись, у нас болели коленки. Учителя разрешали нам отвечать не вставая. Это был мой класс! Здесь я написал свое первое школьное сочинение. «За что я ненавижу фашистов» — так называлось оно.

Где-то хранится у меня до сих пор двойной лист из тетради. Я перерыл весь дом, но не нашел. И так почти всегда: пустяки лежат на виду, просятся в руки, дорогое теряется...

Крановщик поплевал на огонь сигареты и снова полез в кабину.

Уж лучше бы я совсем опоздал и вошел уже в новую школу.

...Однажды — дело уже близилось к зиме — к нам в восьмой класс пришел Данила Матвеевич, он заведовал избой-читальней. Это был старик чувашин, носил он черную косоворотку с белыми пуговицами, очень хорошо говорил по-русски. Вечерами мы ходили к нему играть в шахматы и всегда заставляли его с книгой в руках у плохонькой керосиновой лампы. Пришел к нам Данила Матвеевич и предложил, как показалось с первых слов, невозможное и столь же интересное: создать драматический кружок. Данила Матвеевич хорошо понимал, какое это важное дело: в глухой полуголодной деревне, где не было радио и кино, куда газеты приходили раз в неделю, когда чуть ли не в каждой избе уже висел портрет мужа, сына или отца в черной рамке, хотя бы кое-как, пусть и на гвоздях, сбить спектакль.

Данила Матвеевич принес и положил на учительский стол тощенький журнал, какой — сейчас не вспомнить. Он не говорил нам, восьмиклассникам, высоких слов об искусстве, о его силе сейчас, когда гремят пушки.

— Хотите, я прочту вам пьесу? — спросил он и надел очки.

— Хотим.

— Ну, слушайте.

Пьеса называлась «Балтийский мичман». Она была одноактной, события в ней происходили на фронте Великой Отечественной войны. Раненого балтийца укрывают жители городка, только что занятого врагом. Моряка ищут. Он погибает в жестокой схватке, призывая друзей-однополчан отомстить...

Данила Матвеевич закончил чтение и снял очки. Он ни о чем не спрашивал.

Быть или не быть драматическому кружку — никто из нас об этом уже не думал.

Действовать. Сражаться. Отомстить! И как жаль, что пьеса так коротка!

Кружок возглавила учительница Ирина Авдеевна. Она преподавала нам историю и химию, зоологию и... все что угодно, на что не хватало учителей. Она курила махорку и, наверное, поэтому говорила басом. Мы побаивались ее решительного характера. О своем муже Ирина Авдеевна ничего не знала с самого первого месяца войны.

Данила Матвеевич ушел, пьеса осталась в классе.

Никто из парней — а было-то нас всего несколько человек — не хотел играть фашистов, падающих под меткими выстрелами моряка.

Бросили жребий. Сражаться и погибнуть мичманом Балтийского флота досталось мне.

Мы засиживались в школе с Ириной Авдеевной до ночи, забывая об уроках и еде. Ирина Авдеевна была нашим режиссером и постановщиком, художником и костюмером, портным, суфлером.

На репетициях Дуся Шишова, игравшая патриотку, никак не могла выговорить «хейнкель». У нее выходило «хренкель». Она без конца твердила:

— «Хейнкель», «хейнкель», «хейнкель»...

Данила Матвеевич не пропускал ни одной репетиции. Он сидел, никогда ни во что не вмешиваясь, довольный и серьезный. Он верил нам.

Самым трудным оказалось — нет, не режиссура и создание образа — очень простое: найти флотскую тельняшку. Потому что какой же моряк без тельняшки?

Обошли все село, и наконец... Собственно, это давно уже была не тельняшка, а просто полосатая тряпка. Ее выстирали и выгладили, Ирина Авдеевна добавила недостающие рукава и спину, а синие полосы нарисовали чернилами. О бескозырке нечего было и мечтать.

Премьера состоялась незадолго до Нового, 1944 года.

Данила Матвеевич разослал ребят по селу с приказом: обойти каждую избу и собрать всех от мала до велика, кто может сделать самостоятельно хотя бы несколько шагов.

Наш театр не начинался с вешалки. Она была просто-напросто не нужна. В клубе — бывшей деревянной церкви с обрушившейся колокольней — не топили, должно быть, с первой военной зимы.

Мы шли от школы по тропе уже в костюмах и гриме, дрожа от волнения и ожидания прекрасного.

Занавес, сшитый из больничных простыней, сверкал белизной.

Две керосиновые лампы-семилинейки горели по бокам сцены на удивление ярко и ровно.

Самые малые ребяташки с мокрыми от холода носами уже расселись по рампе.

В зале слышался сдержанный говор взрослых, почти одних женщин. Они сидели в полушубках, ватниках, платках и варежках. Старик Максимыч ради торжественного случая подстриг свою бороду. На передних скамьях устроились председатели колхоза и сельского Совета, аптекарь Андрей Андреевич, директор школы Андрей Иванович, сестра-хозяйка из больницы тетя Ганя, учителя. Моя мать, кажется, выехала по срочному вызову.

Все было готово.

Данила Матвеевич взялся за шнур занавеса.

Брат Васек держал наготове лист железа и ждал сигнала изобразить гром винтовочного выстрела.

— «Хейнкель», «хейнкель», — повторяла последний раз Дуся Шишова.

Ирина Авдеевна осенила нас крестом и дала знак — занавес открылся.

Раненый, с обвязанной бинтами головой, балтийский мичман, дрожа и от волнения и от холода в одной тельняшке, слабым голосом произнес первую фразу:

— Эй, есть тут кто-нибудь живой?

А еще через несколько минут Дуся Шишова, высматривая в окно приближающихся фашистов, сказала:

— Наш дом разбомбило «хренкелем».

Никто в зале не заметил ее оговорок. События, происходящие на сцене, захватили все внимание. Ведь именно в эту минуту где-то далеко отсюда раненым моряком, пехотинцем, танкистом мог быть сын, муж или брат любой из сидящих в зале женщин. И каждая из них сейчас, как и Дуся Шишова на сцене, рисковала жизнью.

А все мы вместе стали участниками маленького эпизода великой судьбы за судьбу Родины...

Много позже, в институтском драматическом кружке, играл я пушкинского Сальери. Режиссером был настоящий художник, заслуженный артист РСФСР И. Колин. Мы достали великолепные костюмы: камзолы, жабо, парики. Звучала музыка Моцарта в лучшей записи. И спектакль ставился в Литературном институте имени М. Горького. Но это было просто лицедейством с безукоризненно отработанными мизансценами, выученной интонацией и жестами в монологах.

А подлинное искусство родилось тогда, в нетопленном деревенском клубе...

Той зимой мы поставили еще один спектакль — «Бешеная собака».

И с каким же наслаждением корчился я на сцене в смертных муках, изображая фашистского офицера, умирающего от укола деревенского фельдшера.

Данила Матвеевич был мудрым человеком.

Жив ли он теперь? Узнать бы.

Я говорю ему спасибо сейчас, потому что тогда, в свои пятнадцать с небольшим лет, я это сделать, конечно, не догадался.

### **Ромоданыч, Настя и «Путиловец»**

Летом я поступил работать в тракторную бригаду. Учетчиком.

Когда я пришел в поле первый раз, поднимали паровой клин.

Бригадир Ромоданыч, большой и сильный человек с орденом Красной Звезды и пустым рукавом, заправленным под ремень гимнастерки, знакомил меня с хозяйством.

— Главную свою задачу знаешь? — спросил он, подходя к бочкам с керосином.

— Учитывать, — легко сказал я.

— Что учитывать-то?

— Ну... все.

— Что ж, а пожалуй, и верно. Учитывать надо уметь все. Особенно теперь. — Он проверил, плотно ли закрыты пробки в бочках. — Запомни, главная твоя забота — горячее. Понял?

— Понял.

— Под вагончиком брезент лежит, принеси-ка.

Я принес.

Ромоданыч покрыл им бочки и сказал:

— На испарении тоже надо экономить... А пуще всего береги вот эту бочку. В ней бензин для пуска трактора. — Заметив мое недоумение, он добавил: — Надо будет завтра, что ли, заставить тебя завести холодный мотор на керосине, тогда ты сразу все поймешь...

Я действительно, как хотел того Ромоданыч, понял все с одного раза. В бригаде было четыре «Путиловца». Сейчас

этот трактор можно встретить только в музее. Наши «Путиловцы» уже давным-давно отходили свое, даже железные шпоры на высоких задних колесах — и те сносились. А мощь моторов пора уже было измерять не лошадиными силами, а больше энтузиазмом и рабочей злостью трактористок.

Как-то утром мы с трактористкой Настей заводили ее «Путиловца». Мотор не хотел брать и на беззине. В ту пору я мало что смыслил в машинах, и мне досталось крутить пусковую рукоятку.

Как бы объяснить, что это такое?.. В общем, когда у тебя сердце колотится в горле, в глазах мельтешат оранжевые мухи, а колени и руки будто ватные — это приблизительно и выйдет: заводить трактор военной поры рукояткой.

А Насте было лет двадцать. И силенок у нее — наверное, меньше, чем моих. Была она худенькая и легкая.

Часа через полтора у меня уже не хватало сил и тронуть с места рукоятку.

Настя сама еще раз попыталась завести — нет. В отчаянии, не стесняясь, она выругалась чернее черного и ушла в вагончик плакать.

Я сидел возле трактора прямо в борозде, ненавидел и себя и эту мертвую грудку железа.

Подъехал на лошади Ромоданыч.

— Почему стоите? — спросил он строго. — Где Настасья?

Я еле-еле поднял руку и показал на вагончик.

Потом сквозь не утихший еще гул крови в ушах я слышал, как бригадир уговаривал плачущую Настю:

— Ну, что ты, ей-богу? Будет а ты. Из-за этого-то? Ну, идем вместе поглядим. Попробуем...

Когда, наконец, трактор завели, полдня было потеряно. Провожая Настю на круг, Ромоданыч просил:

— Вы уж, ребятки, постарайтесь, нагоните время-то.

— Догоним! — сказала довольная Настя из-за руля.

Ромоданыч одной рукой ловко свернул покурить. Я высек ему огня.

— Огниво у тебя знатное, — похвалил он. — Я тебе так скажу. Иной раз подумаешь — согресишь: воевать легче, чем тут, ей-богу... Ну, хозяйствуй, а я поехал в мастерские. Там еще хуже. Коленчатый вал резцом запороли горе-

мастера. Все надо учитывать, а как успеть? Вот, брат, задача... Вечером заеду.

— Ромоданыч, научил бы ты и меня водить трактор... — попросил я.

— Научу. Обожди немного, вот с парами управимся.

Я подвязал повод у лошади, и Ромоданыч уехал.

Я остался один на один со своей самой скучной обязанностью: вымерять пахоту. Я никогда не жил в ладах с арифметикой, и эта беда оборачивалась теперь настоящей мукой. Я брал в руки сажень и, стараясь не отстать от ее маха, вышагивал вспаханное:

— ...Два, три... пятнадцать, пятьдесят шесть... сто семнадцать, четыреста тридцать девять..., — считал я. Только бы не сбиться!

Трактора ходили по кругу один за другим. И попробуй тут разберись, кто сколько вспахал!

Но это еще ладно — можно поровну разделить, наконец. Девчонки не обидятся. Да и все равно им ничего не платили. А вот переводить сажени в квадратные метры, потом в десятичные дроби с нулями и запятыми и, самое основное, в гектары!.. Нет, уж лучше крутить рукоятку у трактора!

В тот раз я все-таки сбился со счета. Внимание мое отвлек трактор Насти. Не в пример другим, тащившим плуги из последних сил, он шел в борозде ровно, легко и почти бездымно. Мотор работал так, будто окропил его Ромоданыч живой водой.

«Должно быть, мелко берет Настя, — подумал я, — норму догоняет. Пойти поглядеть бы. Не дело это».

Но не бросать же сажень? Потом опять сначала считать. Да и мне ли учить Настю?

Наступал вечер. От стана призывно тянуло дымком костра. Повариха собирала ужин...

Еще издали я заметил, как Ромоданыч нахлестывает лошадь. Таратайка его тряслась в бороздах.

Случилось, что ли, что?

— Чем Настя трактор заправляла? — закричал он мне.

— Как всегда...

— Ты что, сам не слышишь? За чем глядишь тут? Она же бензину целый бак налила!

Вот теперь я понял, почему ее трактор работал так ровно.

— Вы меня по миру пустите, работнички! — кричал Ромоданыч. — Садись!.. Да брось ты к черту свою сажень, ей-богу!

Ромоданыч держал в одной руке вожжи, я стегал лошаадь кнутом.

— Ну, я ей покажу! Ну, Настасья! — ворчал он. — На бензине и младенец вспашет. А ты керосином попробуй, тогда я скажу — герой. И ордена своего не пожалею от-дать... Видал, как шпарит, и не догонишь!

За облаком пыли Настя не видела нас.

Ромоданыч бросил вожжи и побежал к трактору:

— Стой! Стой, Настасья! Глуши мотор!

Он оттолкнул Настю от руля, открыл пробку бака и по-нюхал.

— Что же ты, разбойница, делаешь, а? Ведь ты двадцать литров бензина сожгла!.. Отвечай!

Настя стояла, виновато опустив голову в отцовской, должно быть, кепчонке. Лицо ее было черно от копоти и пыли.

Мне было жалко ее.

— Что молчишь, ей-богу? Ну!

— Прости меня, Ромоданыч.

— Вот оно как, видали? Прости ее, дитя неразумное!

— Я же как лучше хотела. Полдня потеряла. А норма-то, норма, сам знаешь, — и глазом не окинуть. Где же мне с ней на керосине управиться?

— Не нужна никому такая норма, Настасья! Сама не понимаешь?

— Да я ведь только на три четверти и разбавила... Прости, Ромоданыч. Я не буду больше.

— Я-то прощу. Война простит ли?.. Беда мне с вами, ей-богу, беда.

Я видел, что бригадир уже не сердится, да и не умел он, в общем-то, сердиться, и трактористок он жалел, кляня свою единственную руку — с ней одной не споро делать самое тяжелое.

Будто вспомнив и пожалев о том, что не удалось ему выдержать до конца бригадирской строгости, Ромоданыч приказал:

— Ну-ка, тащи ведро, Настасья! И слей из бака все до единой капли! Да гляди у меня впредь! А ты тоже, — сказал он мне. — Учитывай...

Мы остались с Настей вдвоем. Пока мы сливали бензин

и заправлялись снова, стемнело. В поле было тихо — трактористки, окончив норму, ужинали у костра.

Настя завела мотор — горячий, он взял сразу и на керосине — и стала усаживаться за руль.

— Тебе много осталось? — спросил я.

— Часа на два.

— Я с тобой поеду, — предложил я. — Хочешь? Веселее будет.

— Хочу.

Мы проверили сцепку с плугом, очистили лемеха.

Всходила луна, ночь обещала быть светлой...

## У лучины

Обычно я и ночевал в бригаде, но на этот раз решил сходить домой и провести своих.

Идти мне было километров семь полями и мимо небольшой — дворов в тридцать — деревеньки.

Я поужинал на дорогу и отправился. Зажглись первые звезды, я шел один в поспевающей пшенице. Спокойствие было вокруг. Не верилось ни в какую, даже самую маленькую войну на всей земле. В целом мире были только мы с отдыхающей после знойного дня пшеницей, и ясное небо с мелькавшей в нем то ли птицей запоздалой, то ли летучей мышью. Справа показались темные избы деревни, я свернул к ним по тропе. Хотелось пить, но ни в одном из окон огня уже не было. Где в деревне колодец, я не знал. Тропа вела задами, я едва угадывал ее под ногой.

Я увидел огонь в окне крайней избы. Сначала даже не поверилось в него — так был он слаб и тускл.

Осторожно, чтобы не помять огуречной ботвы, я прошел огородом к избе. Дверь в сени была полуотворена. Не стучась, я вошел.

Первое, что я увидел в избе, — это горящая лучина. Она была воткнута в щель между бревнами, под ненадежным пламенем стояло блюдо с водой.

На лавке, как можно ближе с огню, сидела женщина и что-то вязала — поблескивали спицы в ее руках. На полу шевелился клубок ниток.

— Здравствуйте, — сказал я.

— Здравствуй.

— Можно у вас напиться?

— Испей.

Женщина показала мне на ведро у печи. Я набрал воды долбленным деревянным ковшом и напился.

— Спасибо.

Я не отрывал глаз от горящей лучины. Неужели все это наяву, а не из старинной книги?.. Где я?

Упал и зашипел в воде уголек.

Женщина обмакнула в блюдо пальцы и сняла с лучины отгоревшее. Огонь стал ярче.

Женщина, будто вспомнив о чем-то, взглянула на меня.

— Дай-ка твою руку, — сказала она.

Я подал, не зная — что будет дальше.

Женщина пошарила на лавке возле себя, и я увидел уже связанную варежку.

— Надень-ка, — услышал я. — Примерь.

Я натянул варежку. Она была из толстой и мягкой шерсти, и сразу же почувствовалось тепло. И еще — связана варежка была по военному образцу, с отдельным местом для указательного пальца.

Женщина своими руками проверила, плотно ли, хорошо ли все, и осталась довольна.

— Снимай, — сказала она. — Это мужу я вяжу. Осень подступит, а у меня уже, гляди, все припасено, послать только останется. Когда-то он получит еще? А сама и думаю: как бы малы не вышли. Забыла уж его руку. Теперь вижу — впору.

Женщина взяла с шестка новую лучину, зажгла ее от огарка и устроила между бревен, а огарок бросила в воду.

— Садись, — пригласила она. — Посиди со мною. Поговори.

Я сел. О чем говорить, я никак не мог собраться. Я следил за огнем и за неспешным, уверенным движением спиц...

— Я принесу вам керосину, — сказал я. — Завтра же принесу. Целое ведро!

Не отрывая глаз от вязанья, женщина молча и согласно кивнула...

**«Делай, как я!»**

Я не успел выучиться водить трактор.

Мы еще не управились с пахотой — меня отправили в военные лагеря.

Ромоданыч прочёл повестку из военкомата и сказал:

— Неужели и на твою долю достанется?..

— А как же!

— Дурень ты!.. Да не может того быть, нет. Вроде бы — немного уже осталось.

Он отвез меня на лошади до конторы МТС, оттуда попутной машиной я поехал домой. В кармане моем лежал носовой платок, подаренный Настей. Я чувствовал себя почти солдатом. Брат Васек завидовал мне. У матери, укладывавшей в вещевой мешок обязательные по повестке припасы, дрожали руки...

По моим представлениям, полученным главным образом из кинофильмов, военный лагерь должен бы располагаться где-нибудь в лесу, рядом с тихой речкой. Строгие ряды зеленых палаток, дорожки, посыпанные желтым чистым песком. Часовые у знамени. Яркая медь горна. Торжественный блеск штыков. И все в лагере отдают друг другу честь.

Наш лагерь расположился в обычном селе с крытыми соломой избами, горластыми петухами по дворам, скучными от жары собаками. В центре села было озеро, наполовину заросшее камышом. На пригорке стояла церковь, служившая совсем недавно хлебохранилищем — в щелях между половицами золотилось зерно. Здесь-то мы и поселились.

Прежде всего нас разбили по отделениям. К сожалению, я не помню почти никого из ребят. Нам не довелось воевать — Ромоданыч оказался прав, — и дружба наша не успела окрепнуть и закалиться в бою.

Я попал в подразделение к старшему лейтенанту Филипчуку. Он носил полевые погоны и портупею с пустой кобурой от нагана. На груди гимнастерки посверкивали две медали «За отвагу» с заношенными до неузнаваемости шелковыми ленточками колодок. Золотая узенькая нашивка свидетельствовала о тяжелом ранении. Говорили, что он был контужен. Сколько мы ни просили его, он так ни разу и не рассказал нам о войне, о своих медалях. Было ему, наверное, не больше двадцати пяти. Хорошее русское лицо. За две недели, которые мы изо дня в день прожили вместе с ним, я не помню случая, чтобы он улыбнулся. Взгляд его был постоянно настороженным, казалось — старший лейтенант ждет опасности отовсюду, даже здесь, в далеком от войны селе. И только иногда, вечерами, когда случайно

возникала песня деревенская, немного грустная, глаза старшего лейтенанта как бы оттаивали.

Старший лейтенант отвел нас за церковь, в заросли сирени. Кое-где виднелись остатки крестов и плит погоста. Мы построились по ранжиру.

— Ну, что ж, орлы, — сказал старший лейтенант, оглядев нас, — будем учиться воевать... У кого есть ножи, шаг вперед! — скомандовал он.

Трое или четверо охотно шагнули.

Я пожалел, что у меня ножа не было. Только огниво. Или «катушка», как тогда его называли.

— Хорошо. Этого достаточно. Станьте в строй. Сейчас мы пойдем на озеро, заготовим побольше камыша.

— А воевать? — протянул разочарованно стоявший рядом со мной Акимушкин. У него был отличный десантный нож с прямым лезвием и резиновой рукояткой. Даже когда мы резали хлеб, смотреть на него было страшно. Каждый из нас уже успел подержать его в руках, откровенно завидуя Акимушкину.

— И заготовим побольше камыша, — тверже повторил старший лейтенант. — А разговоры отставить. Вы не в школе.

Чуть ли не до ночи по колено, а то и по пояс в воде мы резали, рвали руками камыш. На берегу была сложена уже целая гора его.

— Еще, — подбадривал старший лейтенант.

Я уже дрожал от холода, спину и плечи жрали комары. Так воевать было скучно...

— Теперь хватит! Всем на берег. Одеваться. Камыш перетаскать в церковь, в правый угол возле алтаря. Расстелить его ровно. На нем вы будете спать... Павлову и Акимушкину остаться.

Мы с завистью проводили ребят с охапками камыша. Старший лейтенант дал нам новое задание: из камыша приготовить три чучела для упражнений по штыковому бою.

Мы забыли про усталость: это дело было уже почти настоящим, боевым. Акимушкин и я старались как только могли. Нашли моток ржавой проволоки, собрали — камышинка к камышинке — вязанки. Между двух деревьев прибили жерди и к ним прикрепили чучела. Акимушкин оказался парнем изобретательным: он подобрал где-то треснувший глиняный горшок и надел одному из чучел

на голову. А в камышовое брюхо мы воткнули палку. Издали, впотьмах, это сооружение, если пофантазировать, напоминало солдата в каске.

— Ну-ка, попробуем!

Акимушкин достал свой нож и, пригибаясь к земле, крадучись, стал приближаться к чучелу. Что-то хрустнуло под ногой, зашуршал подсохший за лето бурьян. В лунном свете тень Акимушкина горбилась, ползла. Акимушкин занес руку для удара...

— Стой! — услышали мы негромкое.

Акимушкин замер.

Старший лейтенант вышел из-за куста сирени.

— Дай-ка нож... Верный нож, — произнес он, примеряя его по руке. — А делается это вот так, смотри. — Он неслышно шагнул за куст и скоро так же неслышно появился в нескольких шагах за спиной чучела.

— Х-х, — коротко вздохнуло что-то и тут же сверкнуло на лету.

И вздрогнули жерди.

— Приблизительно так и делается, — сказал старший лейтенант.

Мы подошли к чучелу. Нож пронзил его почти насквозь.

Да, этот урок вовсе не был похож на те, к каким мы привыкли в школе: разобрать и собрать затвор трехлинейной винтовки, старательно шагать в строю с макетами деревянных ружей.

Утром нам выдали настоящие винтовки с примкнутыми штыками, саперные лопатки и противогазы. Одетые кто во что, мы походили, наверное, на партизан — во всяком случае, нам этого очень хотелось. Клацали затворы и щелкали курки. Вороненая сталь штыков волновала мальчишеское воображение. Глаз хищно щурился, ища сквозь прорезь прицела хоть что-нибудь, напоминающее врага. Но врага не было. Начиналась игра, из которой мальчишки должны были выйти почти солдатами.

Наш командир, старший лейтенант Филипчук — имени его и отчества никто из нас, очевидно, так и не узнал — учил жить на войне.

— Живой — ты убьешь врага, — говорил он. — Мертвый солдат и для похоронной команды — обуза.

Мы рыли окопы в полный профиль на каменистом бугре за деревней — старший лейтенант не прощал даже само-

му слабому из нас ни одного недобранного сантиметра.

Августовская жара плавila наши спины. Настин трактор я вспоминал как детскую заводную игрушку.

Потом из окопов мы ужами выползали, скрытно скапливались на исходном рубеже для атаки. Нужно было преодолеть всего метров сто. Пока мы научились делать это так, как требовал старший лейтенант, наши штаны и рубашки превратились в лохмотья.

В первый раз, минут через пять после команды «вперед», старший лейтенант остановил нас.

— Атаки не будет. Мне не с кем идти в атаку. Из всех вас уже никого нет, вы убиты. Вы не солдаты, а мешки с пустыми консервными банками. Все сначала!

На второй попытке «в живых» осталось четверо. Я был «убит» опять.

Акимушкина старший лейтенант хвалил. Он был длинный и тощий и в самом деле ползал как уж...

Старший лейтенант нянькой ходил среди нас, ползущих по земле к исходному рубежу, посматривал на трофейные часы и торопил.

— Акимушкин молодец! Быть тебе разведчиком... Остальным подтянуться, не отставать. Через три минуты конец артподготовки. Время — это жизнь. Победа!.. Убратъ зады! Вдавите их в землю. Павлов, уж если ты решил оглядеться, то вот же камень перед тобой, укройся за ним... Ничего, что он мал. Пуля тоже мала... Вперед! К ложбинке — короткими перебежками!..

Наконец, когда отделение целиком достигло рубежа, старший лейтенант поднял нас «в атаку». Он расстегнул кобуру, забыв, что она пуста, растерянно оглянулся.

— Дай хотя бы лопатку, — крикнул он мне. — Не по себе с пустыми руками-то... За мной!

Мы бежали к ветряной мельнице, охотно крича «ура», с винтовками наперевес.

И вот уже штыки вонзились в бревна.

Лица наши сияют. Победа! Эх, знамя бы, пусть и самодельное! Да на самый верх его...

Голуби, вспугнутые криком, снова слетались под крышу к своим гнездам. Небо было голубое и доброе. Наступил черед испытать наше умение в рукопашном бою.

Приемы штыкового боя нам были знакомы еще по школьным урокам. Мы собрались у камышовых чучел.

У старшего лейтенанта оказались какие-то срочные дела. Он оставил вместо себя Акимушкина. Тот был горд. Свой десантный нож он носил теперь на поясе, а не хранил в вещевом мешке. Каждую свободную минуту он учился метать нож. И вообще весь Акимушкин, от разбитых кирзовых сапог до выгоревшей кепки-шестиклинка, производил впечатление человека бывалого. Мы безропотно выполняли его команды.

Оставив винтовку возле ствола дерева, заложив руки за спину, Акимушкин вяло командовал:

— Длинным коли, коротким коли!

Со смешками, с прибаутками штык легко проникал в камышовое брюхо чучела...

После окопов и атак все это нам казалось не больше как игра с чучелами.

Подошел старший лейтенант.

Акимушкин отдал ему рапорт.

Он некоторое время смотрел на нашу работу, хмурился.

— Акимушкин, а ну-ка вы теперь выполняйте упражнение! — слышали мы.

— Есть.

Акимушкин взял винтовку. Когда он уже вплотную, на удар подошел к чучелу, старший лейтенант легонько толкнул его в плечо. Потеряв равновесие, «бывалый человек» едва удержался на ногах. Штык косо и бесполезно воткнулся в землю.

Мы дружно захохотали.

Красный от стыда и недоумения, Акимушкин поднял глаза на старшего лейтенанта.

Тот молчал...

Мы больше не смеялись.

— Вот цена вашей работы и доблести, солдаты, — тихо сказал старший лейтенант. — Цена жизни и смерти. Фашист, которого не убил сейчас Акимушкин, ваш командир, придет... мог прийти к вам в дом, убить мать, опозорить сестру... Станьте в строй, Акимушкин... Всем смотреть внимательно! И делать, как я! Дайте кто-нибудь винтовку...

Тридцать лет прошло с той поры — дальняя дорога.

Огонь лучины недолговечен.

Но вот уже тридцать лет горит он в памяти, освещая далекое... нет, нет — оно совсем рядом!

## ПИСЬМО КОМАНДНОГО СОСТАВА СОЕДИНЕНИЯ МАКАРОВА КУЙБЫШЕВСКИМ РАБОЧИМ

Дорогие товарищи!

Преисполненные чувства глубокой благодарности за любовь, внимание и заботу к Красной Армии, бойцы, командиры и политработники шлют вам свой братский привет.

Приезд вашей делегации в наше соединение и подарки, привезенные ею, — это яркое проявление священной дружбы фронта и тыла, армии и народа, которые в нашей стране составляют единое целое.

Наше соединение, рожденное на берегах Волги в дни Отечественной войны, уже более года сражается с немецко-фашистскими захватчиками. Вперед и только вперед, на разгром немецких оккупантов — вот девиз каждого воина.

Ломя упорное сопротивление врага, истребляя его живую силу, сокрушая его боевую технику, очищая пядь за пядью родную землю от гитлеровской нечисти, соединение освободило более 200 населенных пунктов. Около 80 тысяч советских граждан вновь получили право на творческий труд в братской семье народов нашей страны.

Представители «высшей расы», создатели «нового порядка» в Европе, двуногие скоты и детоубийцы — гитлеровская банда головорезов хочет поработить советский народ, отнять его права, завоеванные в октябре 1917 года. Не бывать этому! Два аршина земли и пуля в лоб — вот ответ наших воинов немецким захватчикам.

Уже тысячи солдат и офицеров немецкой армии истреблены нашими воинами. «Убей немца!» — эти слова вошли в плоть и кровь наших бойцов и командиров. Глубока и священна их ненависть к немецким палачам.

С каждым днем увеличивается число отважных снайперов — истребителей фашистов. Снайперами за несколько месяцев уничтожено более 3000 немецких солдат и офицеров. Наши снайперы: Комарецкий, Карпенко, Чернов, Шкару-

па и многие другие записали на свои боевые счета от 150 до 210 гитлеровцев.

Более 500 бойцов, командиров и политработников, проявивших мужество и отвагу в боях с немецкими оккупантами, награждены орденами и медалями Союза ССР. В числе награжденных много ваших земляков-куйбышевцев. Бывшие колхозники Куйбышевской области: сержант-пулеметчик Хисматуллин только в одном бою скопил огнем своего пулемета 200 вражеских солдат и офицеров; артиллерист-наводчик дважды орденосеиц Мартышкин в одном бою подбил три немецких танка и истребил несколько десятков немецких автоматчиков; сержант Елизаров, неоднократно поднимавший в атаку своих бойцов, лично истребил пулей и штыком 27 немцев. Бывший рабочий-куйбышевец красноармеец Пахомов огнем русской трехлинейки загнал в гроб более 70 фашистов. Бывший работник Мелекесского отделения Госбанка сержант Катаев в бою за один населенный пункт с группой бойцов в 7 человек отразил атаку в 20 раз численно превосходящего противника. Таких знатных людей, прославивших себя подвигами, у нас немало.

**Дорогие товарищи и друзья!**

Мы знаем по вашим прекрасным делам, что тыл, как и фронт, отдает все свои силы одному общему делу — борьбе за освобождение родной земли от чужеземных ненавистных захватчиков. Заверяем вас, наши боевые товарищи: и впредь высоко понесем через пламя борьбы с заклятым врагом — немецким фашизмом знамя всепобеждающей партии Ленина...

**В этом порукой нерушимая дружба тыла и фронта.**

**Вперед, к новым победам!**

**Командир соединения Макаров**

**Заместитель командира  
по политической части Брондин**

**Начальник политотдела Песоцкий**

**Газ. «Волжская коммуна», 1943, 16 января, № 13.**

**В бою под Орлом, под Варшавой,  
В жестоком огне батарей  
Я чувствовал слева и справа  
Поддержку окопных друзей.**

**И видел, как кто-то, смелее  
И старше namного меня,  
Себя самого не жалея,  
Шел прямо под ливень огня.**

**Тогда я узнал, что такое  
Священный, почетнейший долг.  
— За мною! — взмахнувши рукою,  
Скомандовал громко парторг.**

**И как бы там смерть ни косила,  
И что б ни грозило вдали,  
Земная партийная сила  
Меня поднимала с земли.**

**На трудном пути каменистом  
Смотрел я вперед, а не вниз, —  
И стал потому коммунистом,  
Что вел меня в бой коммунист.**

## И ВЫСТОЯТЬ, И ПОБЕДИТЬ!..

Мальчика звали Вова Алексеев. Ему недавно исполнилось двенадцать лет, и в эту ночь, 5 ноября 1941 года, он дежурил на крыше дома вместе с бойцами отряда МПВО.

Ему очень хотелось есть: от 125 граммов хлеба, полученных днем по иждивенческой норме, осталась одна корка, от которой он отщипывал по крошке.

Холодный ветер гнал промозглую сырость с Финского залива. Было сравнительно спокойно, и старший поста, пожалев мальчишку, отправил его домой:

— Иди поспи пару часов.

Вова уже почти пробежал до дома, когда в воздухе повис истошный вопль сирены и из репродуктора раздался голос: «Граждане! Воздушная тревога! Воздушная тревога!». Минут десять вой вытряхивал людей из подъездов и заталкивал в проемы бомбоубежищ.

Как только сирена умолкла, послышался рокот гитлеровских самолетов. Они шли над городом где-то в темноте. Захлебывались зенитки, откуда-то с крыши универмага строчил спаренный пулемет. И на все эти звуки как бы наслаивалось звонкое жужжание юрких «ястребков», атаковавших врага.

Что знал Вова о фашистах? Очень много. То, что они окружают его родной город. То, что они изверги и бомбят жилые кварталы. То, что их надо бить беспощадно, а то они поработят весь народ. Все это он знал. Но поскольку в глаза он не видел ни одного гитлеровца, то не мог себе даже представить, что кто-то спокойно и убежденно может делать самые черные дела, творить самые чудовищные преступления.

Если бы мальчишка мог каким-то чудом заглянуть в сознание тех, кто сидел в кабинах вражеских самолетов, он бы понял, что бой идет не просто войска с войском, сол-

дата с солдатом, страны со страной. Бой идет между черным прошлым и светлым будущим, и от того, кто победит, зависело, каким быть миру, что должен значить в нем любой человек.

Что должен значить человек? Не будем мудрствовать по этому поводу. Сопоставим документы, предусматривающие ответ в случае победы той или другой стороны.

Документ первый:

«Главная квартира фюрера. 7/X 1941 г.

Фюрер снова решил, что капитуляция Ленинграда, а позже и Москвы, не должна быть принята даже в том случае, если она была бы предложена противником... И для всех других городов должно действовать правило, что перед их занятием они должны быть превращены в развалины артиллерийским огнем и воздушными налетами, а население обращено в бегство... Эта воля фюрера должна быть доведена до сведения всех командиров».

Документ второй, уточняющий «волю фюрера»:

«Генеральный штаб. Оперативный отдел. О блокаде Ленинграда.

...Сначала мы блокируем Ленинград (герметически) и разрушаем город, если возможно, артиллерией и авиацией... Когда террор и голод сделают в городе свое дело, откроем отдельные ворота и выпустим безоружных людей... Остатки гарнизона крепости останутся там на зиму. Весной мы проникнем в город... вывезем все, что осталось живое, в глубь России или возьмем в плен, сравняем Ленинград с землей...»

Итак, фашисты готовили городам Советского Союза полное разрушение, а людям — уничтожение или участь рабов в управляемых Германией областях.

Теперь вчитайтесь, взвесьте в текст, в тон, в смысл документов, появившихся в осажденном Ленинграде.

Слушайте голос рабочего класса, обращенный к защитникам Ленинграда.

«Воины Красной Армии, знайте, что ни бомбы, ни снаряды, никакие военные испытания и трудности не поколеблют нашей решимости сопротивляться, отвечать ударом на удар... Пусть каждый из вас высоко несет почетное звание советского воина, твердо и нерушимо выполняет свою священную обязанность — защищать Родину с оружием в руках. Ляжем костями, но преградим дорогу врагу. Мы ни-

когда не были рабами и никогда рабами не будем. Умрем, но Ленинград не отдадим!»

А теперь — ответ воинов:

«Дорогие наши отцы, братья, товарищи! В вашем лице мы даем клятву всему советскому народу, что пока бьется наше сердце, пока кровь струится в жилах, мы будем сражаться за нашу землю, за честь, за свободу!.. Ленинград — колыбель пролетарской революции — был, есть и будет советским!»

Столкнулись два мира. И в каждом из этих миров человек и созданные им ценности значили разное: там их надлежало стереть с лица земли, здесь — отстоять, утвердить и упрочить.

Столкнулись две силы — жизнеразрушительная и жизнеутверждающая.

Двенадцатилетний мальчик Вова был частью жизнеутверждающей светлой силы. Всем своим характером, поступками, образом мышления он выражал сущность того мира, в котором жил, черпая в нем и уверенность и силу.

Задрав голову, Вова следил за метанием лучей прожекторов, забыв об опасности. И только когда услышал противно нарастающий визг падающих бомб, кинулся под прикрытие стены. Тут же сообразив, что это опасно, метнулся обратно на середину улицы и упал плашмя, потому что взрыв грохнул совсем близко. Дом, стоящий наискосок через улицу, вдруг осел и стал рассыпаться. В треске, шуме ничего невозможно было разобрать. Отсветы прожекторов и начавшегося пожара вдруг выхватили из темноты фигуру женщины. Спотыкаясь, падая и опять поднимаясь, она шла с той стороны, куда упала бомба.

«Ранило ее», — догадался Вова и вскочил, чтобы помочь. В несколько прыжков он добежал, и женщина, тяжело опершись на его плечи, вдруг хрипло закричала:

— Хлеб! Хлеб сгорит!

Вова не понимал, о чем она говорит, и все спрашивал, где ей больно.

— Мальчик, я ничего не слышу. И стоять не могу. А там санки с хлебом... Сгорит ведь хлеб. Иди!

Вова все понял. Спасти хлеб — это значит накормить не одну сотню людей, прикрепленных к магазину. Он побежал туда, куда показала женщина, и действительно увидел развороченную ударом рухнувшей стены повозку. Бухан-



ки свежего хлеба лежали на снегу, на неподвижных телах двух мужчин, видимо, тащивших тяжелые санки до того мига, когда рядом рванула фашистская бомба.

Мальчик схватил буханку... И вдруг, перекрывая смрад пожарища, кислый запах взрывчатки, ему в ноздри ударил аромат хлеба. Он держал его в руках, этот хлеб. Много... Что-то заныло в груди у него. Он неотрывно смотрел на такую огромную по сравнению с ежедневной пайкой буханку и вдруг понял, что сейчас вцепится зубами в корку.

А когда он понял это, то медленно, пересиливая что-то в себе самом, положил хлеб к разбитому ящику. Затем поднял вторую буханку, третью, четвертую...

Вскоре подбежали знакомые бойцы из отряда МПВО. Каждый первым делом остолбенело замирал перед невероятной грудой хлеба. Каждый как-то непроизвольно касался рукой этого богатства.

— Никто ничего не должен брать, — сказал Вова и поднял винтовку, лежавшую рядом с одним из трупов. — Это наш общий хлеб.

— Ладно, сынок. — Какой-то усатый и, видимо, пожилой человек взялся за веревку от санок. — Поди-ка, помоги остальное собрать. А вы, мужики, посмотрите, что с ними. — Он указал на неподвижные тела. — Может, жив еще кто?

Невыносимо ароматные буханки уложены в наскоро подремонтированный ящик.

— Иди, сынок, сопроводи хлебushко, — сказал усатый. — Да по дороге прихватите, мужики, продавщицу: зацепило ее, видать...

А по небу метались прожекторные лучи, в отблесках пожаров трепетали облака, гудели самолеты. Там шел бой. Там шла сила на силу, ярость на ярость, техника на технику, человек на человека. И в каждом поединке решалось, что должен значить в жизни человек, ибо обстоятельства порой не оставляли перед сражавшимися выбора: можно было только умереть.

Но все дело в том, как погибнуть.

Младший лейтенант Алексей Севастьянов не собирался умирать. Человек он был очень веселый, жизнерадостный, и не случайно комиссар 26-го истребительного авиацион-

ного полка накануне днем послал его на встречу с делегацией рабочих Невского машиностроительного завода:

— Севастьянову, хоть он самый молодой, — говорил комиссар, — есть что рассказать гостям: два самолета вражеских уже сбил...

И вот сейчас, барражируя на своем «ишачке» (И-16) над ночным Ленинградом, Алексей Севастьянов вспоминал эту радостную встречу накануне. Его очень тепло приветствовали все делегаты, а Аня Ковалева, девушка с черными смелыми глазами, даже поцеловала.

— В вашем лице — всех наших храбрых летчиков, — сказала она.

— Тогда целуйте еще тридцать три раза, — тут же нашелся Алексей. — У нас в полку тридцать три богатыря.

...Не знал младший лейтенант Севастьянов, что в эти минуты, когда он патрулировал над Невой, о нем тоже думают. Боец спецгруппы МПВО по обезвреживанию бомб замедленного действия Анна Ковалева, слыша шум пролетающих над головой «ястребков», вспоминала веселого симпатичного летчика с милым именем Алеша...

Ночь на 5 ноября в Ленинграде выдалась на редкость тревожной. Фашистские самолеты несколько раз прорывались к городу, и взрывы фугасок сполохами освещали темноту. Младший лейтенант Севастьянов увидел, как лучи прожекторов вырвали из ночи вражеский бомбардировщик.

«Хейнкель» метнулся в сторону, но поток голубого света не отпускал его. Зенитки не стреляли, и фашистский пилот понял, что в воздухе поблизости от него находятся советские истребители. Это было пострашнее зенитных снарядов: ведь не видно, откуда тебя атакуют.

«Хейнкель» разом вывалил весь бомбовый груз. Куда? Какая разница: все равно взрывы будут в городе, все равно кто-то погибнет, какие-то здания окажутся разрушенными. А это и есть выполнение приказа фюрера: стереть с лица земли этот отчаянно сопротивляющийся бастион русской обороны...

Резким креном фашистский пилот бросил машину в крутое скольжение и вырвался из прожекторного захвата. В кабине сразу стало темно, и он тут же заметил, как совсем рядом прошла огненная трасса. Выравнивая полет, «Хейнкель» прибавил скорость, собираясь покинуть опасную зону, но его снова поймали прожектора.

Алексей Севастьянов несколько раз атаковал фашиста, но неудачно. Только открывал огонь, как тот начинал резко маневрировать. Один раз вроде отлично взял фашиста в прицел, но свой прожектор некстати осветил самолет и на мгновение ослепил летчика.

Выскочив из пронизывающего потока света, Алексей снова начал искать врага, но «Хейнкель» словно растворился в темноте. А внизу, среди кварталов родного города, полыхали огненные костры, и видеть их Алексею была такая душевная мука, что он даже заскрипел зубами от ярости. Как, враг сделал свое черное дело и уходит безнаказанным? Да неужели же он, младший лейтенант Севастьянов не сможет найти этого проклятого фашиста? Он заставил себя сосредоточиться на поиске и на фоне черного неба вдруг заметил мерцающую искорку — выхлоп из коллектора, выводящего отработанные газы.

Скорей туда! Еще одна атака. Целясь прямо в мерцающую искру, Севастьянов нажал гашетку пулеметов. Гулко ударило в центроплане и тут же умолкло. Алексей еще жал и жал гашетку, с ужасом осознавая, что боекомплект на борту кончился, что враг опять уйдет у него буквально из-под носа.

И когда в этот миг прожектора взяли «Хейнкель» в «вилку», Алексей воспринял это как последний решительный приказ: огромный город, колыбель революции, осажденный и не сдающийся Ленинград, словно показывал ему двумя лучами изверга, прося, требуя отмщения за те костры, которые пылали внизу среди ночных улиц, за погубленные жизни родных ленинградцев.

Уже ничего не оставалось в душе Алексея, кроме одного страстного желания — уничтожить врага, пусть даже ценой своей собственной жизни.

И тогда он дал полный газ, за какие-то секунды настиг бомбардировщик, мотором врезался в его правую плоскость.

— Аня, Аня, смотри, что он делает!

Девушки-бойцы из дежурной смены МПВО увидели, как «ястребок» вдруг вынырнул из тьмы, вошел в луч и, приблизившись к «Хейнкелю», словно клюнул врага.

Полетели искры. Вражеский самолет перевернуло, он загорелся и начал падать куда-то в район Таврического сада.

— Девочки, а где же наш?

Голубые лучи прожекторов метались по небу, но «ястребка» нигде не было видно. Как видение возник он на мгновение перед всем ночным Ленинградом, поразил врага и исчез. Кто он, этот смелый летчик?

И в эти мгновенья кто-то заметил спускающийся парашют. Гость с ночного неба, как только приземлился, был тотчас схвачен работницами.

— Я свой, товарищи, советский, — говорил летчик.

— Ладно, разберемся. Ведите его на вахту.

И только уже в комендатуре разобрались, что летчик не кто иной, как младший лейтенант Алексей Севастьянов, случайно приземлившийся после своего ночного тарана именно на территории Невского машиностроительного завода.

Удивлению и радости, казалось, не будет конца. Всех воодушевил этот подвиг, происшедший на глазах у многих. А вот Ане Ковалевой так и не удалось в тот раз увидеть героя: ей пришлось срочно выполнять очень сложное боевое задание.

В одно из производственных помещений попала бомба, но не взорвалась. Она пробила крышу, перекрытия между этажами и оказалась в подвале. Текли мучительно долгие секунды и минуты, а взрыва не было. Тогда-то и послали за бойцами спецгруппы: может, успеют обезвредить.

Роста Аня Ковалева небольшого, а от постоянного недоедания стала совсем худышкой. Во всяком случае, ватник был ей куда как велик. Несмотря на холод, девушка сняла его, когда полезла в дыру, пробитую бомбой.

— В случае чего — твой будет, — сказала она, передавая ватник подруге.

При свете свечи девушка отыскала лежавшую на боку фугаску. Чудовищный «гостинец» молчаливо и неподвижно ждал своего мгновения. Когда оно наступит, никто не знал. Аня, припав ухом к холодному корпусу, явственно услышала тиканье: часовой механизм работал...

Хрупкая девушка и тяжелая фугасная бомба. Неровный колеблющийся свет свечи. Тишина подземелья. Один на один сошлись две силы — разрушительная и жизнеутверждающая.

У Ани Ковалевой уже был небольшой опыт обезвреживания немецких фугасок замедленного действия. Совсем недавно она проделала такую опасную работу в трамвай-

ном парке на Сердобольской улице, но там было совсем другое устройство. Кроме того, корпус этой бомбы при ударе деформировался и зажимное кольцо взрывателя перекосило.

«Может, разрубить его зубилом?» — подумала девушка. Она достала инструмент и принялась за работу. Страха не было. Было явственное ощущение опасности, ведь Аня знала, что может случиться: раз — и нету тебя. И ты даже ничего не успеешь подумать. Это совсем не страшно. Страшно — когда мучения, а тут не будет мучений. Мука душевная сейчас — от сознания того, что можешь не успеть снять этот проклятый взрыватель.

А часы внутри бомбы тикали и тикали. С каким-то непонятным для себя самой интересом Аня то и дело прикладывала ухо к корпусу и слышала это неотвратимое, ровное: тик-тик-тик...

Наконец зажимное кольцо распалось. Аня осторожно подцепила взрыватель и стала, пошатывая, вытаскивать его из гнезда. Она вдруг поймала себя на мысли, что сейчас не чувствует ни рук, ни ног, ни тела — все сосредоточилось на взгляде. А пламя свечи колебалось под налетавшими сквозняками и вдруг погасло.

Это были ужасные мгновения: Аня не знала, можно ли отпустить взрыватель, чтобы зажечь свечу, или попытаться вытащить его в темноте. Решила не рисковать: зажгла непослушными пальцами спичку и установила свечу поудобнее. Снова взялась за взрыватель...

Вот он вышел весь. Сейчас все очень просто: вывернуть капсюль детонатора, и бомба уже не взорвется.

...Когда она вылезла из подвала, просто сказала:

— Вот и все. Вытаскивайте фугаску: она безопасная.

Ее обнимали и целовали подруги, а она стояла и дышала. Просто дышала. Всей грудью.

А потом ее отправили домой спать. Она пошла, потому что очень устала. А по дороге домой встретила трех людей с санками, на которых стоял ящик, а от ящика вкусно пахло хлебом.

Только тут почувствовала она, что очень голодна, что через несколько часов начнется еще один холодный день блокады, в котором надо не просто выжить, но выстоять и победить.

— Мальчик, — сказала она парнишке, толкавшему повозку сзади, — это для какого магазина хлеб?

Ответ успокоил ее: к этому магазину она была прикреплена и только вчера перерегистрировала свои продовольственные карточки.

Вот и вся эта короткая история, случившаяся 5 ноября 1941 года в осажденном Ленинграде. Многих участников ее уже нет в живых.

Вова Алексеев погиб от голода в январе 1942 года.

Младший лейтенант Алексей Тихонович Севастьянов погиб в воздушном бою весной 1942 года.

Анна Николаевна Ковалева, обезвредившая во время блокады свыше 40 бомб, осталась жива, невредима, работала после войны инженером, а сейчас пенсионерка.

Люди сегодняшнего дня! Счастливые и прекрасные, уверенные и довольные. Те, о которых вы только что слышали, очень хотели прийти в нынешний день. И если бы они пришли, наверняка мы были бы богаче. Ибо самое главное богатство Родины — люди. И не просто люди, а хорошие люди, достойные того, чтобы именоваться людьми.

И от каждого из нас с вами зависит, как умножается это главное богатство: и от тебя, и от нас, и от всех.

## ВОЛЖСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ

Слову                    неподвластные усилия,  
сила,                    презиравшая смерть, —  
Волжская                военная флотилия,  
как тебя                прославить и воспеть?  
Ты,                    переносившая лишения  
тысячи налетов                и преград,  
твердое                принявшая решение:  
отстоять                любимый Сталинград!  
Круглыми                дымящимися сутками  
грозных                не смыкающая глаз,  
между огневыми                промежутками,  
может быть,                услышишь мой рассказ.  
Натиски                свирепые и дерзкие  
на родные                наши берега  
сдерживали лодки                канонерские,  
отражая                лютого врага.  
Мужества сурового                образчики

каждодневно,  
нынче — как вчера,  
вновь и вновь  
показывали тральщики,  
повторяли  
бронекатера.

Долго длилось  
грозное сражение,  
но не рвалась  
связь могучих жил:  
пополнялось вооружение  
и живой запас  
горячих сил.

Точно, с левой стороны  
на правую,  
так же в сотый,  
как и в первый раз,  
подается  
нашей переправую  
продовольствие, боезапас.

И опять  
дорогою обратною  
кровную  
поддерживает связь,  
смелостью,  
словами неоплатною,  
ранами  
почетными дымясь.

Голова  
от тяжести закружится,  
только лишь  
подумаешь о нем:  
про такое кованое  
мужество,  
что не взять  
ни стужей,  
ни огнем,  
не взорвать  
ни бомбами, ни минами,  
не сыскать  
ни в чьей иной стране,

только лишь  
с размерами былинными  
ставшее  
вплотную наравне.  
Волжская  
военная флотилия,  
славу  
проложившая в века,  
слову  
неподвластные усилия  
только ты  
смогла поднять,  
река!  
Только ты, река,  
своими волнами,  
наложивши  
вечности печать,  
над былыми битвами  
и войнами  
сможешь  
этой славе отвечать!

**ЗАПИСКА КУРСАНТА И. ШЕСТОВСКИХ —  
УЧАСТНИКА БИТВЫ НА ВОЛГЕ**

*23 августа 1942 г.*

Сегодня, т. е. 23 августа, ведем ожесточенный бой с проклятым фашизмом. Если меня убьют, пусть Родина знает, что я погиб героически за город у Волги. Я кандидат в ВКП(б), но прошу меня считать членом партии. Пусть же Родина знает, что погиб за дело партии.

## **ЗДЕСЬ НАЧИНАЛОСЬ ВОЗМЕЗДИЕ**

### **ИЗ ФРОНТОВОГО БЛОКНОТА**

Передо мной — пожелтевшие от времени самодельные блокноты, записные книжки, вырезки из армейской газеты «Боевой натиск». Долго ищу то, что мне нужно, и, наконец, сердце дрогнуло: вот он, самый дорогой, прошедший со мной длинный и трудный путь войны, — сталинградский дневник!

Надпись: «Огненная купель. 1 октября 1942 г. — 2 февраля 1943 г.». Не слишком ли претенциозное название? Но тут же, припомнив, успокаиваюсь: да ведь это же не мое название! Донская казачка — старуха Серафима Игнатьевна Лужникова при встрече с нами в станице Распопинской проронила такие слова:

— Нет уж, соколики, вижу я, теперь вас ничем не застращает Гитлер-супостат... Сквозь купель огненную прошли вы, милые наши солдатушки... Ступайте же, ступайте с богом дальше, без передыху, без останову!..

Это было трудное, грозное время.

Сводки Совинформбюро ежедневно передавали тревожные сообщения, от которых сжималось сердце: «Вчера наши войска продолжали вести ожесточенные бои с противником на северо-западной окраине Сталинграда...»

Весь мир напряженно следил тогда за гигантской битвой на Волге. Здесь решалась судьба нашей Родины.

— Дальше отступать некуда. Умрем, но с места не сойдем!

Слова эти стали священной клятвой.

О том, как сражались в те дни войны нашей 21-й Приволжской армии, занимавшей линию обороны на Дону, между городом Серафимович и станицей Клетской, может свидетельствовать один эпизод, вошедший в историю Великой Отечественной войны.

...Эта небольшая, покрытая чахлым кустарником высота, обозначавшаяся на военной карте цифрой 180,9, была крайне неудобна для обороны. Впереди лежала придонская степь, и высота, напоминая древний казачий курган, служила открытой неподвижной мишенью для немецких пушек, минометов и танков. Но на этой высоте окопались советские гвардейцы, и она превратилась в неприступный редут. Комсомольским взводом, которому было приказано любой ценой удержать занимаемый рубеж, командовал гвардии младший лейтенант Василий Кочетков, наш земляк, куйбышевец.

Когда взвод глубокой ночью занял на высоте окопы, командир роты гвардии лейтенант Астахов отозвал в сторону Кочеткова и совсем не по-военному, не приказным тоном, а как-то просто, душевно сказал ему:

— Итак, Вася, задача тебе ясна: назад — ни шагу! Если понадобится отдать жизнь за Родину... Ну, ты понимаешь...

— Можете не сомневаться, — ответил молодой командир.

Астахов обнял его и поцеловал в обветренные, шершавые губы.

— Драться будем до последнего, — заверил Кочетков и, протянув руку командиру роты, смущенно добавил: — На всякий случай — прощайте...

Астахов ушел на командный пункт роты, а Кочетков вернулся в окопы своего взвода.

Утром разгорелся бой. Непрерывные удары с воздуха. Смерч артиллерийского огня. Сначала высоту атаковали «макаронники» — итальянские фашисты. Цепь за цепью шли они на высоту, густо устилая своими трупами придонскую ковыльную степь.

— Вот как оно получается... — заметил гвардии сержант Шуктамов, строчивший по вражеской цепи из ручного пулемета.

— Пьяные, должно быть... Оравой лезут, — добавил Кочетков. — Что ж, протрезвим...

Первую атаку гвардейцы отбили. Короткое затишье — и снова атака. Из-за бугров, из ложин ринулись немецкие танки. Под прикрытием брони к высоте двигались автоматчики. Отчетливо доносились надрывные крики:

— Форвертс! Шнеллер!..

И бесшабашная пальба.

Но гвардейцы — ни с места. Отсекали пулеметным огнем пехоту от танков, уничтожали ее. Из окопов летели гранаты, били бронебойки.

— Держись, ребята: гвардия умирает, но не сдается! — крикнул своим бойцам Кочетков.

И шестнадцать храбрецов-комсомольцев продолжали сражаться. Вот уже подбито четыре вражеских танка, уничтожено около взвода пехоты. Весь день не утихал ожесточенный бой.

Наступила ночь. Над высотой воцарилась короткая тишина. Ряды гвардейцев поредели. Кочетков сказал:

— Выстояли! И завтра выстоим! Мало нас осталось — девять человек, но высоты не сдадим.

...Занимался рассвет. Шел второй день неравной схватки. После очередного артиллерийско-минометного налета началась восьмая по счету атака. Высоту — рубеж гвардейцев — снова окутал черный дым. Вблизи уже слышался рев моторов, лязг гусениц. Еще несколько минут — и тяжелые фашистские танки, стреляя на ходу из пушек и пулеметов, подошли к высоте.

— Приготовить связки гранат! — подал команду Кочетков. — Действовать самостоятельно, по своему усмотрению. Назад — ни шагу!

— Есть назад — ни шагу! — ответил за всех гвардии сержант Шуктамов.

Под гусеницы головного танка полетела связка гранат. Раздался взрыв. Танк вздрогнул и, сделав пол-оборота, застыл на месте. Из люка стали вылезать гитлеровцы. Кочетков брал их на прицел и косил короткими автоматными очередями.

Но вот у него опустел последний диск.

— За Родину! — во весь голос крикнул Кочетков и, выскочив из окопа, швырнул связку гранат под второй танк.

В ответ хлестнула пулеметная очередь. Зашатавшись, Кочетков выхватил из кобуры пистолет, но тут же повалился на бруствер окопа.

Еще три танка замерли у самой высоты. Их подбили последними связками гранат Шуктамов, Бурдов и Касьянов. Боеприпасы кончились. А немецкие танки все шли и шли к неприступному рубежу. Они ворвались на высоту и начали утюжить окопы...

В эти трагические минуты, когда взвода Кочеткова уже

не стало, к высоте ползком пробралась группа бронбойщиков во главе с командиром роты Астаховым.

...А на следующий день в дивизионной газете «Гвардеец» появились стихи Григория Ясинского. Назывались они «Шестнадцать».

...Василий Кочетков лежит  
у пулемета,  
А рядом с ним пятнадцать  
храбрецов.  
«Огоны!» — и падает  
фашистская  
пехота.  
«Умрем, а победим!» — кричит  
сержант Бурдов.  
Отбита первая атака пьяных  
фрицев,  
Взвод комсомольский, как скала,  
стоит.  
Пусть слава птицей по селам  
и станицам  
О кочетковцах храбрых пролетит.  
Мы любим жизнь, людей, как  
смелый, дерзкий Данко,  
И умереть не страшно ради них.  
Друзья! На нас идут двенадцать  
вражьи танков,  
Наш долг — не дрогнуть,  
уничтожить их,  
...На танки бросились  
герои кочетковцы.  
Покрылась пламенем фашистская  
броня...  
И, как панфиловцы, погибли  
комсомольцы.  
Но победителями их приняла земля.

...18 ноября 1942 года. После долгих поисков мы с Борисом Мясниковым нашли героический батальон Щитикова. Зашли в блиндаж к комбату. Пахнет гарью от коптилки, устроенной из снарядной гильзы и хитроумно подвешенной к низкому потолку ординарцем Щитикова, смуглым, стройным, красивым, как гусар, Анамередовым. То ли казах, то ли калмык — не поймешь.

— Ай, мал-мал, жаксы булада! — весело заговорил Борис, обнимая Анамередова. — Якши, якши, кунак лихой!..

Анамередов, смертельно усталый, полусонный, чуть открыл рот, блеснул ровными, белыми, как зерна на початке кукурузы, зубами и кивнул головой:

— Жаксы, товарищ капитан!.. Садись!..

Сели на ящики из-под снарядов. Молчим. Со Щитиковым и его ординарцем Анамередовым мы давным-давно знакомы. Вместе были на Днепре под Рогачевом, где вела тяжелые оборонительные бои наша 21-я Приволжская армия, вместе отступали, вместе мытарились по Белоруссии в окружении, пробирались на восток, вместе питались зелеными желудями, а воду пили густо-коричневую, с мелкими корешками водорослей. Спали, сидя на болотных кочках, мокрые, изможденные, голодные, как волки... Машинально — в который раз! — протянется рука к сумке: авось там случайно сохранилась кроха солдатского сухаря, ан нет — пусто!.. И снова — дрема. Тяжелая, глубокая, непробудная... Под ногами — шевельни только — хлупает жижа, вонючая, испаряющая какой-то газ. «Это метан!» — сказал тогда Борис Мясников.

Плывут мысли-воспоминания, а мы сидим молча, дышим самосадом, только Анамередов, подперев щеку прикладом автомата, блаженно, по-богатырски храпит. А Щитиков, словно бы нас и не существует, наклонился над картой, что-то там отмечает карандашом.

— Степан Петрович! — устало роняет Мясников. — Видишь, какое дело...

— Вижу, — оторвавшись от карты, сурово отвечает комбат и оглядывает нас критически. — Тоже мне вояки!.. Махновцы, а не корреспонденты газеты. Где ваша бравасть, лихость?

Вид у нас, действительно, того... Мешковатые шинели заправлены кое-как, шапки-ушанки в бурой, липкой глине — свидетельство неоднократных ныряний в щели и окопы, кирзовые сумки, набитые блокнотами и сухарями. Лица, обросшие, грязные — одни глаза да зубы блестят.

— Эх-ма, нет над вами хозяина! — притворно пожалел комбат. — Ну, так и быть. Анамередов! — вдруг весело окликнул он ординарца. Тот встряхнул головой, встал, оскалил зубы, показывая, что готов выполнить любой приказ. — А ну-ка, Анамередов, принеси-ка нам три котелка горячего супа. Живо! Да пусть там повар пожирней нальет... Для представителей прессы! Видишь, как отощали...

— Степан Петрович, — начал Мясников, — мы к тебе...

— Ясно, что ко мне, — прервал Щитиков и сомкнул кустистые, чуть рыжеватые брови. — Догадываюсь, братцы, за подвигами явились. Так ведь? Что ж, расскажу...

Но прежде чем рассказать, он стал рыться в сумке. Долго рылся. Наконец вынул оттуда небольшой блокнотик, окропленный по краям кровью, и передал нам.

— Вот! — как-то торжественно и взволнованно сказал комбат.

Блокнотик в двух местах пробит пулями. Раскрываем. Торопливый, мелкий, словно бисерный почерк. Читаем листок, другой, третий... Фамилии бойцов, числа уничтоженных боевых точек, взятых в плен фрицев... Лаконичные заметки о наступательных боях... И совершенно неожиданно, без всякой связи, логики: «Маринка моя милая, сердце мое! Если бы ты знала, что творится в моей душе! Ох, как я каюсь, как ругаю себя за то, что был таким беззаботным, таким глупым! Только теперь, только после всего пережитого, я понял, с кем нужно связывать свою судьбу... Навсегда, на всю жизнь! Здесь, под Сталинградом, многие бойцы перед тем, как идти в атаку, оставляют парторгу или командиру заявления: «Если погибну, прошу считать меня коммунистом...» Понимаешь? Вот так и я. И только так!»

Листаем дальше. «У меня есть мгновения... Они — как зарницы во мраке ночи... Я стреляю. За свободу стреляю... За тебя стреляю... Фашистам не понять, что такое новая Россия, что такое мы, советские люди... Нет, Марина, они не поймут. Верно сказал Суворов: «Русские прусских всегда бивали...» Что ж, и на этот раз побьем. Да так, что навеки запомнят...»

На последнем листке той же рукой аккуратно написано заявление — просьба принять в партию.

— Кто же был владелец этого блокнота? — спросили мы комбата.

— Командир первого стрелкового взвода гвардии лейтенант Андрей Журавлев, — ответил Щитиков и нахмурил свои кустистые брови. — Редкой храбрости человек... До войны был учителем в Ставрополе-на-Волге.

— Расскажите поподробнее о нем, — попросили мы.

И вот что узнали мы из рассказа комбата.

...Утром, в тот самый день, когда Журавлев подал заявление в ротную парторганизацию, полк пошел в контрнаступление.

— К Волге, братцы, идем, к Сталинграду, — радовался Журавлев. — Фрицам в спину ударим!

Он повел свой взвод на штурм вражеских оборонительных позиций под Гумраком. Уже недалеко и до Сталинграда. Сквозь адский огонь продвигались воины-гвардейцы. И вдруг по цепи, точно молния, пронеслось: погиб командир роты!

Залегли бойцы, прижались к земле. Не слышно больше воодушевляющего, волевого голоса комроты Никандрова.

И тут неожиданно раздался другой, громкий, властный голос:

— Вперед, гвардейцы! Ротой командуя я!

Это был Журавлев. Атака возобновилась. А когда в траншеях врага завязалась рукопашная схватка, Журавлев, поддавшись общему порыву, забыл, что ему надо управлять ротой, вырвал у раненого бойца автомат и ринулся в самое пекло. Он на ходу выпустил несколько очередей по фашистам. Пять-шесть фрицев, кучкой перебежавших из одной траншеи в другую, замертво повалились на бруствер. Но в это время с правого фланга длинной очередью хлестнул немецкий пулемет. Журавлев остановился, покачнулся и, уронив автомат, рухнул на снежный бугор...

Комбат замолчал, опустил голову, задумался. Машинально положил руки на карту, и руки — так же машинально, видимо, от внутреннего толчка — сжались в кулаки: огромные, как гири, с узловатыми, набухшими от прилива крови венами.

— У меня весь батальон такой!

Закурили. Молчим, затягиваемся ароматным донским самосадом, которым снабдил нас перед уходом на передовую старшина редакции газеты «Боевой натиск». Щитиков, попыхивая «козьей ножкой», как трубкой, о чем-то думает.

— Степан Петрович, а ведь мы за другим к тебе пришли, — чуть погодя нарушил молчание Мясников. — Мы к тебе с особым заданием...

— С особым? — вынув изо рта «козью ножку», переспросил Щитиков. — Уж не с моим ли батальоном завтра?..

— Да.

— Добро! — весело блеснул глазами комбат и, тут же посуровев, сжал свои огромные кулачищи. — Давно мы ожидаем этого часа...

19 ноября 1942 года было пасмурно. В оврагах и низинах — густой, неподвижный туман. Кругом такая непривычная тишина, что невольностораживаешься. И вдруг

грохнуло с огромной силой. В одну-две минуты гром прокатился по всей линии Донского фронта. Заговорили тысячи орудий всех калибров.

К небу поднялись, кудлатые султаны черного дыма. Передний край заволокло мутной завесой. Земля вздрагивала и стонала от канонады...

Артиллерии помогали «катюши», авиация. Погода не летная, а «Илы», эскадрилья за эскадрилей, плыли и плыли к линии фронта, сбрасывали свой смертоносный груз на головы фашистов.

Удар оказался настолько неожиданным и ошеломляющим, что некоторое время со стороны противника не раздавалось ни единого ответного выстрела.

Артиллерия перенесла огонь с переднего края в глубину вражеской обороны. Батальон Щитикова, как и вся дивизия, поднялся в атаку. Застучали пулеметы то длинными, то короткими очередями. Они строчили не переставая. Глухо хлопали гранаты. Еще менее слышна трескотня автоматов. Разве пехотное оружие пересилит оглушающую артиллерийскую пальбу, залпы «катюш», рев самолетов?

К 11 часам линия обороны противника прорвана на многих участках, в том числе и на участке батальона Щитикова. В образовавшиеся бреши командование армии немедленно ввело танки и кавалерию. Цель — взять Калач! Где-то в том районе мы должны замкнуть кольцо окружения немецко-фашистских войск, рвущихся к Волге. Смело задумано, дерзко, умно.

21 ноября 1942 года нашей 21-й армией разгромлена группировка врага в районе станицы Распопинской. Целый румынский корпус сдался в плен. Нескончаемой вереницей бредут его солдаты на левый берег Дона.

Потеряв корпус союзника, немецко-фашистское командование срочно перебросило на этот участок свои резервные части. Ничего, однако, не вышло. Смяв их, наши полки пошли вперед.

Калач наш! Мы взяли его с ходу несколько дней назад. Первым ворвался танковый батальон капитана Сибирцева. Точно снег на голову обрушился он на гарнизон этого большого города. Мне выпало сидеть рядом с Сибирцевым в его танке. Танк остановился у двухэтажного здания горисполкома. Механик-водитель Доронин открыл люк, вылез из танка и, радостно улыбаясь, сказал:

— Товарищ капитан, Советская власть в данном городе восстановлена...

...Жерла наших орудий направлены теперь в спину армии Паулюса, пытающейся овладеть волжской цитаделью. Фашисты в огромном котле...

Весь декабрь 1942 года был очень трудный. Беспрерывные кровопролитные сражения. На командном пункте нашей армии не раз появлялся Рокоссовский и, улыбаясь, спрашивал:

— Ну, как тут у вас?

Дивизии нашей армии, заняв оборону, ежедневно отбивали яростные контратаки гитлеровцев, стремившихся во что бы то ни стало прорвать кольцо окружения.

1 января 1943 года второй раз встречаем Новый год на фронте. Сегодня у нас радость и твердая вера в победу. Новогодняя ночь была темная, тихая, падал снег. Ровно в 24.00 на передовой раздались залпы из тысяч орудий. Особенно гулко, сотрясая воздух, ухала тяжелая артиллерия. Небо озарилось яркими всполохами выстрелов.

— Новогодний салют! — сказал редактор Яхлаков.

Мы, фронтовые газетчики, вышли из полуразрушенного домика посмотреть грозную картину ночной канонады. Смотрели молча. Когда дела идут хорошо, слова не нужны...

26 января 1943 года. Последняя неделя января. Лютуют морозы. Снег не скрипел, а звенел под ногами. Воробышки замерзли на лету. А разыграется ночью свирепый буран — глаз не откроешь, с ног валит.

В минуты затишья можно осмотреться вокруг. Тогда перед тобой явственнее предстает поле битвы. Налево и направо, впереди и сзади — всюду, куда ни глянешь, степь, покрытая глубоким снегом, ошетилившаяся стволами орудий. Никаких укрытий, все как на ладони. Рыть гнезда для пушек, окопы для расчетов некогда. Да и земля — что камень, на метр промерзла.

Весь передний край обозначен невысокими султанчиками черного дыма. Бойцы жгут солярку, ящики из-под снарядов. Руки коченеют, прикипают к оружию. В рукавицах или варежках стрелять неудобно даже из «максима», а уж из автомата — и подавно.

Тихо урчат на малых оборотах танковые моторы. Приземистые, юркие Т-34 рассредоточились на указанных им

участках, затаились в ожидании очередного броска вперед. Позади танкистов, в продолговатой ложбинке, заняли позиции дивизионы «катюш», глядят в небо расчехленными прицельными рамами. Сигарообразные реактивные снаряды уже подвешены. Последует команда: «Залп!», и прочертят небо огнем стрелы-ракеты, неся в себе губительную, наводящую смертельный страх на фашистов силу.

Утром 26 января я на командном пункте 155-го стрелкового полка, которым командовал подполковник Козин. Этот небольшой, полуразрушенный гранатами немецкий bunker бойцы заняли два дня назад.

— Скоро начнем, — сказал Козин сидевшему рядом на снарядном ящике командиру танкового батальона капитану Кравцову. — Учти, брат, последняя атака должна быть... сам понимаешь! Как самочувствие у твоих?

— Думаю, неплохое, раз собираются первыми «поздороваться» с Паулюсом, — ответил капитан с усмешкой.

Сзади вдруг ухнули два или три тяжелых орудия.

— Пристрелка! — сказал Козин и посмотрел на часы. — Еще пять минут.

И верно, ровно через пять минут загрохотали тысячи орудий. Взорвав тишину, над заснеженной степью полчаска гремела канонада. Дрожал, колыхался морозный воздух, гудела, стонала сталинградская земля...

После артподготовки полк Козина пошел в наступление. Облепив броню танков, штурмовые группы автоматчиков проскочили через разрушенные минные поля и пересекли пригородную железнодорожную ветку. Впереди шли коммунисты. Еще один рывок — и они, достигнув разъезда, сомкнулись с подразделениями 13-й гвардейской дивизии генерал-майора Родимцева.

Еще кругом рвались фашистские снаряды, мины, а заместитель командира полка по политчасти Еремин приветствовал воинов 62-й армии Чуйкова.

Через полчаса Еремин встретился с генерал-майором Родимцевым. Усталые, не раз смотревшие в лицо смерти, они были так взволнованы, что на их глазах показались слезы.словно родные братья после долгой разлуки, обнялись — и молча, недвижно стояли в окружении соратников.

Битва продолжалась. Полк Козина, продвигаясь вперед, в тот же день подошел к Мамаеву кургану, где насмерть бились гвардейцы 43-го полка 234-й дивизии. Здесь, в центре

великого сражения, произошла встреча частей нашей армии с теми, кто покрыл славой свои имена, кто прославил навек степной курган, преградивший врагу путь к Волге.

2 февраля 1943 года в 16 часов 00 минут пушки замолкли. Великая битва на Волге закончилась. Хваленая армия фельдмаршала Паулюса капитулировала. Его штаб, размещавшийся в подвале универмага, и все командиры дивизий — около двадцати генералов — сдались в плен.

В трескучий мороз, по изрытым, искромсанным дорогам, проваливаясь в рыхлом снежном месиве, обходя собственные разбитые танки, тягачи, орудия, медленно двигались колонны укрощенных гитлеровцев. Они уже отвоевались.



Не до отдыха нам.

И неделю подряд,  
засыпая урывками ночью,  
на лесах у станков

Сталинградцы стоят  
по-солдатски: упрямо и молча.  
Нам не время, товарищи, брать отпуска:  
продолжается битва за город.  
Если даже приходит ночами тоска  
в шалаши, в неуютные норы,  
не уйдут сталинградцы — куда ни зови,  
отовсюду спешат возвратиться.  
Силой нашего гнева и нашей любви  
Сталинград из руин возродится!

Сталинград

Май — ноябрь 1943 г.

## ДЕТЯМ СТАЛИНГРАДА

Куйбышев. В райкоме ВЛКСМ на столе аккуратно сложены детские рубашонки, платица, сандалии. Это комсомольцы Большеглушицкого района Куйбышевской области собрали вещи в подарок детишкам Сталинграда. Вещи собирали с большой радостью. Пионеры, школьники, молодые колхозники в свободное время вышивали фартучки, крахмалили рубашки, вязали варежки. Ребятишки начальной школы № 2 села Большая Глушица принесли каждый по маленькому клубочку шерсти, и поэтому связанные носки получились смешными, полосатыми, но зато теплыми и удобными. Много вещей собрали комсомольцы зерносовхоза им. Фрунзе. Они недавно приехали из Ростовской области, сами пережили весь ужас немецкой оккупации, растеряли свои вещи, но все же решили поделиться одеждой и обувью со сталинградцами. Секретарь Большеглушицкого райкома ВЛКСМ Раиса Юдина и пионервожатая Елизавета Кузнецова вместе со вторым секретарем райкома Валентиной Князевой послали письмо сталинградцам. Девушки подыскивают самые теплые слова: «Нам очень хочется, чтобы эти туфельки были впору малышам, а красный бант понравился юной жительнице Сталинграда».

Комсомольцы собрали для сталинградских ребятишек уже 250 вещей.

«Комсомольская правда», 1943, 17 июня, № 141.

## **БРИГАДЕ АРТИСТОВ — МЕДАЛЬ «ЗА ОБОРОНУ СТАЛИНГРАДА»**

Фронтная бригада артистов Куйбышевской филармонии и Театра музыкальной комедии, работавшая под руководством Яны Ядова, награждена медалью «За оборону Сталинграда». В дни жестоких сражений на Донском и Сталинградском фронтах артисты объезжали передовые позиции, вдохновляя своим искусством бойцов и офицеров Красной Армии на боевые подвиги.

За четыре месяца бригада дала 208 концертов, на которых присутствовало 70 тыс. зрителей-фронтовиков. Каждый концерт превращался в митинг.

Пять месяцев провела на фронте бригада под руководством артиста Дуброва. За это время дано 180 концертов. В отзывах воинских частей отмечается высокое качество концертов и самоотверженная работа артистов в тяжелых фронтовых условиях...

«Волжская коммуна», 1943, 5 октября, № 204.

## **СОРЕВНОВАНИЕ**

В центре города Куйбышева, почти на самом берегу Волги, расположились два вроде бы ничего общего не имеющие между собой предприятия — швейная фабрика «Красная звезда» и Средневожский станкостроительный завод. В самом деле, что может быть общего между ними? Завод — старинное, с дореволюционной историей предприятие, основанное еще в прошлом веке; фабрика, ровесница Октября, начинала свою историю с маленьких мастерских, где шили первые красногвардейские гимнастерки...

Но так уж случилось, что именно эти два предприятия еще с двадцатых годов объединились крепкой рабочей дружкой. Они соревновались между собой, и весь город знал, кто победил в том или ином месяце, квартале. Благо, узнать, кто впереди, было несложно: над фасадом предприятия — победителя соревнования зажигалась красная звезда. В честь этого и название свое получила швейная фабрика — часто, видимо, зажигался над ней знак трудовой победы.

И вот — война... Как ни тяжело было мужчинам, а женщинам труднее. На фабрике работали они по двенадцати, а то и по пятнадцати часов. Опытных рабочих заменили молодые необученные девчонки, а план постоянно увеличивался. Но ведь еще нужно на свои да орсовские огороды, на лесозаготовки, на хлебоуборку, а зимой улицы расчищать, чтобы трамваи ходили. Кто же, если не женщина, в госпиталях подежурит, посылки на фронт соберет... И все это помимо дел домашних: надо придумать, чем детей накормить, во что их одеть-обуть...

Но ни словом, ни видом не выдавали они, как им трудно. 3 июля сорок первого года на общефабричном митинге мастер Екатерина Петровна Глазунова сказала:

— Мужчины пошли на фронт. Нам, женщинам, не пристало ждать, что победа придет сама. В тылу мы должны заменить мужчин и обеспечить фронт всем необходимым. Нам надо собрать урожай до каждого колоска. Предлагаю послать на фронт как можно больше людей, а те, кто останутся, выполняют нормы и за себя и за них.

В те дни женщины-работницы «Красной звезды» написали красноармейцам, отъезжающим на фронт:

«Дорогие! Провожая вас на поля сражений, мы гордимся тем, что на нашу долю выпала великая честь трудом своим помогать вам защищать нашу горячо любимую социалистическую Родину от врага. Будьте спокойны: дело, которое вы оставили, уходя на фронт, находится в крепких руках...»

У станкостроителей были свои заботы. Через месяц после начала войны завод получил задание, не уменьшая выпуска серийных станков, в кратчайший срок освоить производство специальных изделий для оборонной промышленности. И еще одно неперемнное веление времени: экономить металл, резко сократить его расход...

И металл экономить, и станки давать... Тяжелая задача. Да к тому же лучшие специалисты ушли на фронт — всем заводом проводили Имуранова, Воробьева, Катаева и многих, многих других...

Уже приходили первые треугольнички фронтовых писем. Их читали вслух, их печатали в заводской многотиражке...

«Здравствуйте, товарищи станкостроители! Шлю вам всем боевой краснофлотский привет! Мы, бойцы Краснознаменного Балтийского флота, хорошо помним славные дела наших отцов — героев Балтики, защищавших тогда еще молодую Советскую Республику от белогвардейских полчищ...

Совсем по-другому выглядит сейчас краснознаменная Балтика, вооруженная передовой техникой, могучими кораблями, отважными командирами и бойцами, воспитанными социалистической Отчизной.

В грозные дни войны с фашистскими бандами, вероломно напавшими на священные рубежи нашей любимой Родины, балтийцы грудью встали на защиту своего Отечества. За этот короткий промежуток времени не один десяток вражеских кораблей пошел на дно морской пучины.

Для фашиста — кровопийцы,  
Поджигателя, убийцы  
Место в море есть одно:  
Носом в воду — и на дно.

Так говорят наши краснофлотцы.

Весь советский народ как один человек встал на защиту Родины, чести, свободы. Каждый советский патриот с достоинством выполняет свой долг... Победа будет за нами.

Фронт и тыл неотделимы. Мы все вместе куем победу над презренным фашизмом. Но, товарищи, призываю вас к тому, чтобы одновременно со стахановской работой вы все упорно овладевали военными знаниями... Изучайте, товарищи, винтовку, пулемет, гранату, тактику боя и т. д. Выковывайте крепкие боевые отряды народного ополчения!

Прошу передать привет тт. Яковлеву, Фрумову, Мальцевой, Никишиной, Губиной, Шугаеву, Шустову, Михайлову, Курдюмову, Кондратьеву, Шараповой.

В. Воробьев».

Шли письма с фронта, шли письма на фронт. Порой писать их приходилось в самых неподходящих условиях. А одно из них было написано на лесозаготовках, в студеную зиму сорок второго...

Перед станкостроителями встал вопрос, как использовать то небольшое количество угля, которое отпущено заводу, — то ли лучше отапливать цехи, то ли прибавить огонька в литейке. И единодушно отдали предпочтение литейному цеху... А сами работали в пальто, телогрейках, старых потрепанных кожанках...

Швейницы заготавливали себе дрова сами: без тепла им нельзя — машинки застынут, тогда и плана не выполнишь...

...Машину швыряло по лесной взмокшей дороге, опрокидывало то на одну сторону, то на другую. А когда по осклизлой грязи она съезжала в ямину, десятки иззябших, захладевших рук упирались в борта, и машина, натужно хрипя, выползала из грязи и снова вихляла сквозь строй промокших до самого нутра черных деревьев. А сверху лил и лил из серой мути холодный вязкий дождь.

Делянку для швейниц выделили недалеко от деревни,

и на ночь можно будет добраться до настоящего ночлега. Договорились с хозяевами — каждая принесет по поленцу, и ночуй в тепле, суши около печки обувку-одежку.

Переговариваются-договариваются, кто с кем будет пить, кто сучья рубить, кто складывать штабельки. Подковыривают друг друга, бодрятся. Чем не лесорубы?

Расхристанный автомобильчик в последний раз подпрыгнул на корнях и остановился у вырубки. Взвизгнула дверца. Из кабины выскочила женщина-шофер в треухе, в кирзовых сапогах и распахнутой телогрейке. Стукнула носком сапога по колесу, простуженным голосом крикнула:

— Слазь, гражданочки, приехали!

— Ну, ты и везла, подруга! — с трудом выговорила Татьяна Ивановна Вавилова, мастер закройного цеха. — Аж все нутро повышибла.

— Говори! — вспыхнула шоферица. — Я вас везла, как в колыбели. Настоящих-то дорог вы и не нюхали. А здесь не дорога — скатерть.

— Чего там! Спасибо! — крикнула мастер Нина Ивановна Афиногенова. — Айда сюда, девочки, смотрите — бригада Ольги Донсковой пять штабелей выложила. Видали? А что на бревне нацарапали? «Посмотрим, как вы!»

— А чего тут? — оборвала Тоня Коробкова, — они пять, а мы шесть напилем-нарубим. Татьяна, давай быстрее!

Лесник с жалостью поглядывал на обступивших его заготовителей дров, растолковывал безнадежным тенорком, где и какие деревья надо пилить, как следует обрубать сучья, как резать стволы на двухметровки, как укладывать штабеля. Откашлялся, махнул рукой, сказал:

— Удивляюсь я вам, бабы. В чем только душа держится, а лезете на мужицкую работу.

— А мы десятижилные, — отрезала Тоня Коробкова, — все бы понял, если бы попробовал по двенадцати часов в полупотемках шинели шить. А тут что? Лесной дух хмелем бьет. Нинка, пошли в пару!

Сначала работа шла вроде бы бойко, потом все притомились, посшибали руки, приумолкли. Слышался глухой шумок дождя, глухое тюканье топоров, шуршанье пил, насадный треск падающей сосны или осины. К полудню и совсем было приуныли. Но тут послышалось дребезжание, гудение, и к штабелям подковылял «зисок».

— Девчата! Обед прибыл! — крикнула Нина Афиногенова. — А ну давай, навались!

После обеда работа пошла веселее. И не заметили, как сумерки стали гуще. Заторопил резкий фальцет шоферицы:

— Долго мне вас ждать? Одна фара у меня только уцелела!

На этот раз знакомая дорога не казалась такой ухабистой и длинной. Даже удивились, что быстро увидели подслеповатые огоньки в избах деревеньки. Свет давали керосиновые лампы.

А сон не шел... Одолевали невеселые, тревожные мысли.

— Девчонки, давайте-ка письмо на фронт напишем. Скоро двадцать четвертая годовщина Красной Армии, вот и успеем к празднику...

Усталые, промокшие и продрогшие, сели женщины писать письмо на фронт...

«Здравствуйте, дорогие защитники нашей Родины — доблестные фронтовики, героически сражающиеся с дикими ордами людоеда Гитлера, с гитлеровской грабительской армией, нанося ей удар за ударом, поражение за поражением.

Поздравляем вас с праздником — 24-й годовщиной Красной Армии.

Желаем вам самых наилучших успехов в боевых делах, в деле окончательного разгрома фашистских полчищ, вероломно напавших на нашу цветущую Родину, в деле окончательной расплаты с гитлеровскими мерзавцами за все их чудовищные злодеяния над мирным населением и советскими военнопленными, за все то, что осквернили они у нас, разграбили и разрушили, созданное нами илижитое годами и веками.

Мы верим все и каждый в отдельности из нас, что этот час — час грозной и окончательной расплаты с врагом — близок, что недалек тот день, когда доблестная Красная Армия окончательно разгромит фашистские полчища и навсегда очистит священную территорию нашей Родины от немецких оккупантов.

Он будет, день без грохота и воя,  
На нашем самом западном краю.  
И будет счастье на земле такое,  
Что даже камни песни запоют.

В тот день бойцы не встанут спозаранку:  
Падет последний вражеский редут.  
В тот день под грохот взорванного танка  
Зеленые травинки прорастут.  
Их никогда никто не потревожит.  
Им не чернеть в дыму пороховом...  
Я верю в день весенний и погожий —  
В грядущий день победы над врагом.

Эти стихотворные строки принадлежат перу советского поэта Николая Руднева. Но в нем, в этом стихотворении, голос всего советского народа, все его думы, мысли, чаяния, горячая вера в грядущую победу над врагом.

Дорогие товарищи!

Посылаем вам к празднику юбилейные подарки. Они, эти подарки, напомнят вам, что о вас заботится вся страна, весь советский народ, все от мала до велика.

Будьте здоровы. Пишите ответ. Ждем. (Наш адрес: гор. Куйбышев, областной, ул. Фрунзе, 96, швейная фабрика «Красная звезда».)

По поручению фабричного коллектива письмо подписали: А. Нолешникова, А. Лоцманова, Гребенникова, Мартынова, Земцова»

Документы тех дней... Сколько в них красоты и силы! Сколько веры в победу, взволнованности и даже торжественности... И ни слова о трудностях, о голоде и холоде, о бессонных ночах и почти круглосуточном труде!

С фронта приходили всякие письма. Были в них и тепло, и солдатское спасибо, и горькие вести...

Одна из таких горьких вестей пришла на станкозавод вместе с вырезкой из фронтовой солдатской газеты.

Перед самым началом войны привел на завод своего сына Федора лучший токарь завода Василий Санчиров. И Федя сумел завоевать уважение рабочих. Стал отличным токарем, как и его отец.

Сразу же после объявления войны Федор пошел в танковое училище. А оттуда на фронт. И вот...

«Санчиров стоял перед генералом. Тот словно изучал лейтенанта, внимательно осмотрел его с ног до головы и, удовлетворившись осмотром, заговорил:

— Вашему экипажу, товарищ лейтенант, поручаю охрану штаба. Вот в этом районе, — генерал показал на карте, куда надо было прибыть, — займете оборону и будете действовать по указанию начальника штаба.

Санчиров думал, что генерал даст его экипажу самое тяжелое задание, пошлет в самое пекло боя, где нужен точный расчет, быстрота, находчивость. Приказ генерала был неожиданным. Санчирову хотелось сказать, что его место там, среди атакующих. Но он не сказал, лишь уходя, оглянулся в надежде, что генерал вернет его, отменит свой первый приказ и пошлет в бой.

Генерал не вернул Санчирова. Лейтенант подошел к самоходке... Экипаж ждал, что скажет командир. А он стоял и молчал. Потом медленно проговорил:

— Нам приказано охранять штаб.

— Как?! — вырвалось у механика-водителя.

— Очень просто, охранять штаб... И никаких разговоров! — отрезал Санчиров. — Со штабом знамя — наша боевая святыня.

Немцы не выдержали натиска советских артиллеристов и в панике начали отходить. Гитлеровское командование понимало, что задержать стремительный удар советских батарей оно не в силах. Собрав превосходящие силы на другом участке фронта, фашисты начали контратаку. Расчет был прост: атакуя штаб, оттянуть часть наших наступающих сил с тем, чтобы потом восстановить положение. Противнику удалось прорваться в тыл. К обеду их танки и автоматчики появились недалеко от штаба. Лейтенант Санчиров первым заметил гитлеровские машины.

— Держаться до последнего. Позади нас — знамя, — говорил командир.

Расстояние сокращалось с каждой минутой. До гитлеровцев оставалось не больше 600 метров.

— По головному, огонь! — слышалась спокойная команда лейтенанта.

Тотчас раздался выстрел. Запылала головная вражеская машина. Выстрелы следовали один за другим. Загорелись второй, третий, четвертый фашистские танки. Гитлеровцы открыли огонь, но не знали, откуда настигнет их смерть. Автоматчики удирали. А санчировцы один за другим посылали снаряды. Не выдержали немецкие «тигры». Они разворачивались и на предельной скорости уходили в лес, оставив на поле боя шесть горящих танков.

Через полчаса гитлеровцы снова пошли в атаку, ведя частый огонь. Санчиров приказал не стрелять.

— Немцы хитрят. В панике они даже не заметили, где стоит наша самоходка. Теперь они хотят своим огнем спровоцировать нас, хотят, чтобы мы обнаружили себя. Подпустим ближе и снова внезапно откроем огонь...

До наступления темноты экипаж просидел в самоходке, продолжая пристально следить за маневрами врага. Самоходчики изнемогали от жары. Хотелось пить. Потрескались пересохшие губы. Из трещин выступала солоноватая кровь. Но никто даже не подумал о том, чтобы открыть люк и принести воды...

...Утром гитлеровцы предприняли новую контратаку.

Санчиров и его экипаж выжидали. Они, как и вчера, подпустили фрицев на близкое расстояние. Пятнадцатикратное численное превосходство врага не пугало самоходчиков. Они жили одной мыслью: уничтожить танки противника.

— Враг не должен пройти! — сказал экипажу Санчиров.

— Враг не пройдет! — ответили ему подчиненные.

Гитлеровцы наступали осторожно. Продвинувшись на несколько десятков метров, «тигры» остановились и начали обстрел. Они хотели во что бы то ни стало обнаружить, откуда им вчера нанесли такой сокрушительный удар. Но самоходка молчала. Гитлеровцы нервничали. Немецкий педантизм отказывал им. Беспорядочно стреляя, фашистские машины устремились к месту вчерашнего разгрома. Санчировцы молчали. Они подпускали врага поближе, на верный прямой выстрел.

Очевидно, решив, что самоходчики ушли, гитлеровцы обнаглели. На некоторых машинах открылись люки. И в этот момент прозвучал первый выстрел. Правофланговый «тигр» остановился как вкопанный. Через мгновение над ним взметнулось пламя. Вслед за правофланговым запылал левофланговый танк.

Санчиров правильно рассчитал. Удары по флангам должны были ввести немцев в заблуждение, посеять среди них панику.

Так оно и получилось.

Пока немцы вели огонь по площадям, Петров меткими выстрелами поджег еще три вражеских танка. Наконец немцы обнаружили замаскированную самоходку и начали обстреливать ее... Вражеский снаряд угодил в топливные баки. Самоходка загорелась.

— Товарищ лейтенант, горим! — крикнул заряжающий Брызгалов.

— Немцы горят, — прохрипел Санчиров. По его лицу тонким ручейком текла кровь. Дышать в самоходке становилось все труднее. Было невыносимо жарко, от дыма слезились глаза. А немцы рвались вперед.

Обратить врага в бегство — эта мысль не покидала ни Санчирова, ни его подчиненных. Механик-водитель Осминин завел мотор. Двигатель заработал на малых оборотах. Слабеющий от потери крови Санчиров собрал последние силы и крикнул:

— Больше газа!

Мотор взревел. Значит, есть еще возможность двигаться.

— За Родину, вперед! — отдал последнюю команду Санчиров.

Осминин включил передачу. Самоходка сдвинулась с места и, горящая, как факел, устремилась навстречу врагам.

Тяжело раненный Петров беспомощно опустился на днище.

Гитлеровцы, увидев мчащуюся на них горящую самоходку, не выдержали и поспешно оставили поле боя. Их начали преследовать подошедшие резервы наших войск.

...С обнаженными головами стояли советские воины вокруг санчировской машины. На их лицах — скорбь, в глазах — неугасимое пламя ненависти к фашистским захватчикам.

— Такие люди не умирают, — сказал о санчировцах генерал. — Они будут вечно жить в сердцах советских людей, будут служить примером высокого патриотизма, будут звать наш народ, советских воинов на новые подвиги во славу социалистической Родины...»

Статью из фронтовой газеты читали во всех цехах станкостроительного, ее передали и швейницам — многие девушки знали этого скромного, вроде ничем не приметного парня, ставшего в военный час Героем Советского Союза.

В самые трудные месяцы войны, когда враг стоял на пороге столицы нашей Родины — Москвы, родился замечательный патриотический почин рабочего класса, колхозного крестьянства, трудовой интеллигенции — своими личны-

ми средствами помогать Родине в строительстве боевых самолетов и танков. В ноябрьские дни сорок первого появилось письмо рабочих-станкостроителей. Вот оно.

«Дорогие товарищи!

Пятый месяц народы Советского Союза ведут Великую Отечественную войну против озверелых гитлеровских банд, вероломно напавших на нашу страну. Несмотря на огромные потери, нанесенные врагу нашей доблестной Красной Армией, не считаясь с гибелью миллионов солдат, Гитлер бросает в огонь войны новые и новые полчища. Ценой гибели целых армий германский фашизм добился временных успехов и захватил часть нашей территории. Немецко-фашистские захватчики грабят и разрушают созданные трудами рабочих, крестьян и интеллигенции города и села, убивают и насилуют мирных жителей, не щадя женщин, детей и стариков.

Серьезная опасность, нависшая над нашей Родиной, еще более сплотила наш народ. Вся великая советская страна превратилась в вооруженный лагерь. Фронт и тыл проникнуты единой волей — разгромить немецких захватчиков, истребить всех до единого немецких оккупантов, пробравшихся на нашу священную землю. Потоки вражеской крови пролили бойцы нашей армии и флота, героически защищая честь и свободу Родины, мужественно отбивая атаки озверелого врага. Самоотверженно работают трудящиеся в тылу, оказывая всемерную помощь фронту.

Для быстреего и окончательного разгрома врага нам нужно выпускать больше танков, самолетов, пушек, винтовок, пулеметов. Мы, рабочие, служащие и инженерно-технические работники станкозавода, считаем своим священным долгом сделать все, чтобы обеспечить нашу армию достаточным количеством современного вооружения и свести к нулю превосходство немцев в танках. Каждый из нас горит желанием отдать все силы на благо любимой Родины, каждый готов к любым жертвам во имя победы. Мы еще более повысим производительность труда, будем давать все больше продукции. Днем и ночью мы будем неустанно ковать победу над врагом. Но мы считаем это недостаточным.

В целях быстреего выполнения указания об увеличении в несколько раз производства танков в нашей стране мы предлагаем создать танковую колонну имени Валериана

Владимировича Куйбышева. Мы предлагаем собрать средства, необходимые для постройки всех танков колонны, среди трудящихся Куйбышевской области. Мы отчисляем однодневный заработок на создание танковой колонны и обращаемся ко всем трудящимся области с призывом последовать нашему примеру.

Товарищи рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, все трудящиеся нашей области! Самоотверженным трудом крепите военную мощь нашей страны! По-стахановски работая на своем посту, организуйте сбор средств на строительство танковой колонны имени В. В. Куйбышева! Создадим мощную колонну танков, пусть она несет смерть врагам нашей страны, пусть беспощадно громит заклятого врага, истребляет немецких оккупантов! Поможем нашей героической Красной Армии разгромить немецких захватчиков и истребить их всех до единого!

По поручению коллектива станкозавода обращение подписали: Астафуров, Блинов, Рудзит, Егоров, Белкин».

Не отставали от станкостроителей и швейницы. Они приняли активное участие в строительстве танковой колонны им. В. В. Куйбышева. Здесь же, на митинге, коллектив фабрики взял шефство над одной из палат госпиталя. Женщины носили раненым бойцам гостинцы, книги, газеты, дежурили по вечерам, устраивали концерты. Тепло и ласка помогали выздоровлению фронтовиков.

На протяжении всей войны женщины вели самое широкое социалистическое соревнование за выполнение заданий на 200 процентов. И это тогда, когда не хватало электричества, пара, ниток, иголок, ножниц, наперстков.

Доставали, берегли инвентарь, модернизировали машины. В цехах царил суровый закон: «Иголка и нитка — народное достояние». Малюсенький инструмент — иглолка, а без него куда же? Не сочтешь нитку драгоценностью, а каждый метр дороже золота. Вот почему на фабрике возникло движение: «На производстве нет мелочей».

Многие тысячи шинелей, ватников и другого обмундирования отправлены были с фабрики на поля войны.

Ушедшие на фронт товарищи по работе не порывали связи с фабрикой. Они интересовались делами подруг, ободряли их, с честью выполняли наказ — мужественно защищать Советскую Отчизну. Вот одно из многочисленных писем, полученных на фабрике:

«Здравствуйте, дорогие товарищи! Шлем мы вам горячий красноармейский привет! Работая на фабрике, мы всегда гордились примерным трудом всего коллектива, но, прямо скажем, не особенно представляли себе значение того, что мы делаем. Ну, выпускали одежду — и ладно. Потому и стеснительно представились своим товарищам. Мы, мол, швейники. А представьте себе, нам не ответили шуткой, дескать, не те ли мы портняжки, которые в старину мух побивали и о том на поясе писали. А совсем наоборот! Когда узнали, что наша фабрика шинели шьет для солдат, уважительно к нам отнеслись, руки пожали и махоркой угостили. И мы вам, дорогие товарищи, обещаем до конца с честью носить звание швейников, действовать штыком так же ловко, как ловко вы, наши подруги, управляетесь с иглой! С красноармейским уважением Вазаев и Дернов».

Теплые письма писали женщинам выздоровевшие раненные из подшефного госпиталя. Вот одно из таких писем:

«Дорогие товарищи! Мы, бойцы Красной Армии, находясь на излечении в госпитале, чувствуем теплую заботу наших шефов на каждом шагу. Каждый приход заботливых девушек для нас огромная радость. Мы понимаем и знаем, какие заботы свалились на хрупкие плечи женщин в тяжелую годину, сколько им приходится работать. И все-таки они находят время и для нас. Отдают нам часы своего скудного отдыха.

Товарищи! Коллектив фабрики вызывает у нас, фронтовиков, чувство глубокого уважения и любви.

Мы шлем руководству фабрики и всему коллективу боевой привет и самую горячую благодарность. Спасибо, товарищи, за заботу и внимание. А мы в свою очередь даем слово, что те, которые уходят на фронт, еще сильнее будут бить ненавистного врага, а те, которые из-за тяжелых ранений останутся здесь, в тылу, помогут своим самоотверженным трудом как можно скорее разбить и уничтожить фашистского зверя.

По поручению палаты: дважды орденоносец Малахов, фронтовики Красов, Верховский, Федосеев, Малкин, Гуняков».

Шли письма с фронта от совсем незнакомых воинов. Их читали и перечитывали, брали повышенные обязательства по выполнению плана. Надолго запомнилось такое письмо:

«Девушки! Наши замечательные труженицы! Когда вы прочитаете наше письмо, расскажите нам, как вы работаете, как живете. Мы хотим знать все о тех, кто шил нам шинели. Приятно надеть вот эту шинель, которую шили на вашей фабрике. Она согревает сердце, заставляет идти вперед — за Родину, за счастье всего нашего народа, за наших матерей и сестер, за наших девушек, отдающих все свои силы на работе там, в тылу.

Саша Безгодов, Саша Ужegov, Сережа Малинчик, Леша Бушмакин, Вася Сурагин, Коля Малинин, Женя Кочанов, Миша Владимиров, Виктор Панчев».

Читаешь эти имена — Саша, Сережа, Женя, Миша и невольно вспоминаешь стихи: «Незатейливые парнишки — Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки — друзья, братики, сыновья». Словно специально для женщин «Красной звезды» написала их поэтесса Анна Ахматова...

Изучаешь документы военных лет — и словно становишься свидетелем того великого неповторимого соревнования, которое непрерывно шло между станкозаводом и «Красной звездой». Это было соревнование патриотов, истинных борцов за нашу победу.

1943 год... Разгромлены фашистские войска под Сталинградом. Советская Армия неудержимо движется вперед... И в эти дни куйбышевские женщины — работницы швейной фабрики «Красная звезда» заявляют о своем желании ехать в Сталинград на восстановительные работы. В фабричной газете «Голос швейницы» появилось следующее сообщение:

«Сталинград! Кто в нашей стране не знает этого города на Волге, подвиги и доблесть которого известны всему цивилизованному миру.

Это к нему, разрушенному, но непокоренному, приковано сейчас внимание всей страны. В его восстановлении, в его возрождении активно участвует весь советский народ.

Три наши фабричные девушки: мотористка третьего цеха Маруся Порецкая, мотористка второго цеха Маруся Нечепанова и механик четвертого цеха Маруся Осипова изъявили желание добровольно поехать на восстановительные работы в героический Сталинград.

В связи с этим они обратились в дирекцию фабрики с заявлением об отпуске их с предприятия по этой причине. Их желание удовлетворено.

На днях на волжском пароходе они выехали в Сталинград.

Пройдет срок, и Сталинград, этот когда-то чудесный волжский город, разрушенный недавно фашистскими варварами почти до основания, волею советских людей будет восстановлен, воскрешен. Он снова станет таким же чудесным и красивым, каким был раньше, до войны.

Счастливого вам пути, девушки!»

Как боевая переключка звучит другая корреспонденция, напечатанная в августе сорок третьего в газете «Волжская коммуна».

«Вчера вечером на Куйбышевском станкозаводе состоялся митинг, посвященный принятию обязательств по оказанию помощи в восстановлении народного хозяйства Смоленской области. Директор завода т. Воробьев сообщил, что передовые люди завода внесли предложение сделать в неуточное время десять станков для восстанавливаемых машинно-тракторных станций в освобожденных от немецких захватчиков районах Смоленской области. Стахановцы предложили также досрочно выполнить план выпуска запасных частей для комбайнов и тракторов, значительная часть которых будет отправлена в освобожденные районы.

С большим подъемом митинг принял обращение ко всем рабочим, инженерам, техникам и служащим предприятий Куйбышевской области начать соревнование за активную помощь в восстановлении предприятий, совхозов и МТС Смоленщины».

До конца войны шло это удивительное соревнование двух совсем не похожих друг на друга предприятий. Станкостроители радовались каждому успеху швейниц. Как свою собственную победу восприняли швейницы весть о том, что Куйбышевский станкостроительный награжден орденом Трудового Красного Знамени...

Нет, это было не просто соревнование. Это был единый патриотический порыв советских людей, находившихся далеко от фронта.

## СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПРОФЕССИЯМ

С каждым днем растут вклады стахановцев предприятий Куйбышева в особый фонд главного командования Красной Армии. По инициативе многостаночника слесаря Н-ского завода т. Шушкета в городе и области развернулось соревнование представителей однородных профессий. Тов. Шушкет вызвал слесарей одного из заводов Сызрани. Вызов приняли тт. Николаев, Тимошенко, Вавилов и другие. Они обязались выполнять нормы выработки не ниже чем на 700%.

Развернулось также соревнование сварщиков, кочегаров, фрезеровщиков, токарей, шлифовщиков. Кочегар т. Медведев за 10 дней сэкономил 18 тонн условного топлива и более 3000 киловатт-часов электроэнергии. Электросварщица котельного завода Евфросинья Поправка выполняет сменное задание на 250—300%, а соревнующийся с ней газосварщик Н-ского завода т. Самарин вырабатывает 350—400% нормы. Отличных результатов добились в предмайском соревновании фрезеровщики тт. Максимов, Баврин, Голощапов и другие.

Газ. «Труд», 1943, 20 марта, № 66.

## **НА ВОЛГЕ**

**Слышно в каюте, как дышит огромная Волга,  
Звезды погасли над нами — одна за другой.  
Ветер притих на рассвете, усталый и волглый.  
Слышится: ранняя птица кричит за рекой.**

**Гость из далеких краев на реке этой светлой,  
Долго смотрю я на волжской волны синеву.  
Как стосковался по родине я и по ветру!  
Хочется мне, чтоб летел этот ветер в Литву...**

**Снова я слышу загубленных братьев стенанья,  
Хоть далеки до родимой Литвы расстоянья...  
В голосе чайки мне слышится отзвук мольбы.**

**Всюду туманов развешены сизые сети.  
Волга! Ты морем широким встаешь на рассвете —  
Песня народа и образ народной борьбы.**

**1942**

Перевод с литовского Л. Озерова

## **ДОСТОЙНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ КРАСНОЙ АРМИИ**

**КУЙБЫШЕВ.** В сельских районах области закончилась, а в городских районах заканчивается учеба в подразделениях всевобуча. Для пополнения рядов Красной Армии подготовлены тысячи автоматчиков, минометчиков, стрелков и снайперов. Многими подразделениями всевобуча руководили командиры — участники Отечественной войны.

Лучшие бойцы-всевобучники за время обучения вступили в комсомол. В Елховском, Исаклинском и Клявлинском районах в члены ВЛКСМ принято большинство бойцов. Райвоенкоматы ежедневно получают десятки заявлений от всевобучников с просьбой отправить их на фронт.

Газ. «Комсомольская правда», 1943, 13 июня, № 138.

## ПОДВИГ

...Когда-нибудь благодарная Отчизна сложит легенды и песни, в которых будет славить своих сынов, защищавших на поле брани ее свободу и независимость. Не забудет она и Василия Новак с его земляками-куйбышевцами. Подвигом своим они обессмертили свое имя.

Над донской степью высится большой курган, значившийся на картах занумерованной высотой. Дневная атака на этот курган не дала результатов, и у командира созрел план захватить высоту внезапным ночным налетом. Нужна была группа смельчаков. Смельчаки нашлись. Это были Василий Новак и его друзья-волжане. Всего четырнадцать человек.

Во время подготовки к налету кто-то выразил сомнение в успехе:

— Врагов много, а нас всего четырнадцать.

Новак ответил им на это:

— Мало нас, да народ-то мы волжский. А волжанам на войне цена такая — в трудную минуту один десятерых стоит...

В четыре часа ночи группа смельчаков начала подбираться к вражеским позициям. Двигались осторожно, чтобы не дать врагу обнаружить себя и атаковать его с предельно близкого расстояния.

До вражеских позиций осталось несколько десятков метров. Минуты две-три полежали в снегу, поднабрались сил для броска.

— Ну, пошли! — сказал Новак, и четырнадцать храбров бросились на вражеские укрепления.

Загремело страшное для врагов «ура», защелкали автоматы, связки гранат начали рваться около амбразур вражеских дзотов.

Внезапность и дерзость удара ошеломили фашистов. Началась паника, и это позволило четырнадцати советским

осинам выбить врага, в десятки раз превосходившего по численности, с укрепленного рубежа.

Четырнадцать расположились во вражеских дзотах и послали донесение о выполнении приказа. Не успело донесение дойти по назначению, как фашисты атаковали отбитую у них высоту сразу с двух сторон. Врагов было несколько сот, а высоту защищали лишь четырнадцать советских воинов.

От меткого огня маленькой кучки храбрецов погибли десятки фашистов. И никогда бы не подойти врагам к высоте, если бы у четырнадцати не иссякли боеприпасы.

— Приготовить гранаты! — приказал Новак.

Вот уже враги совсем близко. Видны их лица, слышны голоса:

— Рус, сдавайся!

— Сейчас! — ответил Новак и бросил гранату. Тсварищи последовали его примеру.

Скоро не стало гранат.

— Придется умереть, — просто сказал Новак. — Но русский человек так умирать должен, чтобы враги его и мертвого боялись. Умрем в жестокой схватке и, умирая, захватим с собой в могилу врагов!

Герои обнялись, простились друг с другом и по команде Василия выскочили из дзотов.

— За Родину! — загремел боевой клич, и завязалась рукопашная схватка.

В этой схватке погибли герои-волжане, сложившие храбрые головы за святую Отчизну.

Бессмертная слава им!..

Капитан Л. Канцельсон  
Ст. лейтенант Ф. Ведин  
Район Сталинграда.

Газ. «Волжская коммуна», 1942, 26 января, № 20.

## ПОДВИГ СЕРЖАНТА С. ЗАРУДНЕВА

Имя сержанта Заруднева знает фронт. Оно стало символом мужества и героизма. С ним воины идут в атаку на врага.

— За сержанта Заруднева! — шепчут артиллеристы, посылая смертельный огонь во вражье логово.

В победных боях на Украине орудийный расчет Заруднева уничтожил сотни гитлеровцев, разбил несколько фашистских танков, пушек, десятки автомашин. Коммунист Заруднев, в прошлом колхозник из Большой Черниговки, был грозой для фашистов.

В величайшем сражении за Днепровский плацдарм Заруднев бился с врагом как чудо-богатырь.

...Немцы предпринимали многочисленные контратаки, одну яростнее другой. На одном участке они стянули много танков, мотопехоты. Грозная опасность нависла над воинами, защищавшими этот рубеж.

В секторе обстрела орудия показалось 15 фашистских бронированных крепостей. Расчет выкатил пушку на высоту, чтобы расстреливать их наверняка.

Началась неравная схватка. Первый снаряд разворотил броню фашистского танка, но сзади выскочил второй. Заруднев в упор расстреливал вторую машину.

Вражеские снаряды разрывались кругом. Но расчет Заруднева продолжал стрельбу. Советские снаряды разнесли вдребезги четыре автомашины с немецкими автоматчиками. Поле боя было устлано трупами гитлеровцев.

Тупая ярость немцев разбилась о русскую всепобеждающую стойкость. Рубеж героического расчета Заруднева оказался непреодолимой крепостью для врага.

Родина достойно оценила подвиг младшего сержанта Степана Степановича Заруднева. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года ему присвоено звание Героя Советского Союза.

И снова Заруднев на линии огня, снова бьет он фашистских гадов, показывая стойкость, богатырскую силу, боевое мастерство.

...19 немецких танков прорвались через наши боевые порядки. Заруднев встал со своим орудием на пути бронированной лавины.

— Драться насмерть! — сказал он своим бойцам.

Танки сосредоточили свой огонь по героическому расчету. Но наши богатыри словно вросли в землю. Вот, содрогнувшись, замер первый подбитый танк, за ним загорелся второй, мчавшийся на орудие. Но вслед шли новые танки... Уже выбыли из строя наводчик, заряжающий, номерной. Заруднев один действует за весь расчет. В невиданном поединке он подбил еще два танка, отразил контратаку целой колонны вражеских бронированных крепостей, бился до последнего вздоха.

Степан Заруднев погиб смертью героя. Но имя героя живет и будет жить в сердцах советских людей. Это имя зовет нас к победе.

Старший лейтенант В. Хлопин  
Полевая почта 72590-а

Газ. «Волжская коммуна», 1944, 1 января, № 1.

## КРОВЬ

Мины летели, пронзительно воя,  
Чтобы сразить молодого бойца.  
В полдень упал он под елью кривою,  
Кровь отирая ладонью с лица.

Бой отгремел, отступая на запад,  
Танк догорел, повалившись в кювет...  
Ворон седой, потянувшись на запах,  
Возле бойца опустил на ветвь.

Вот он, подкравшись тайком к человеку,  
Клюв наострил и вскочил на плечо.  
Воин открыл воспаленные веки:  
— Нет, погоди... Я не умер еще!

Мне еще надо пробиться к Берлину...  
Глаз моих, жадный, тебе не клевать.  
Не для того, чтобы без вести сгинул,  
Кровь отдала мне чувашская мать.

Мать моя! Светлая радость! Бывало,  
Темной осеннею ночью она  
Мне колыбельную песню певала,  
Над рукодельем не ведая сна...

Не прикасайся, презренная птица!  
Солнце, ветр<sup>а</sup>, отведите беду!  
Все я стерплю. Вот бы только напиться...  
Встану — и снова на запад пойду.

Воин поднялся — и вмиг отлетела  
Черная птица, тревожно крича.

**Доброе солнце, казалось, хотело  
Силу придать ему, встав у плеча.**

**Пот, перемешанный с кровью, стирая,  
Накрепко стиснув запекшийся рот,  
Молча пошел он к переднему краю.  
В новую битву.**

**За жизни!**

**Вперед!**

## СКВОЗЬ ОГОНЬ

Впервые я встретился с Леонидом Ладыженко в июле сорок третьего, в самые жаркие дни боев за плацдарм, который нам удалось захватить на Северном Донце, в районе памятника Артему. Бои шли тяжелые. Немцы пустили против нас новые танки «тигры». Грозные и сильные машины. Теперь можно признаться, что порой нам казалось — эти «тигры» не остановишь. Благо, за спиной была река, а танки не лодки, поэтому мы были спокойны за наши тылы, которые еще находились на восточном берегу Донца. В первые дни борьбы с «тиграми» мы понесли большие потери, и вот в наш полк стали прибывать резервы.

Первую маршевую роту я встретил у памятника Артему. Впереди вышагивал высокого роста чубатый боец в пилотке набекрень, в хромовых сапогах. На груди у него был автомат, в руке — ветка краснотала, которой он играючи похлопывал по голенищу сапога. Когда слева застучал крупнокалиберный немецкий пулемет и засвистели мины, рота залегла, а этот, с веткой, продолжал стоять.

— Ты что стоишь? — набросился я на новичка.

— Я агитатор, из резерва Военного совета армии.

Был такой резерв. Вступал он в дело только по личному распоряжению командующего армией Чуйкова. Сильные, ловкие и смелые ребята.

Новичок подошел ко мне вплотную и как бы по секрету объяснил:

— В бою, под огнем, осмотрительность нельзя терять. Гляди, мины шлепаются вон где, а они лежат...

Его послали к бронебойщикам. Уходя, он будто нечаянно оставил небольшую книжицу «Памятка агитатора», а в ней записка: «Ладыженко Леонид Терентьевич, 1923 года рождения, член ВЛКСМ. До войны работал учителем

начальной школы». И дальше домашний адрес. Сделал он это, конечно, не случайно. От бронебойщиков не всегда возвращались... Мол, не забудьте сообщить родителям, если что...

Мне потом рассказывали, что Ладыженко пришел в роту в тот момент, когда «тигры» уже начали утюжить окопы боевого охранения. Он возвестил о своем приходе к бронебойщикам игрой на губной гармошке: дескать, все вижу, понимаю, но не унываю.

Удары бронебойных пуль ПТР высекали лишь искры из брони «тигров».

Вскоре вся рота оказалась в окружении. Пал смертью храбрых ее командир.

— Слушай мою команду! — раздался голос Ладыженко. — Бейте «тигров» по смотровым щелям, заклинивайте башни!

И никто сразу не догадался, откуда у каждого бронебойщика появился листок, на котором был нарисован «тигр» и красными звездочками помечены точки, куда надо целиться.

Вскоре башня головного танка врага была закинута точным выстрелом. Говорят, этот выстрел сделал сам Ладыженко. Раздался еще выстрел. Еще. И второй «тигр» не мог вести прицельный огонь. С заклиненными башнями фашистские танки попятились.

Но исход решился схваткой с пехотой. Обстановка сложилась так, что надо было немного отступить.

Ладыженко приказал роте отходить, а сам лег за пулемет — прикрывать огнем отходящую роту.

До темной ночи он прижимал к земле немецких автоматчиков; никто не думал, что агитатор вернется в роту. Но он вернулся. Наблюдатели говорили, что от огня его на поле боя осталось до полусотни фашистов, а он внес поправку:

— Не больше пятнадцати.

В те дни он возглавил группу истребителей танков. И чтобы его не вернули обратно в армейский резерв агитаторов, я написал в политотдел, что по единодушному требованию комсомольцев он назначен комсоргом первого батальона.

Перед Запорожьем на пути нашего полка лежал глубокий овраг. Для пехотинцев — так себе препятствие. Но за



земляным козырьком укрывались танки врага. Как только наши высунутся на ту сторону, эти танки вступали в дело. Огнем и гусеницами они отбрасывали пехотинцев. Наши пушки не давали должного эффекта. Тогда-то мы и собрали боевой актив агитаторов. Это было в ночь на 26 октября. Леонид Ладыженко опоздал, но взял слово.

— Сегодня же ночью сделать вылазку мелких штурмовых групп за ров к танкам, — он указал на карте, где они укрываются в темное время, — и подорвать их на месте стоянки.

Продолжать разговор не было больше смысла.

К рассвету ни один немецкий танк, поставленный в полосу наступления нашего полка, не мог действовать. Они остались в засаде мертвыми горами металла.

После взятия Запорожья Леонид Ладыженко был принят в партию, ему присвоили звание лейтенанта, и он окончательно закрепился в нашем полку.

Еще совсем юный, высокий, стройный он всегда был там, где трудно. Его поругивали за лишнюю лихость. Много раз отправляли в госпиталь с тяжелыми ранениями, но он удивительно быстро возвращался в полк, как правило, без продовольственного и вещевого аттестатов — значит, сбежал!

— Я молодой — кости срастаются быстро, — отшучивался он.

Хорошо помню ночь перед штурмом Темпельхофа в Берлине. Она была и короткая и длинная. Прилег было, но не спалось. На рассвете, слышу, открывается дверь. По шагам узнал: Ладыженко.

— Каждому солдату нужен проводник по Берлину, — сказал он.

— Где же их набрать?

— Принесли им вроде ключи-указки. Утвердить надо. Взгляните.

Он показал мне пакет. На листах — фотокопии плана Берлина. Центр обведен двойным пунктиром. Наверху надпись: «Добьем врага в его собственной берлоге». Внизу — справа и слева — названия улиц и площадей, обозначенных цифрами. На обороте во всю страницу нарисован ключ и мелким шрифтом вписана справка: «Этот ключ от Берлина взят русскими войсками в 1760 году. Кому теперь его вручит история, зависит от вас, гвардейцы!»

— Размножить бы надо, — говорю я.

— Уже сделано. Целую ночь бегали — тут кинофабрика рядом и типография. Если утвердите, разнесем всем комсомольцам.

— Это почему ж только комсомольцам?

— Теперь все комсомольцы. Это когда немец нас к Волге прижимал, тогда и меня можно было считать стариком, а теперь что ж, и седые, того и гляди, в комсомол запрсятся...

И вот в Берлине заключительные аккорды невиданной битвы.

С верхнего этажа сбегает лейтенант Ладыженко. Он помогает мне закрыть огнем проход в подвал. Вдруг из глубины коридора пролетает граната с длинной рукояткой. Взрывная волна срывает с головы Ладыженко каску. Потеряв равновесие, он кружится на лестничной площадке и падает. Оттуда же, из коридора, застрочил автомат. Пули долбят стены над головой. Но вот раскатистый залп, и частые взрывы снарядов «катюши» пришлось как раз по скоплению врага.

— Эх, наддай, тяпни еще, милая! — кричит Ладыженко.

Форсировать канал никак не удавалось: очень мешали немецкие пулеметчики. Пытались пустить по мосту танки — по ним из орудий били. Верная гибель. Только две группы автоматчиков успели проскочить. Одну возглавил Ладыженко. Его солдаты зацепились за подвал углового дома. Это было у горбатого моста на Потсдамерштрассе. Однако развить успех группам не удалось. Немцы сметали все с моста огнем, как метлой.

Ночь прошла в тревоге за судьбу тех бойцов. Рупористы долго кричали в ту сторону, пока не последовал ответный сигнал. Установилась временная тишина. Ладыженко, вероятно, для бодрости стал наигрывать на губной гармошке.

— Жив! — обрадовались мы.

Но в ту же минуту вспыхнула перестрелка, загремели взрывы фаустпатронов. И все стихло. Ждем гармошку. Нет ее.

— Эх, не доиграл! — сказал рядом со мною сержант.

Мне подумалось: замолкла гармошка Ладыженко навсегда. Сколько вместе пройдено и пережито!

Утром второго мая штурмовые отряды полка стали

продвигаться к стенам имперской канцелярии. Завернули к угловому дому за каналом. Немцы взорвали здание — громозилась гора красного кирпича. Саперы раскопали развалины. И что же: уцелели! Просто не верилось.

— Все помяты, а мертвых нет! — доложил врач.

Кончился штурм, и я поспешил в санроту, чтобы повидать Ладыженко и его товарищей. Леонид молчал. Все лицо его было забинтовано, оставлены лишь небольшие отверстия для рта и глаз. Присел к нему на койку, рассказываю, как мы ждали его сигналов — звуков гармошки.

— О-о-о, воздух стал выходить, — объяснил он, показывая на щеки. Сморщился от боли. Пуля пробила ему щеку насквозь.

Я дал ему карандаш и блокнот:

— Напиши, что хочешь сказать.

Вдруг он начал вздрагивать всем телом.

— Больно? Плачешь?

Он качнул головой, взял карандаш и крупными буквами написал: «От радости — мы победили!»

И долгое время жил Леонид Терентьевич в городе Куйбышеве. Заведовал вечерней школой, что за речкой Самаркой. Хорошая школа. Слал он мне письма. Бывало, встречались на Волге.

Война дала знать о себе — умер безвременно. И на земле стало меньше одним прекрасным человеком.

## ПОЧИН ПОДДЕРЖАН

Следуя примеру лучших людей нашей страны — саратовца Ферапонта Головатого, казахстанца Леонтия Горбова и других, колхозники сельхозартели «Сила машины» [с. Кошки] от своих сбережений отчисляют на постройку танковой колонны «Куйбышевский колхозник».

Колхозник П. А. Лопухов дает на строительство танков 26 000 руб., И. Л. Вершинин — 10 000 руб., В. И. Бембетьев — 15 000 руб., А. Пепин — 50 000 руб., А. С. Сидоров — 10 000 руб., Н. Я. Трошин — 5000 руб., М. Г. Кузьмин — 4000 руб., И. Е. Вершинин — 20 000 руб. и т. д.

Всего по колхозу подписка на 29 декабря выразилась в сумме 176 000 руб.

Подписка на танковую колонну продолжается.

Лейбов

Газ. «Маяк Ильича», 1942, 30 декабря, № 154.

## ЕЩЕ КРЕПЧЕ ПОМОГАЙТЕ КРАСНОЙ АРМИИ

**Дорогие товарищи!**

Сегодня личный состав нашей части принял от делегации колхозников Куйбышевской области танковую колонну «Куйбышевский колхозник», построенную рабочими орденоносного Кировского завода на ваши личные трудовые сбережения. Этот драгоценный подарок — яркое свидетельство несокрушимой воли советского народа к победе над заклятым врагом всего прогрессивного человечества — немецким фашизмом.

Товарищи куйбышевцы! Последовав примеру тамбовцев и саратовцев, вы доказали на деле свою готовность отдать все для священного дела защиты Советского государства. Страна, имеющая таких граждан-патриотов, непобедима, и зазнавшийся враг начинает понимать это. Не за горами тот счастливый день, когда ни одного вооруженного фашиста из числа нарушивших священную советскую границу, не останется на нашей земле. Немецкие захватчики будут уничтожены. Так было не раз на протяжении многовековой истории нашей Родины. Так будет и теперь.

Дорогие товарищи! Мы от всей души горячо благодарим вас за ваш бесценный подарок. Эти машины особенно дороги нам, потому что в них заключены все ваши благородные чувства и помыслы, все стремление ускорить разгром ненавистных немецких оккупантов и их прихвостней.

Наш ответ на этот подарок может быть только один: еще больше ценить боевую технику, врученную нам, еще полнее использовать ее для уничтожения врага. Будьте уверены, что ваши машины находятся в надежных руках. Наша танковая часть уже побывала на фронтах Великой Отечественной войны и на деле доказала свою готовность, свое умение сражаться с врагом и побеждать его. Мы смело поведем в бой танковую колонну «Куйбышевский колхоз-

ник», будем беспощадно громить врага огнем орудий и давить его стальными гусеницами.

Уезжая на фронт, мы обращаемся к вам с призывом еще больше крепить единство советского фронта и тыла, еще больше помогать нам, фронтовикам, в нашей великой борьбе. Соревнуйтесь за лучшую подготовку к проведению весеннего сева, добивайтесь повышения урожайности и дальнейшего подъема животноводства. Давайте стране и Красной Армии все больше сырья для производства предметов вооружения и продуктов питания. Продолжайте сбор средств на строительство танков, самолетов и другого вооружения для Красной Армии. Вы в тылу, а мы на фронте будем самоотверженно бороться за то, чтобы приблизить час победы над кровавым гитлеризмом.

**Смерть немецким оккупантам!**

По поручению личного состава Н-ской танковой части

**Подполковник Гудзенко. Майор Лукаш**

**Город Н. 3 февраля 1943 г.**

**Газ. «Волжская коммуна», 1943, 12 февраля, № 35.**

## **В ТЫЛУ ВРАГА**

В конце мая 1942 года группу советских разведчиков, и меня в их числе, на самолете перебросили в тыл врага, на Украину.

Стояла светлая весенняя ночь. Внизу темнели неровные лохматые пятна леса, меж ними серебрилась и поблескивала вода.

— Пошел!

Когда парашют раскрылся, я подумал: «Вода, наверное, холодная!» Огляделся. Чуть в стороне заметил черную снижающуюся точку и тень парашюта.

Приземлился в болоте. Гул самолета стихал на востоке. Парашют тотчас утопил в жидкой грязи под мохнатой кочкой. Увязая по грудь в тине, с полными сапогами липкой грязи, я с трудом выбрался на травянистый островок.

Быстро осмотрелся и просигналил карманным фонариком: «Сбор!»

Потревоженное болото чавкало. Над гнилым простором курилась туманная дымка. Комары одолевали: набивались в уши и нос, залепляли лицо.

А мои мысли об одном: все ли благополучно опустились? Выбрались ли из трясины? Видят ли сигнал? Прислушался. Вот недалеко захлюпала вода, зашуршала трава.

Спрашиваю:

— Тимоша?

Нечипорук настороженно отозвался:

— А это Механик?

«Механик» — моя кличка в тылу врага.

И вновь я сигналю фонариком:

«Сбор! Сбор! Сбор!»

Наконец все разведчики на острове. Нет лишь радистов. Обрадовались, слышав их шаги. Петя Андриевский был невысокого роста, немного прихрамывал, но нести рацию никому не доверял.

Пока отжимали одежду и приводили в порядок снаряжение, забрезжил рассвет.

В неверном свете раннего утра разведчики увидели вокруг себя чахлые зеленоватые кустики да редкие кочки с высокой травой. Гнилое царство по сторонам все еще шипело, булькало, пузырилось. В тумане на краю острова испуганно заголосил одинокий журавль.

Строго по расписанию Петя Андриевский развернул рацию. Мы с надеждой смотрели, как он выстукивал позывные. В помятой, скоробившейся от болотной грязи железнодорожной форме он похож был на застенчивого подростка. Вдруг лицо его засветилось радостью, глаза заблестели.

Мы как сумасшедшие кинулись к рации, кто-то обнял Петю.

— Да ладно вам, — смущенно сказал радист, настойчиво стуча ключом. Потом обратился ко мне: — Есть! Центр отвечает.

Разведчики заулыбались, будто бы все опасения и невзгоды остались позади. Я доложил о благополучном приземлении.

Много тревожных дней и ночей провели мы на скрытых тропках и проселках в густых лесах Пинщины и Полесья.

Помню, вышли на рассвете к Припяти. Под луной река поблескивала огромным разливом: другой берег реки терялся в дымке. Переправляться с ходу не решились и залегли на день перед деревней Тульговичи, в молодом сосняке. На песочке пригрелись и уснули.

Лишь в темноте мы решились идти в село. Завернули в дом старосты: с его помощью задумали переправляться через Припять.

Встретил староста нас без восторга:

— Шляются всякие, а меня — к ответу...

В деревне моментально разнеслась молва: партизаны! Сперва крестьяне держались с опаской: наши черные железнодорожные шинели их пугали. Не эсэсовцы ли?

Мы раскрыли НЗ, и по рукам пошла наша «Северная пальмира». Завязалась беседа. Разведчики стали рассказывать фронтовые новости, про Москву. Я поинтересовался поведением старосты.

— Сами выбрали. Не обижаемся, — ответили сельчане. На столе появилось сало, хлеб, яйца, вареное мясо.

Мы было принялись за еду, но не успели проглотить по

куску, как со двора вошел встревоженный Нечипорук и шепнул мне:

— Здешний куркуль заседдал коня та гайда за полицией.

Разведчики нехотя покидали стол. Вот мы уже на берегу. На воду столкнули «дуб» — огромную лодку. Да второпях взяли дырявую посудину — две пары гребут, а остальные отчерпывают воду. Староста правит. Уже потерялся в темноте берег. За бортом плещет речка. Прохладно.

Вдруг у того берега затарахтел катер, полоснул лучом прожектора. Мы затаились. Лодку сносило течением.

Прожектор широким ножом кромсает темноту. Ближе. Совсем рядом. Вот-вот лодку охватит светом. Разведчики упали на дно «дуба».

Катер совсем рядом. Луч прожектора хлестнул по носу нашей посудины. Едва сдерживаюсь, чтобы не скомандовать: огонь!

Команда катера не заметила нашу лодку, и вскоре мы тихо сели на мель.

Перебежали чистое поле и очутились на опушке леса. Староста растаял в темноте. Лишь шаги были слышны еще с минуты.

После войны однажды я попал на Киевский вокзал Москвы. И вдруг вижу: идет плотный чернявый железнодорожник. Знакомая размашистая походка.

— Нечипорук! Тимоша!

Да, то был он — лихой партизанский разведчик и подрывник, мой боевой спутник по Ровенщине.

Обнялись мы, как кровные братья, расцеловались. Тимофей Иосифович Нечипорук повез меня к себе на новую квартиру, что находится в отличном доме за Филийским парком Москвы.

За эти годы Нечипорук побывал на целине, убирал хлеб. Судьба забросила его вторично на линию Ровно — Луцк — Ковель, где он с боевыми товарищами в 1942—1944 годах подрывал вражеские эшелоны. К его партизанским наградам прибавились поощрения за труд в мирные дни.

Глядя на его ладно скроенную фигуру, слушая медлительную речь, я видел в мыслях перед собою Нечипорука партизанской поры: в обожженной у лесных костров фу-

ражке железнодорожника и простреленной шинели, в обгорелых опорах.

Многое вспомнилось нам в тот тихий московский вечер.

...Бой придвинулся к самому штабу отряда — наш первый большой партизанский бой с карателями.

Врагов было втрое больше, чем нас: полубатальон головорезов против сотни партизан!

Прячась за огромными соснами, гитлеровцы и их наймиты из националистов кричали:

— Сдавайтесь!

Частые пули вбивались в стволы деревьев: кора брызгами разлеталась по сторонам. Лес растревоженно шумел. Рвались гранаты. В отдалении остервенело стучал пулемет.

Отряд наш окружали.

Каратели подбирались все ближе, нахально орали, уверенные в своей быстрой победе. Нечипорук нервно, казалось, с упреком поглядывал на меня: скорее!

Лишь когда выстрелы фашистских молодчиков уже стали слышны позади нас, командир отряда Дмитрий Николаевич Медведев махнул пистолетом:

— Виктор Васильевич, ударь как следует!

Мы рванулись вперед. Нечипорук бежал не сгибаясь, делая большие прыжки.

Фашистский офицер командовал на виду всей цепи, как на параде. Нечипорук выстрелил, и фашист рухнул. Фуражка убитого покатилась по траве в ложину.

Снова автоматная очередь Нечипорука.

Каратели, словно ожегшись, отпрянули: сраженные неожиданностью, оставили на поляне убитых.

Врагам не удалось победить партизан. Мы сами загнали их в чащобу, потом приперли к болоту и уничтожили.

Разгоряченные боем, мы возвращались к штабу отряда. Позади нас все еще раздавались одиночные выстрелы.

— Мало им, гадам! — сурово говорил Нечипорук. Накануне нашего первого боя Тимофей Иосифович с товарищами вернулся из Толстого Леса.

Разведчик доложил, что захватчики сконцентрировали большие силы, согнали в деревни банды националистского отребья. Дороги к Толстому Лесу перекрыты.

— Собираются одним махом уничтожить отряд, — не спеша рассказывал Нечипорук, черпая полной ложкой

кашу из партизанского котелка и поблескивая серыми умными глазами. — Маленько торопятся: смерть за ними по пятам ходит. В деревнях им неуютно. Наши листки и газеты из рук вырывают: что да как? Из избы в избу передают. Оружие прибирают. Ну и при удобном случае лопушат немцев. Под Овручем поезд пустили под откос...

— А у меня выспрашивали: поспеют ли наши к уборке? — добавил другой разведчик.

Нечипорук даже привскочил от таких вестей:

— Это же здорово, товарищи! Народ верит в нашу безусловную победу.

— Плохо, братцы, на юге. Фрицы прут к Волге, — поделился новостями Петя Андриевский. Он только что вернулся от рации.

— Танкам ихним простор, — сожалеючи промолвил командир отряда.

— А нам тут простор. Треба давать им прикурить, — рубанул воздух ладонью Нечипорук. — Бить фашистов!

— И дадим! Вот придем до места, — сказал я.

До поздней ночи не утихали беседы партизан. А под утро лагерь спешно поднялся: на запад!

Стояла жаркая пора середины лета 1942 года. Специальный отряд Дмитрия Николаевича Медведева пробирался к намеченному пункту дислокации — в Сарненские леса Ровенщины.

Тяжелее всех доставалось нашим разведчикам. Они, как обычно, уходили на многие километры вперед и в стороны от основного пути отряда: узнавали замыслы врага и настроения населения, раздавали листовки, карали предателей Родины.

Однажды Тимофей Нечипорук с группой товарищей, вернувшись из поиска, рассказал, что на разъезде Будки-Сновидовичи расположено военно-строительное подразделение организации ТОДТа. Эта организация занималась в Полесье восстановительными работами на железной дороге. Нечипорук видел там много переодетых в гитлеровскую форму русских и украинцев.

— Селяне жалуются: фашисты отбивают последний хлеб. Жинок насильничают, — сказал Медведев.

— Лютуют, гады! — подтвердил Нечипорук.

Разведчики сообщили, что в Будки-Сновидовичи прибыли на подкрепление эсэсовские каратели. От старосты ближней к станции деревни затребовали сорок подвод для перевозки солдат в лес.

Тревожные сигналы начали поступать и от местных жителей — наших добровольных помощников.

Руководство отряда решило опередить гитлеровцев. Начальнику штаба Федору Пашуну и мне было приказано отобрать пятьдесят бойцов и ночью разгромить фашистских карателей на разъезде.

— Главное, товарищи, внезапность! — напутствовал нас Дмитрий Николаевич Медведев.

Приказ мы встретили с радостью: надоело уклоняться он встреч с врагами! На юге страны, как мы знали по сводкам Совинформбюро, Красная Армия вела тяжелые оборонительные бои. Фашисты стремились за Дон. Им уже виделась Волга. И каждому из нас не терпелось вступить в схватку с оккупантами.

Разведчики вывели группу точно к разъезду Будки-Сновидовичи!

Неожиданно заиграл духовой оркестр. Донеслись мужские голоса.

— Весело живут, — сердито проговорил я.

На зеленой лужайке, отделявшей лес от путей, танцевали немецкие солдаты.

У кустов стояли две бочки пива. Солдаты пили из кружек. Кто-то пиликал на губной гармошке. Подвыпивший офицер, прислонившись к телеграфному столбу, напевал про нежную фрау Анну.

Уже в плотных сумерках вернулись разведчики.

От станции все еще неслись разухабистые песни. И вдруг мужские голоса запели по-русски про Стеньку Разина. Дружные, сильные голоса.

— Кошунствуют, гадины! — Нечипорук поднял автомат.

— Тише! — прошептал Федор Пашун.

Жизнь на станции постепенно замирала. Влезли в вагоны последние солдаты. Разошелся оркестр. Умолкла гармоника. Лишь захмелевший фриц тонким голосом все еще выводил свою тягучую песенку, клянясь фрау Анне в верности. Вскоре и он затих.

Мы с Федором Пашуном разбили группу на штурмовые пятерки, распределили между ними боевые участки. Часо-

вого нужно снять бесшумно: удар по станции должен быть внезапным!

Дождались полной темноты. Изготовились. Поползли. Двое подокрались к часовому, маячившему у фонарного столба. Я ползти не мог: болела рука после ранения. Перебегал, вжимаясь в густую траву и кустарники.

Остались считанные метры. Федор Пашун пытается рассмотреть, все ли заняли намеченные рубежи. Вокруг шорохи.

И вдруг у самых ног задремавшего фашистского часового звонко залаяла собачонка. Немец испуганно дернулся.

Медлить нельзя, и Пашун крикнул:

— Огонь!

— За Родину!

Первым подскочил к штабному вагону Нечипорук. Швырнул в окно гранату.

Гитлеровцы не ожидали нападения. Под губительным огнем выбрасывались они из вагонов в одном белье.

Стрельба закончилась на рассвете. В полумраке были видны разбитые вагоны, разрушенное полотно. Дымили пепелища. Подразделение гитлеровцев было полностью разгромлено. Нам досталось продовольствие, хозяйственный инвентарь, оружие. Бойцы поспешно уносили в лес трофеи, некоторые катили на немецких велосипедах.

В партизанском отряде Медведева было решено двадцать пятую годовщину Великой Октябрьской социалистической революции отметить диверсионной акцией.

Я вел ребят без шума, но быстро: нужно было покрыть шестьдесят километров и к полуночи дойти до места диверсии.

Выры — небольшой рабочий поселок в бывшем Клесовском районе. До войны поселок был известен замечательными породами гранита. Туда была протянута узкоколейка. Красный, голубой, зеленый, розовый, серый камень вывозился из карьеров на стройки Советского Союза. В ноябре 1942 года там работала на немцев ремонтно-механическая мастерская, в которой восстанавливались тракторы, тягачи, танкетки, локомобили. В целости находились электростанция и паровозное депо.

От жителей мы заранее узнали, что в Вырах оставлены лишь охранники из местных националистов, и поэтому на операцию пошли двадцать пять партизан.

Нога в ногу с Нечипоруком шагал бедовый парень Поликарп Вознюк. Рука его — постоянно на пистолете или на гранате. Дерзкая выходка, лихой наскок, бесшабашно удалой поступок — в этом весь Поликарп Вознюк. Бывало, влетит на коне в незнакомое село, гикнет, свистнет, на полном скаку проскачет улицей, захлебываясь собственной смелостью, и кричит:

— Да здравствует Советская власть! Хай живе рідна Україна! Смерть фашистам!

Чуб — по ветру, рука с пистолетом — на отлете. Буря, а не парень! А если впереди враг — гранату ему под ноги, выстрел в упор и ветром в лес.

Как-то командование отряда послало Поликарпа в Ровно: высмотреть расположение немецких воинских частей и узнать настроение населения. Вместо разведки он, встретив фашистского офицера, убил его двумя выстрелами. Завернул за угол — легковая автомашина с двумя гестаповцами. Вознюк метнул в них гранату, а сам — на забор, на крышу и ходу! Успел заметить, что автомашину взрывом разворотило. От фашистов — мокрое место. Строгий нагонный в лагере Медведева Поликарп принял с усмешкой: в душе он гордился удачей.

Удивительно везло этому смелому человеку. Однажды в начале зимы по первопутку мчался он из разведки по полю в санках. Вот и околица. И вдруг на въезде в село Вознюка отбросило далеко в сугроб. Оказывается, лихой разведчик наскочил на мину. Окровавленный, поднялся он, смело вошел в деревню с гранатой в руке. Полицаи побоялись задержать его. Поликарп отделался осколком в щеке, рассеченной бровью да замечанием от меня. А назавтра — снова в разведку.

В тылу врага отчаянность — не самая положительная черта. Поэтому Вознюка, как правило, держали подальше от тех операций, где требовались выдержка и самообладание. Поликарп не обижался, ему доставало работы.

В группе, отправлявшейся на диверсию в Выры, — Тимофей Нечипорук, Николай Гнидюк и Вася Голубь. Двое последних появились в отряде вместе с Николаем Ивановичем Кузнецовым, впоследствии легендарным разведчи-

ком, Героем Советского Союза. Гнидюк и Голубь — помощники машиниста, уроженцы Ковеля. Очень смелые ребята.

По пути мы расклеивали листовки Совинформбюро, встречались с верными людьми, поздравляли их с наступающим праздником.

Погода стояла морозная. Под ногами похрустывал первый снежок. Дышалось свободно.

Часов в десять вечера миновали опушку дремучего леса. За голыми деревьями мигнул одинокий огонек. Взбрынула собака.

— Пришли! — сказал Нечипорук.

На околице Выров постучались в крайний домик. Там жил наш местный разведчик Константин Ефимович Довгер. Собирала военные сведения для нас и его дочка, семнадцатилетняя Валентина. Позднее она стала неразлучной помощницей Николая Ивановича Кузнецова, когда он действовал в мундире фашистского гауптмана.

Хозяин домика знал о рейде и ждал нас. Бесшумно скрылись во дворе утомленные дальним переходом бойцы. Закурили. Константин Ефимович закашлялся:

— Что это вы курите?

— «Лесную быль!» — сквозь смех сказал Нечипорук.

Довгер угостил нас отменным табаком собственного приготовления. Он рассказал о расположении станции, о лучших подходах к ней.

Жена Довгера, Евдокия Андреевна, вязала партизанам теплые варежки. Она с тревогой поглядывала на ящики с минами и тихонько спросила:

— Подрывать?

— Да.

— Виктор Васильевич! Нельзя ли заложить ящики подалее от нас?

Партизаны громко рассмеялись, улыбнулась и хозяйка дома.

— Бо стекла очень дрожат. Боюсь, домик развалится...

Мы тем временем уточнили план операции. Со мной в паровозное депо отправились железнодорожники. Другие партизаны направились к мосту, в мастерские, к электростанции — вернувшиеся разведчики вели их кратчайшим путем.

Константин Ефимович Довгер посоветовал прихватить

для верности начальника депо, прислуживавшего фашистам.

В темноте осторожно приблизились мы к дому гитлеровского прихвостня. Он долго не хотел открывать и выспрашивал: кто, зачем?

— Разломаем двери, плохо будэ! — пригрозил Поликарп Вознюк.

Начальник депо струсил и открыл дверь. Забрав его с собой, группа поспешила на задание. Перепуганный начальник депо покорно следовал за нами. По его распоряжению сторожа открыли ворота цеха.

Внутри пахло мазутом, металлом. Наши хлопцы притихли в полутемном здании: для них, тружеников, это был родной дом. Щупленький Вася Голубь и рослый Николай Гнидюк по-хозяйски осматривали верстаки.

В корпусе депо стояли три паровоза да один на поворотном кругу. За депо мы увидели цистерны, платформы с моторами, пломбированные вагоны.

— В Германию приготовили, — пояснил начальник депо.

Мин для всех объектов было мало. Это нас очень огорчило.

— Вагоны с паровозом — на мост, — сказал Николай Гнидюк.

Поликарп Вознюк заставил сторожей и начальника депо таскать уголь к исправному паровозу. Мы тем временем заминировали поворотный круг, здание депо, два других локомотива. Разведчики обильно полили мазутом и керосином станки, уголь, машины, ящики, оконные рамы, двери. До назначенного срока остались считанные минуты.

— С гудком прикажете выезжать, Виктор Васильевич? — спросил Нечипорук, выглядывая из будки паровоза. Лицо его светилось озорной усмешкой. Он вел себя так, точно собирался в обычный мирный рейс.

И я в тон ему ответил:

— По всем правилам езжай, Тимоша!

У Нечипорука было особо приподнятое настроение: его приняли в члены Коммунистической партии. И он стал еще исполнительнее и прилежнее.

Юркий Вася Голубь помогал Нечипоруку на маневрах. Они соединили все вагоны, прицепили холодные паровозы. Николай Гнидюк дал гудок отправления. На стыках застучали колеса: поезд быстро набирал скорость. Вот он уже

миновал стрелки, завернул за семафор, исчез в темноте. Лишь грохот металла говорил нам, что состав неудержимо мчится под уклон.

Смотрим на часы. Время тянется медленно. Наконец я даю сигнал. В темноте ярко вспыхнули искры зажигалок, загорелся бикфордов шнур. Еще мгновение — и взрыв справа, впереди. Взлетел на воздух поворотный круг. Пламя метнулось в звездное небо. Вокруг запылали здания. Загорелись мастерские, рухнула электростанция. Охватило огнем шикарный шестиместный «Хорх». Его прислал в ремонт гебитс-комиссар.

А с моста все еще ничего не слышно.

— Пойду туда! — подхватился Нечипорук.

И тут внезапно воздух содрогнулся. Над рекой поднялся столб пламени и темного дыма.

— Так-то! — вздохнул с облегчением Поликарп Вознюк.

Позднее мы узнали, почему получилась задержка. Когда до моста оставалось каких-то триста — четыреста метров, Гнидюк и за ним Голубь спрыгнули под откос и скатились в придорожный кустарник. С тревогой заметили ребята, что состав неожиданно замедлил ход: подъем впереди! Этого они не предполагали.

«Дотянет ли?» — волновались партизаны. Они услышали взрывы на станции, увидели красное зарево над паровозным депо. А поезд медленно полз вперед.

Наконец он втянулся в отверстие мостовой фермы. Тут его словно смерчем подхватило, швырнуло набок. Ферма качнулась, надломилась и с вагонами рухнула вниз.

**Литературная обработка Михаила Толкача**

## ДЕВОН

Война... Бои и сражения... О многих из них сложены песни, повести, сказы... Наш сказ о сражении, которое происходило далеко от фронта, в Жигулевских горах, неподалеку от места, где нынче перепоясала Волгу чудо-плотина. В знаменитом Яблоновом овраге...

Шел сорок третий год. Медленно откатывались на запад огненные валы фронтов. Но еще конца-краю войне не было видно...

Война требовала нефти. Ее требовали танки, самолеты, автомашины. Ее требовало великое наступление советских войск.

И хотя возвращались к жизни промыслы Майкопа и Грозного, и хотя открылись железнодорожные пути для нефти бакинской, страна говорила: «Больше нефти! Больше!»

Вот тогда и развернулось это бескровное сражение в Яблоновом овраге. В последний день 1943 года в буровом журнале появилась запись: «Скважина 41. Работает бригада бурового мастера В. А. Ракова. Заложена скважина 26 ноября 1943 года. Окончена бурением 31 декабря 1943 г.»

Окончена бурением...

— Нет, Василий, не окончена. Будешь бурить на девон, — сказал Ракову геолог Квиквидзе...

Нефть из девонских отложений. Еще академик Губкин предсказывал ее существование. Но как добраться до девонских глубин? Старая техника не позволяла этого. Но теперь появилась новая... Конечно, это был риск. Но поиски девонской нефти уже велись в соседней Башкирии, в Туймазах. Почему же не попытаться найти ее здесь, в Жигулевских горах?

Так рассуждали геологи А. Н. Мустафинов, И. С. Квиквидзе. Так и решили, избрав для углубления именно срок первую, раковскую скважину.

— Помни, — сказал, прощаясь, Квиквидзе, — это наша дорога на Берлин. Понял?

Бурильщик задумался. Как же так? Зачем сейчас, когда фронт молит о горючем, идти мимо верной верейской нефти, мимо угленосной свиты? Идти, не взяв ни тонны, ни грамма, лишь затем, чтобы попытаться поймать журавля в небе. А если его не поймать?

Многое знал бурильщик, да не все. Не знал он, что по холодным северным морям, таясь от фашистских рейдеров, от подводных лодок и пикировщиков, плывут, окруженные эскортом военных кораблей, грузные танкеры, полные бензина. Не знал он, что уже тысячи парней в бескозырках отдали свои жизни, охраняя эти танкеры. Потому что бензин и нефть были в ту пору для наших фронтов и впрямь бесценным грузом.

Лишь открытие девонского клада могло напоить нефтью боевую технику, избавить от беды тысячи мореходов, сотни судов, избавить от неутешимого горя миллионы матерей России... Девон означал жизнь.

А может, и это все знал Василий Раков? И потому, не щадя ни себя, ни других, сутки напролет выстаивая у буровой, вел фронтовое бурение в поисках золотого журавля...

Потекли дни и ночи. Вот он керн больших глубин. Дальше! Вот керн с тысячи двухсот метров.

Дальше!

А бур крутится и крутится. И нет уже силы, которая могла бы оторвать от него людей бригады. И кто-то, немало, видимо, передумав перед этим, написал на лоскуте серой бумаги и приколотил к деревянной вышке: «На штурм Берлина!»

Шли завьюженные зимние месяцы. Их сменила весна с ее ветрами и слякотью. И вот наступил июнь. Глубина скважины — полтора километра. Нефть! Есть признаки нефти!

— Она! Она! — раздалось вокруг.

Раков схватил кусок керна. Он и верил и не верил. Потом помчался в барак, в контору Квиквидзе. Следом за ним вбежал главный инженер Часовников.

— Она, — крикнул Квиквидзе. Он хотел обнять и расце-

ловать Ракова, но, наверное, по ошибке, сперва поцеловал черно-коричневый маслянистый керн.

Раков, человек сдержанный, степенный, не торопился с восторгami:

— Нефть-то нефть, да много ли?

Это должно было показать опробование скважины. И оно состоялось в знаменательный день 9 июня 1944 года. За сутки было получено... 500 тонн нефти. Первой в Советском Союзе девонской нефти!

А что значило это? А вот что: в 1940 предвоенном году куйбышевские нефтяники добыли 208 тысяч тонн нефти. Примерно столько же дала в победном году одна лишь скважина № 41.

Так было выиграно это сражение. Так она началась, большая волжская нефть. Только это — лишь исток сказа. Сам сказ продолжается. Взмыл ввысь первый в мире советский спутник Земли.

Это продолжение сказа!

Юрий Гагарин летит на первом космическом корабле...

Это продолжение сказа!

Обгоняя скорость звука, мчатся серебристые лайнеры. Свечой взмывают в зенит молниеподобные истребители... Притаившись от сторонних глаз, стоят молчаливые до поры баллистические ракеты — самые грозные и самые верные сторожа мира...

И это — продолжение сказа!

Потому что нет дороги в космос, нет пути в небо, как пути на земле, без нее — волшебной, древней, вечной нашей нефти.

## МЫ ДАДИМ АРМИИ СТОЛЬКО НЕФТИ, СКОЛЬКО НУЖНО!

Дружно и самоотверженно работают в эти грозные дни нефтяники Яблонового оврага. Они сознают, что здесь, в глубоком тылу, куется победа над кровавым Гитлером. Яблоновый овраг лежит в глубине Жигулевских гор. Густые заросли, каменистость и болотистость почвы представляют большие трудности в работе. Однако нефтяники Яблонового оврага с успехом преодолевают все эти трудности.

К новой скважине необходимо было срочно проложить дорогу. Скважина находилась на высокой скалистой горе, поросшей колючими кустарниками, и казалась недоступной. Рабочие вышкомонтажного цеха, которые обычно занимаются прокладкой дороги, были заняты другим делом.

— Монтажники заняты, — заявил буровой мастер т. Гарипов, — помочь должны мы. — И, не теряя времени, повел свою бригаду на приступ. Семь дней с утра до позднего вечера бурильщики работали кирками, топорами, лопатами. Они в дорожном деле показали себя прекрасными специалистами. Как ни тяжела была работа, но к концу седьмых суток извилистая лента дороги длиною в четыре с половиной километра достигла вершины горы-скважины. Благодаря бурильщикам подвозка материалов и строительство вышки на скважине были проведены в срок.

Дать больше нефти!

Под таким позунгом начинается и кончается работа вахты в овраге. Замечательные бригады мастеров бурения тт. Гарипова, Саберзянова и других ежедневно перевыполняют свои нормы. Буровая бригада мастера т. Валькова должна бурить по 13—14 метров, а бурит по 25—30 метров. Бригада вышкостроения т. Деревского разбирает вышку за четыре дня при норме в шесть дней. Самоотверженно тру-

дять, ставропольские нефтяники ежедневно намного перевыполняют план добычи нефти. Полугодовой план они закончили досрочно...

— Мы дадим нашей Красной Армии и нашему Красному Флоту столько нефти, сколько потребуется, — заявили выступившие на митинге рабочие и специалисты промысла.

Газ. «Известия», 1941, 10 июля, № 161.

## НЕРУШИМАЯ СВЯЗЬ ФРОНТА И ТЫЛА

В ответ на призыв Александры Смирновой вношу на постройку танковой колонны имени жен фронтовиков тысячу рублей деньгами и на тысячу рублей облигаций. Кроме того, на днях я внесла на постройку эскадрильи самолетов авиаполка «Валериан Куйбышев» 150 руб. Как учительница и завуч средней школы № 80 г. Куйбышева я приложу все силы, чтобы воспитать в детях горячую любовь к Родине и жгучую ненависть к врагам.

Наши школьники за 4 месяца учебы внесли в помощь Красной Армии 21 450 руб. деньгами, послали 90 посылок бойцам, собрали теплые вещи для фронтовиков.

Школа получила более 70 писем с благодарностью за посылки. Учителя и учащиеся школы завязали тесную письменную связь с одной авиационной частью, дали наказ героям-летчикам скорее уничтожить фашизм — злейшего врага человечества. Бойцы, в свою очередь, дали наказ школьникам учиться только на «хорошо» и «отлично» и лучше помогать фронту. Наказ их мы приняли.

Призываю всех жен фронтовиков Куйбышевской области откликнуться на призыв Александры Смирновой и вносить средства на постройку танковой колонны имени жен фронтовиков. Пусть наши дорогие мужья-фронтовики лишний раз почувствуют помощь своих бсевых подруг.

Жена фронтовика — старшего лейтенанта  
Нина Воеводина  
Газ. «Волжская коммуна», 1943, 11 января, № 11.

## ПРИНИМАЙ, ФРОНТ

Вчера на Н-ском аэродроме в присутствии многочисленной делегации трудящихся городов Куйбышевской области состоялась торжественная передача летчикам эскадрилий боевых самолетов «Валериан Куйбышев», построенных на личные средства рабочих и служащих нашей области. У каждого, кто побывал на аэродроме, навсегда останется в памяти эта волнующая демонстрация советского патриотизма.

При входе на аэродром каждый невольно замедлял шаг и окидывал взором величественную картину грозного строя боевых машин. На каждой из них — четкая надпись:

«Валериан Куйбышев»

и ниже

«Самолет построен на средства трудящихся городов Куйбышевской области».

Каждого при виде этих машин невольно охватывало чувство гордости. Вот оно, грозное материальное воплощение высоких чувств беззаветной любви к Родине и беспредельной ненависти к врагу.

Боевые машины выстроились по трем сторонам огромного прямоугольника. Их шеренга уходила далеко к горизонту, и выкрашенные по-зимнему машины сливались с небом и снегом.

Личный состав будущих авиаполков выстроился перед фронтом своих самолетов. Мужественные, суровые лица пилотов полны благодарности к трудящимся области, вручающим им самые лучшие машины Советского Союза. Все эти люди уже встречались с врагом в ожесточенных схватках, грудь многих из них украшают боевые ордена.

Строй обходят командиры и руководители областных организаций. Звучат слова приветствия. Затем начинается митинг.

Все выступающие — и председатель исполкома областного Совета депутатов трудящихся т. Хопов, и секретарь обкома ВКП(б) т. Муратов, и представитель ульяновцев депутат Верховного Совета СССР профессор т. Ткачев, и мастер Сызранского завода т. Потапов, и многие другие — говорят о благородном чувстве советского патриотизма, проявленном трудящимися Куйбышевской области. И каждый из присутствующих на митинге знает, что речь идет о нем, о его товарищах по работе, о знакомых и незнакомых друзьях, о людях, которые работают, не считаясь со временем и трудностями, которые забывают об усталости, когда речь идет об усилении помощи фронту, которые отдают все имеющееся у них и готовы отдать самое драгоценное — жизнь для ускорения победы над ненавистным врагом. И когда тов. Муратов вручает командирам авиачастей тт. Валивахину и Игнатенко грамоты о передаче боевых самолетов, раздаются бурные аплодисменты.

— Принимая от вас эти боевые машины, — заявляют в своих выступлениях тт. Валивахин и Игнатенко, — личный состав вверенных нам частей заверяет, что эта грозная техника будет полностью использована для того, чтобы нанести врагу как можно больший урон. Сотни тысяч фрицев прольют свою поганую кровь, сраженные пулями и снарядами, выпущенными с этих самолетов.

Гремят аплодисменты, торжественно звучит «Интернационал». В этот момент из-за горизонта доносится рокот моторов. Через мгновение над самыми головами собравшихся на бреющем полете молниеносно проносится звено самолетов. Они делают круг и возвращаются снова, покачивая крыльями в знак приветствия. Все с восхищением смотрят на демонстрацию боевого вылета.

После митинга делегаты городов осматривали свои машины. Летчики рассказывали им о прекрасных качествах этих самолетов, о том, какой ужас наводят они на немцев. Дружеские беседы возникали возле каждой машины, и, прощаясь, делегаты горячо пожимали летчикам руки:

— Будем ждать от вас хороших вестей с фронта. Побольше истребляйте проклятых фрицев!

— Будьте спокойны, — отвечали летчики. — Эти самолеты особенные, они как бы пропитаны ненавистью к немцам. Побольше давайте нам таких машин!

Но вот кончены беседы. Механики заботливо укутывают моторы своих машин, к некоторым подвозят горючее для заправки. Скоро эти красnozвездные стальные птицы вспорхнут с аэродрома и возьмут курс на запад. Они понесут с собой мысли и чувства миллионов советских патриотов, страстно желающих скорейшего разгрома врага.

Газ. «Волжская коммуна», 1943, 12 января, № 9.

## САМОЛЕТЫ «ВАЛЕРИАН КУЙБЫШЕВ» ГРОМЯТ ВРАГА

На аэродроме стоят штурмовики «Ильюшин-2». Их борта украшены крупной четкой надписью «Валериан Куйбышев». Это самолеты, построенные на средства трудящихся Куйбышевской области. Немало гитлеровцев и их боевой техники уничтожили на них наши летчики.

Только что вернулась с боевого задания шестерка, которую вел командир части — бывалый, опытный штурмовик. Штурмовали вражескую переправу. Командир вывел свою шестерку прямо на цель и внезапно атаковал переправу. Бомбы упали точно. Со столбами воды поднялись на воздух обломки немецких понтонов, разорванные тела фашистов. Гитлеровцы, скопившиеся на берегу, бросились прочь, но их настигал огонь штурмовиков.

Летчики уже выходили из района штурмовки, когда на самолет младшего лейтенанта Василия Русакова напал немецкий истребитель. Два снаряда, выпущенные немцем, попали в кабину стрелка сержанта Иванова. Стрелок передал своему командиру, что он ранен, но постарается отогнать стервятника. Враг наседал. Иванов отстреливался, усиливал огонь. Противник вынужден был прекратить атаку. Русаков благополучно привел самолет на свой аэродром. Когда подошли к кабине стрелка, он произнес:

— Помогите вылезть, я тяжело ранен.

Сержант Иван Иванов вел бой с немецким истребителем, когда у него была оторвана нога, ранено плечо и кровь заливала весь пол кабины.

Рассказывая о своих боевых подвигах, летчики непременно подчеркивают:

— Машины хороши. Золотые машины.

Газ. «Волжская коммуна». 1943, 20 июля, № 149.

ВЕНИАМИН ЖАК

ОТОМСТИ ВРАГУ, КРЫЛАТЫЙ «КУЙБЫШЕВ!»

Гнев, лети на крыльях эскадрильи,  
Бомбами обрушья на врагов  
За грабеж кровавый и насилие  
И за пепел наших городов.

Погляди: лежат, прикрыты рубищем,  
Беларусь, Украина и Донбасс.  
Отомсти врагу, крылатый «Куйбышев»,  
Отомсти за каждого из нас.

И когда над волжскими затонами  
Грозный гром моторов загремит,  
С гордостью, хозяева законные,  
Скажем: «Вот наш «Куйбышев» летит!»

Мчись же, эскадрилия, над тучами,  
Множь бесстрашных соколов семью.  
Ты лети, родная и могучая,  
В смертный бой за Родину мою.

«Волжская коммуна», 1942, 26 декабря

## КЛЮНУЛИ!

На нашем участке, пожалуй, полгода никак не удавалось захватить «языка». Как доходили слухи, приезжали даже разведчики из армии. Крутились-вертелись и уезжали не солоно хлебавши.

И вот случилось неожиданное. Чистили мы оружие под навесом (стояли во втором эшелоне другой день). Ладно. Подходит к нам комдив. Все, как положено, приняли стойку «смирно». А комдив сожмурил левый глаз, сильно нахмурил брови (так делает всегда, ежели не в духах):

— Вольно!

Попало, говорит, мне из-за вас в армии. Да какие ж, говорит, вы волжане (наша рота целиком из куйбышевцев и ульяновцев), если не можете доставить командованию «языка», хотя бы паршивенького.

Вот тут мы и увидели, что из себя представляет наш тихоня Воробьев Карпушка (промеж себя зовем его Воробейчиком). Встал он перед комдивом, руки по швам и рубанул:

— Фрица, товарищ полковник, взять можно. У меня есть соображение.

Комдив перестал жмурить глаз.

— Ну-ка, что за соображение, выкладывай.

— Могу передать, — отвечает Карпушка, — только по секретности.

Ушли они за угол дома. Вскорости возвратились.

— Что ж, товарищ Воробьев, благославляю, — говорит комдив и подает, знаете, Карпушке руку да притом с улыбкой. — Чем черт не шутит. Ловят ведь щуку на блесну-уралку.

И досталось же от нас Воробейчику! Так разобидело нас его поведение. Как только полковник отошел, взяли мы Карпушу в оборот по всей форме:

— Отбузовать тебя мало, Трепач! Пустомеля! Как это язык-ат повернулся, давать комдиву такое ответственное слово. Да ты, грешным делом, не чокнутый? Признайся, отправим на лечение нынче же.

Все припомнили ему: как кланяется от пуля, и как от одного гуда «мессера» иль, скажем, «рамы» теряет на лице краски. И так далее, и тому подобное.

А Воробейчик злит нас — ухмыляется, скоблит ногтем брюшко хозяйскому поросенку, развалившемуся у его ног, и так беззаботно отвечает нам:

— Я все взвесил «за» и «против». Другой месяц мучаюсь, на какой крючок поддеть фрица.

После обеда увезли его на легковушке в неизвестном направлении. Вернулся он утром на светке. Командир роты собрал нас и говорит:

— Кто с товарищем Воробьевым пойдет за «языком»? Двоих нужно.

Сам Воробейчик назвал Матюньку Тузикова и меня. Согласны, говорим, с удовольствием поохотимся за фрицами. Иначе-то не скажешь, моментом в трюсы запишут.

Отвел нас потом Воробейчик в сторонку и открыл перед нами всю свою стратегию насчет поимки «языка». Смех даже нас прошиб. Взаправду. И придумщик же тихоня!

Вскорости посылает меня Карпуша узнать, чем занята хозяйка на огороде. Сбегал. Поливает капусту и прочие огородности. И только доложил — из подворотни выскакивает хозяйский поросенок. Воробейчик приманил его. Третий наш товарищ Матюнька Тузиков держал наготове мешок, и поросенок без пересадки угодил туда. Глупое животное подняло, что называется, хай на своем свинячьем языке. Верно, у Воробейчика было условлено с шофером: тотчас же подскочила машина, и мы понеслись из деревни на полном газу. А поросенок знай свое — визжит, ровно его режут, и бьет по нашим нервам и перепонкам. Очутились мы в недорослом сосняке. В леске так тихо. Уже порядком смеркалось и погустел дождик. Тут нас поджидал начальник дивизионной разведки капитан Авостин.

На этом участке между нашей обороной и немецкой (ближе к нам) была нейтральная полоса с кустарником и промоинкой. Вот боевое охранение и пропустило нас туда после капитанова инструктажа. Расположились, где было

указано, ждем. И разведрота заняла свои места. Ой, нелегка должность у разведки. В пехоте все ж таки полегче.

Началась эпопея нашего придумщика Воробейчика. Покакат поросенка в одном месте, переползет с мешком в другое и проделает ту же комбинацию. А поросенок знай свое — увви да увви. Создалась такая ситуация, будто по кустарнику бродит заблудшая животи́на. Вот на эту «наживку» фрицы и клюнули — на голос поросенка выползли двое из окопов. Тут, в кустарнике, были начеку разведчики. Очухаться не дали любителям свининки. Живо спеленали: ручки назад, а в рот кляпы помягче, чтобы не повредить ротовые нежности. Началась стрельба с обеих сторон.

А мы с капитаном и «языками» добрались благополучно до сосняка (ежели не считать царапнутого пулей Матюньку Тузикова и простреленного уха у поросенка в мешке. Это, значит, когда ползли и перебежали в лесок). Тут для нас уже наготове машина. Живо домчались до штаба дивизии.

В общем и целом, фрицы пошли не те — энергосистема начинает у них портиться и гайки слабнуть. Взаправду. Допрежь они в плену сопротивлялись, грудь выпячивали и кричали во всю глотку: «Хайль, Гитлер!» А тут, когда «языков» ввели в помещение, они дрожали от страха всем телом, чакали зубами и заладили одну музыку: «Гитлер капут!.. Гитлер капут!..»

Гонор-то сбили по всей форме. Взаправду.

## КУЙБЫШЕВЦЫ — ТРУДЯЩИМСЯ СМОЛЕНСКА

Скоро исполняется годовщина освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков. За этот год предприятия и трудящиеся г. Куйбышева, взявшие на себя шефство над освобожденным городом, многое уже сделали для оказания братской помощи в восстановлении его хозяйства. Из Куйбышева в Смоленск было отправлено 109 вагонов различного промышленного оборудования и инструментов, строительных материалов и механизмов, оборудования для школ и больниц, большое количество книг, домашних вещей первой необходимости.

Сейчас, в связи с исполняющейся годовщиной, на предприятиях и в учреждениях Куйбышева вновь широко развернулся сбор подарков для трудящихся Смоленска. Рабочие судоремонтного завода во внеурочное время изготавливают для одной из школ города, разрушенной гитлеровскими громилами, комплект столов и скамеек, для детского сада делают столики и стульчики.

Завод, со своей стороны, выделил для восстановления промышленности Смоленска большой радиально-сверлильный станок и, кроме того, на днях уже отправил электро-сварочный аппарат, походную кузницу.

Коллектив обзостроительного завода решил послать смоленцам целый вагон различных подарков. В него войдут предметы, изготовленные рабочими во внеурочное время: десять двуколок, двадцать колес, сто зубил, пятьдесят ломов, сто лопат, двадцать пять ведер, кроме того, комплект инструментов, различное электрооборудование и т. д.

Нефтекомбинат выделил на строительство Смоленска три вагона черепицы, два вагона строительного леса, около двух вагонов фитингов.

В настоящее время на фабриках и заводах города проходят беседы, посвященные знаменательной дате освобождения Смоленска и укреплению шефства над ним.

Газ. «Волжская коммуна», 1944, 9 сентября, № 180.

## ПИСЬМО БОЙЦОВ КРАСНОЙ АРМИИ С ПРИЗЫВОМ КРЕПИТЬ СВЯЗЬ ТЫЛА С ФРОНТОМ

Мы, уроженцы и жители Куйбышевской области, вступаем в ожесточенное сражение с ненавистным врагом. Клянемся вам, дорогие земляки, что бойцы и командиры подразделения лейтенанта т. Рачкова не опорочат великих традиций землячества, будут и впредь достойными воинами нашей великой страны социализма.

Мы видели, как гитлеровцы издеваются над пленными красноармейцами, над мирным населением сел и городов, над детьми, женщинами и стариками. Кровавый Гитлер хочет запугать и поработить свободные народы Советского Союза. Он хочет отнять у нас кровью добытую свободу, право на труд, на отдых, на образование. Никогда не бывать этому! Отдохнув, мы будем еще ожесточеннее биться... за честь и независимость своей Родины.

Мы клянемся беспощадно громить ненавистного врага до полного его уничтожения и призываем вас трудиться в тылу не покладая рук, не щадя сил.

Больше самолетов, танков, пулеметов, пушек, минометов, боеприпасов! Пусть ваш самоотверженный труд рождает новых героев труда. Будьте инициаторами нового подъема социалистического соревнования за усиление помощи фронту, за увеличение выпуска боевого оружия.

Сообщайте нам о своих трудовых успехах, а мы напишем вам о наших боевых делах.

По поручению общего собрания бойцов и командиров лейтенант Рачков, лейтенант Медников, младший лейтенант Мандрыкин, бойцы Табецаев, Афросин, Яшин.

Полевая почта 2049, часть 141.

Газ. «Волжская коммуна», 1943, 23 февраля, № 44.

## КАСАТИК

В разгар наступления советских войск в Прибалтике в 1944 году Фому Карповича Ухова назначили начальником освобожденного от фашистов полустанка Ляумэ вместо выбывшего по ранению сержанта.

— Ты у нас везучий, товарищ Ухов! — Командир роты подмигнул солдату. — Три года под пулями и — ни царапины... И опять повезло — Ляумэ далеко от фронта...

Одугловатое лицо Ухова сурово. В душе обижен: разве он укрывался от опасности?

...А по словам командира можно и так подумать... Уж лучше не назначал бы начальником, чем посмеиваться.

Но служба не позволяла пререкаться. Приложил руку к пилотке, не мигая посмотрел в веселые глаза командира.

— Есть принять команду над Ляумэ!

Если бы не такие слова напутствия, Фома Карпович радовался бы: солдат, а назначен на командирскую должность!... Ехал в Ляумэ пасмурным, вздыхал, представляя себе полустанок на однопутном участке железной дороги. Он уж изведal не один фунт лиха. По «железке» прошел сперва от границы до Воронежа, а теперь вот в Прибалтику. Повидал!

Почесывал затылок, оглядывая пепелища в Ляумэ. Деревянные семафоры. Стрелки, слепленные кое-как. Четыре пути из обрубков побитых рельсов. Где был вокзал — кирпичи вроссыпь. Голые печные трубы печальным строем поместили места домов — сгорели подчистую.

«Трудов-то сколько было вложено, а война — чик! — и нет ничего. Сызнова начинай...», — солдат поднял с земли картонного коня с дырявым животом, повертел в крупных руках. Где уж тут целой остаться игрушке?!

Вблизи полустанка когда-то был рабочий поселок. Жители его помогали местным партизанам. Фашисты кого

расстреляли, кого повесили, а многих — в Германию, на ка-  
торгу... Кроме советских солдат, теперь в Ляумэ никого не  
было.

Возле переезда сохранились два дома с крутыми чере-  
пичными крышами. В первый же день жизни на полустан-  
ке стрелочники помоложе кинулись было к домам: занять  
поскорее! Ухов строго осадил торопыг:

— По бомбе соскучились?

И военные железнодорожники поселились в землянках,  
вырытых еще немцами.

Бои шли на берегах Балтийского моря, далеко от полу-  
станка. Фома Карпович уже в мыслях прикидывал: как  
лучше явиться к семье, в степной городок, что под Кол-  
дыбанью, в Заволжье. Война заканчивается. Вот только рат-  
ная слава все стороной обходит солдата — ни звания, ни  
наград. Какой же он везучий?...

Сосны, плотным строем обступившие полустанок, шеп-  
тались задумчиво. И так было мирно в Ляумэ, что щемил  
сердце солдата: век бы жить без войны! Построить бы  
избу в три света среди этих высоченных сосен, жену при-  
везти. Вечерами так вот сидеть на крыльце, слушать покой-  
ные шумы бора и тихонько рассказывать про бывшие дела...

Мимолетное настроение захватывало его: и река тут  
недалеко, рыбная на удивление, и климат помягче завол-  
жского. Там ведь одни ветры степные да суховеи испепе-  
ляющие, и настоящий урожай, дай бог, в десять лет вы-  
падет. И останавливал себя Ухов: прижился в Заволжье!  
Зачем сниматься с насиженного места? На своей станции  
Чагры он — человек известный, отмечался как прилежный  
работник. Да и жена воспротивится. Переезд сюда что  
большой пожар: что потеряешь, что поломаешь, что забу-  
дешь... Ехать-то не ближний свет!..

Фома Карпович всю ночь проканителлся на путях: со-  
став сухарей прибыл, а складские тупики — короче во-  
робьиного хвоста. Вот и тыркались до рассвета: подавали  
к площадкам и выгружали по два вагона враз. Да машинист  
попался размазня — горло с ним надорвал!..

Пошабашили утром. Фома Карпович отдыхал в своей  
землянке, развываясь на протыранном диване, раздобы-

том расторопными стрелочниками где-то в развалинах. Спину подставлял раннему солнцу, ощущая теплоту и подкапывающую к глазам дремоту. Сапоги сбросил, разматал портянки и с наслаждением вытянул натруженные ночью ноги.

— Разрешите обратиться, товарищ начальник?

Ухов недовольно повернул скуластое лицо: не к часу гость!

Перед столом, вынесенным из дома под сосну, вытянулся ефрейтор со скаткой через плечо. Драгунка с побитым прикладом в руке. Пилотка лихо заломлена над правой бровью. И круглое лицо все в пятнах коричневых веснушек. Табачного цвета глаза.

«Ишь, затейник!» — Солдат Ухов досадливо хмыкнул и спросил:

— Чего тебе?

Приложив ладонь с длинными пальцами к правой брови, вновь прибывший отчеканил:

— Ефрейтор Касаткин явился для прохождения службы!

«Шельмец, шпарит по-уставному!» — Фоме Карповичу было неловко за свой распотрошенный вид — босиком, без ремня. Раздражение накачивалось: «Побегай сам, затейник, всю ночь — запоешь лазаря!»

Ефрейтор молодежато сдернул с плеча скатку, умело достал из кармана новой гимнастерки бумагу с печатью, передал ее Ухову.

— Предписание...

«Замену, очевидно, прислали: ефрейтор. А он — солдат!» — Фома Карпович нервно расправлял бумагу. Касаткин опять громко:

— Стрелочником назначен! Где определиться?

«Шустрый паренек!» — Фома Карпович с облегчением дочитал казенную бумагу и еще раз оглядел новичка. В обмотках, больших, не по ноге, ботинках. Шея тонкая, и уши торчат, как у первоклассника.

— Садись, потолкуем, ефрейтор.

— Есть!

Фома Карпович поморщился.

— Как звать? Николаем?.. Так вот, Николай, дело у нас трудовое и эти «есть» да «никак нет»... Без этого обходимся. У нас — работа!.. Родом откуда?

— В Куйбышеве жил... Работал на трубочном.

— Земляки, значит... — Фома Карпович стал наматывать на ногу просохшую на солнце пеке портянку. Делал это старательно, явно напоказ — без морщинок и складок легла на ногу портянка. Сапог влез свободно. Потоптался, обминая его.

Касаткин напоминал Фоме Карповичу сына. «Может, уже воюет — слышать, восемнадцатилетних призывают...» И представив своего сына в армейской шинели, Ухов спросил:

— Сколько лет тебе, Касатик?

— За восемнадцать перевалило.

— Ровесник моему Гришке... Будешь жить в моей землянке!

— Есть!

Фома Карпович снова думал о сыне. Сердце беспокойно дробило: из дому не было писем...

— В тылу как, здорово трудно?

— Я, товарищ начальник, на войне второй год... Из госпиталя к вам. Ну, а ребята с Трубочного пишут: перебиваются.

Ухов почесал волосатый затылок: ошибся, выходит! Вероятно, добровольцем напросился из госпиталя, хм-м-м...

— Устраивайся, Коляка. А мне топать — служба...

— А может, мне на пост?.. Я — готов!

— Завтра поставлю в смену...

За развалинами погуливал паровоз, звенели сцепки. Фома Карпович, занятый думами о доме, зашагал к складам. В сердце теплилось приятное: солдата Ухова оставили в начальниках, а ефрейтора — в стрелочники. Надо полагать, присвоят звание!

Служба Николая Касаткина началась удачно: будучи связным в технической разведке, он заметил в береговом устое моста фугас, заложенный фашистами, и сооружение было спасено. Наступавшие на Ригу танки быстро очутились на вражеском берегу. И появились на погонах Касаткина первые, самые узкие поперечные полосы.

Назначение в Ляумэ Касаткин принял без восторга: захнешь тут. Но он — парень покладистый. Что ж, стрелоч-

ником кому-то нужно быть — выходит, такая доля! Но огорчение не проходило...

А седоголовый ротный командир думал по-своему: «Мальчишка еще совсем! Стрелочник все же подальше от пуль».

И новый начальник понравился ефрейтору: позаботился о жилье! В свою землянку пустил. В порыве благодарности Касаткин решил угостить Фому Карповича крутой гречневой кашей — в вещмешке у него было несколько пачек концентрата.

К вечеру у землянок закурились дымки под соснами: бойцы варганили нехитрый ужин. И Касаткин колдовал над костром.

А Ухов так и не поспал: весь день занимался хозяйством! Шел к жилью усталым и с досадой на душе — когда же все это кончится?..

— Попробуем! — Фома Карпович вынул из-за голенища ложку.

Николай Касаткин, натянув на ладонь рукав гимнастерки, подхватил котелок за дужку и — бегом к столу! Дужка все-таки обожгла пальцы, и ефрейтор дул на них, другой рукой утирал слезы. Такая беспомощность во всей тонкой фигуре Николая, что рука Ухова сама потянулась к голове новичка.

— Мылом натри и водой обмой — волдырей не будет! Эх ты, Касатик! — Фома Карпович сбегал в землянку и вручил Касаткину обмылок. — Давай полью!

Николай подставлял обожженные пальцы под струю воды, веснушчатое лицо его кривилось. Фома Карпович отыскал на прогалине подорожник, выбрал широкий лист и приложил к ладони Николая. Паренек покорно подчинялся Ухову. Потом вернулись к столу. Касаткин черпал из котелка чаще, чем Фома Карпович, и наелся быстрее. Фома Карпович, выскребая ложкой остатки, попенял:

— Торопыга ты, Коляка. Накидал в желудок, как наколотых дров в печку. Для здоровья вред — не жуешь...

Касаткин ухмылялся по-мальчишечьи, вытирал капельки пота с веснушчатого носа.

— Как работаю, так и ем, товарищ начальник.

— От скромности, Коляка, не умрешь!

— Нам, детдомовским, зевать не приходится.

— Ты что ж, без родителей?

— Без них не было бы меня на свете! — Смеялся Касаткин, облизывая масляные губы.

— Не шуткуй!..

Насупился Касаткин, поправил лист подорожника на ладони. Ежиком топорщились его короткие волосы. Голос враз охрип.

— Кулаки... Мамку сперва вилами. Батяню встренули на задворках... Топором голову рассадил...

— Жизнь, она больше мачехой... — Ухов отставил котелок, вытер пальцами алюминиевую ложку, затолкал ее за голенище. Прошлое не радовало и Фому Карповича. Дальние родственники вызвали его из глухой степной деревни в городок и определили мальчиком к торговцу дегтем и колесной мазью. Парнишкой был приучен угождать всем, поклоняться состоятельным. И малограмотным остался. И женился поздно: сыну, вишь, восемнадцать, а отцу — все пятьдесят. Да и в Чаграх попотел, пока уважения достиг...

Сосны над головой шумели и казалось, что в вышине летят какие-то птицы, будоража крылами тугой воздух, задевая вершины деревьев. Ухов прислушивался к дыханию бора, отгоняя мысли о нелегком прошлом.

— Поселиться бы тут насовсем... Как думаешь, Касатик? Годно?...

Касаткин ответил не сразу. На ум пришла бабка, приютившая его после смерти отца и матери. Увидел он словно воочию степь в цветах...

— А кто же его знает?.. Люди жили... Только бегать с места на место — для легкого человека. Один побежит, другой побежит...

— Как это — побежи-ит? Зачем?

— А вам зачем?

Фоме Карповичу послышался в словах Касаткина упрек, и он остановил ефрейтора.

— Молод других судить!

— Так я что... Самому интересно новые места увидеть. Извините, Фома Карпович, если что не так...

— Молодые пошли — все им не способно, все им ясно наперед... Не хлебнули мурцовки!..

Касаткин взял котелок, намереваясь очистить от копоты и вымыть внутри. Фома Карпович не дал.

— Пальцы разбередишь... Насчет бегать и интереса — понятия разные. Бегать — это, вон, как до Волги отмахали.

Пятислись перед фашистской силой... А интерес — это мы его гоним! Вот такая арифметика!

Николай перегнулся через стол и, обдавая Ухова теплым дыханием, спросил:

— Вернись домой, о чем расскажу?.. Как под этими соснами сидел? Да?.. Обидно, дядя Фома, угодил же в Ляумэ!.. Полагаю, можно было утечь из госпиталя в маршевую роту — все приказа ждал... Люди фашиста своими руками лупцуют, а я чай гоняю. Это не обидает?..

— Эх, Коляка, навоюешься досыта!.. О чем горюешь!.. Да по мне...

— Я сам навязался военкому, по доброй воле... Всем цехом трубочники провожали, наказывали... Знаете, какой наш завод?.. Революцию в Самаре делал, вот какой! А я что?..

Фома Карпович все больше настораживался, и доброе расположение окончательно покидало его. «Прислал же лейтенант этого ефрейтора! Сбежит на передовую — ищи в куролесице!.. А спрос?.. С начальника полустанка. Кому нагоняй? Ухову!.. Шустряк нашелся!».

— На войне всему место отведено. Кому стрелять — тот стреляет. Кому землю копать — роет. Кому выпало кашу варить — кашеварит! Иначе как же? Потому — на все приказ. А тебе не терпится — фронт подавай!..

Над шумливым лесом тянулись легкие белые облака, подкрашенные снизу багрецом закатного солнца. И на изрытую, в шрамах землю, и на обглоданные осколками сосны, и на притихших к вечеру людей — на всю округу пеплом золотистым оседало призрачное свечение.

— Нет, дядя Фома! Убил бы Касаткин одного фашиста — ближе победа. Убил бы двух — еще лучше. Торчат под соснами каждому по плечу. А я — комсомолец!..

— Комсомолец должен дисциплину блюсти, Коляка!.. И настроение твое негодное! — Ухов поднялся и одернул гимнастерку под брезентовым ремнем. Ухов боялся искренности Касаткина: «Может быть, Гришка так вот где-то уже набивается в атаку...» Смотря в потемневшие глаза Касаткина, он с тревогой убеждался: «Сбежит в первую линию!» И он пристукнул широкой ладонью по столу:

— Товарищ ефрейтор, проверьте фонари на семафорах!

Тяжелая усталость навалилась на плечи Ухова — ночь и день на ногах, и беседа приобрела вдруг нелегкий тон.

Касаткин скосил погрузневшие глаза.

— Есть проверить фонари!

— Исполняйте! — Ухов проводил Николая долгим взглядом. Отцовское чувство всколыхнулось горячей волной. «Чего прицепился к мальчишке? Поберечь бы!» Опять в мыслях встал свой сын...

Фома принялся яростно чистить жесткой травой котелок.

Бои отодвинулись от Ляумэ далеко в Курляндию, и на полустанке стали оседать фронтовые склады и хозяйственные службы армий — оружие, продовольствие, снаряды, фураж, одежда, патроны, лекарства — все, без чего солдат на войне не может жить.

Железнодорожники протянули новые тупики в гущину бора, саперы возвели временные хранилища. Под топор попала не одна вековая сосна, и Фома Карпович по-хозяйски приценивался: как бы удобнее и дешевле срубить избу?.. Переедет или не переедет на жительство, а сруб — чистый капитал.

Вернутся люди сюда, на полустанок, — жить же надо будет...

И вовсе неожиданно на Ляумэнском участке началось контрнаступление фашистов. Фронт орудийным громом давал о себе знать. Шальные снаряды изредка падали на пути, навевались к железной дороге самолеты неприятеля. Опасность — на всяком шагу: немцы знали о складах и базах Прибалтийского фронта.

Позади такой смертный путь — тысячи пуль и осколков миновали Фому Карповича. Познал он и страх отступления, и мгновенный порыв в лихой атаке, и тоску в минуту огневой передышки — и вот новый переплет!

Перебегая пути, Фома Карпович угодил в полосу обстрела. Он упал, вжался в землю. Снаряд взорвался слишком близко: теплой волной воздуха опажнуло, придавило к земле. Ухов кинулся к госпитальным палаткам — со щеки сочилась кровь. Мазнул ладонью — алые следы!

— Заражение не выйдет?

Медицинская сестра с румяными пухлыми щеками по-свойски улыбнулась, прижигая рану:

— До свадьбы заживет.

Легкомыслие ее осердило Фому Карповича:

— Эх, пустомеля!

Из перевязочной Фома Карпович вышел с перебинтованной головой.

На путях суетились бойцы-ремонтники: вражеские снаряды изрядно покалечили рельсы и шпалы.

Фома Карпович повернул в военную комендатуру полустанка: много ли груза ожидается с востока?..

Комендант докладывал кому-то по телефону о стойкости железнодорожников, упомянул и Ухова. Солдат попятился, тихо вышел из землянки — пусть говорит!

Люди, натрудившиеся за день, медленно растаскивали искореженные шпалы, засыпали воронки. Ухов поторопил их:

— Скорее, ребята, скорее!

— Скорелки не осталось, солдат! — Ремонтник в пилотке опирался на лопату, рукавом засаленной гимнастерки вытирал пот с лица. — Сколько же этого «скорее» в человеке может быть?!

От семафора к вокзалу спешил кондуктор с черной сумкой через плечо и красным флагом в руке. Узнав начальника станции, закричал с надрывом:

— Чего поезд держишь! Выводи на пути! Цистерна с авиационным бензином! Жажнет — небу жарко станет. Сливайте скорее!

— Чего кричишь! Видишь? — Фома Карпович указал на воронки. А сам беспокойно соображал: диспетчер строго-настрого запретил брать на полустанок опасные грузы во время обстрелов. Подоспел майор из комендатуры:

— Тяни состав!

Эх, жизни! Диспетчер далеко на линии, а майор — вот он! Попробуй не послушай.

За лесом глухо ударило орудие, зашелестело над головой, и за стрелочным постом вымахнул черный фонтан взрыва снаряда. Бойцы попадали, уползли в кювет, в воронки от бомб. Майор присел, потянул за рукав Ухова. Фома Карпович бросился наземь, столкнул майора. Тот неуклюже плюхнулся, сверкнул воспаленными от бессонницы глазами.

— Полегче!

Второй снаряд рванул телеграфный столб, и щепки с противным свистом разлетелись по сторонам.

— По стрелочной горловине бьют, сволочи! — Майор

перебежал к ремонтникам, схватил лопату и размашисто бросал сырую землю в воронку.

Фома Карпович слышал, как требовательно гудел паровоз у семафора. Еще один снаряд угодил в кучу шлака, и облако серой пыли повисло над тупиком. Когда оно рассеялось, Ухов увидел: ремонтники соединили рельсы! И майор среди них.

— А, черт! — Фома Карпович выхватил из кармана бриджей желтый флажок и замахал им над головой.

— Только побыстрее! — заорал он на кондуктора. — Шевелись же!

Паровоз пробуксовал на месте, взвилось в небо темно-серое облако из его трубы, медленно потянул состав, поравнялся с Фомой Карповичем, обдал его теплым паром.

Ухов потрогал перебинтованную голову, вскочил на первую подножку будочной лестницы паровоза.

Ехали с оглядкой: путь едва наживлен. Стыки натруженно скрипели, потрескивали шпалы.

Николай Касаткин был свободным от дежурства и помогал на путях товарищам. Увидя Ухова на подножке паровоза, ефрейтор подивился: «Ранен, а не ушел!» Николай проворно завинчивал гайки на болтах, скреплявших стыки.

Фома Карпович спустился на землю, держась за поручни, подсказывал машинисту, где прибавить ход, а где замедлить. Поезд двигался со скрипом и тяжелым громыханьем на непрочных стыках...

И в вагон вцепился-таки случайный снаряд, вспыхнула обшивка из крашенных досок. Машинист заорал во всю мочь:

— Бензин! Бензи-ин! Бензи-и-ин!

Ухов опрометью кинулся к загоревшемуся вагону. Пламя уже жадно лизало крашенные стенки. Черно-оранжевые сполохи плясали у самой цистерны. Отцепить вагон с двух сторон — минутное дело. Минутное, если не жжет огонь... Фома Карпович дышал с перебоями: дым! Не загорелись бы бинты на голове. И он упал, судорожно поскребывая комковатую землю, ощущая ее холодок.

К составу подбежал Николай Касаткин. Туго и несколько раскручивались винты сцепки. Пламя металось под брюхом цистерны. Если бензин вспыхнет — море огня!



Сплавятся земля, рельсы, камни — когда исправишь пути?.. Николай видел подобную беду и раньше, на другой станции. Руки его освобождали виток за витком, ослабляя стяжки. С силой рванул вверх сцепку, сбросил захваты с крюка. И повалился на землю, теряя сознание.

Фома Карпович подбежал к нему, попытался помочь земляку. Тот, очнувшись, мотнул головой:

— Отцепляйте!

Ухов сам понимал: сделано поддела! Устремился за поездом, намереваясь отцепить горевший вагон с другой стороны и удалить от огня цистерну. Сапоги почему-то стали жать ноги, болели пальцы, словно попали в тиски...

Касаткин ругал себя: «Фома Карпович, раненый и старый, спасает станцию, а он, молодой и здоровый... В спешке отцепил вагон не с той стороны — торопыга!» Преодолевая головокружение, Николай догнал вагон, снова взялся за сцепку, развинчивал винты. В голове молоток стучал: «Ступай! Ступай! Ступай!». Глаза уже не видели, лишь пальцы ощущали железо. Он не бросал горячую стяжку.

И лязгнула сцепка, освобождая крюк.

Свалился Касаткин. Загорелись брюки и обмотки. Запылала гимнастерка. Над ним по инерции прокатился вагон, облитый оранжевым светом.

И Ухов настиг состав: вагон отцеплен! К машинисту: — Скорее вперед!

Фома Карпович по лесенке забрался в будку паровоза, из чайника через мятый носик потянул холодную воду.

Машинист выпятился до пояса из окна будки, вглядывался вперед. Позади — пламя, густой черный дым. У стрелки стоял майор и грозил кулаком:

— Быстрее!

Фома Карпович неуклюже спустился по лесенке, прыгнул наземь.

«Касатик-то где? Сильно ли обожгло? — И сам себя утешил: — «Парень вылечится — жилистый!»

Бойцы сорвали с Касаткина одежду, сбили пламя. Они же отнесли его в госпитальную палатку.

Под утро Ухова разбудил звонок телефона: сообщили

о том, что ефрейтор Николай Васильевич Касаткин скончался, не приходя в сознание. Сперва Фома Карпович не разобрался: какой Николай Васильевич? Протер сонные глаза и вдруг осенило: Касатик!

— Ясно! — И положил трубку телефона. Лег на нары. В свете коптилки он увидел в углу сиротливо горбившийся вещевой мешок Касаткина, его шинель и котелок, начищенный до сияния. Пахло подсыхавшей травой: Коляка нанесли на нары — спать помягче. Ухов поднялся наверх. В душистой траве наступил на игрушечного коня с распоротым брюхом. Воздух полнился таинственными шелестами и неясными звуками ночи. В душе Фома Карпович осуждал свою нерешительность: мог, вероятно, отцепить вагон до того, как разбушевался огонь...

Очутился Ухов в военной комендатуре, обратился к майору, дремавшему у селекторного телефона:

— Отлучусь в госпиталь, проститься с земляком.

— Геройский твой земляк, Ухов! Геройский! Сгорела бы Ляумэ к чертям... Могли и склады. Начали б рваться снаряды — поминай как звали! Угробили бы вся и все! — Майор прижмурил колючие глаза, стукнул кулаком по столу так, что подскочила сплюснутая гильза снаряда, заменявшая лампу. — Сгорел ефрейтор, станция — живет! Понял, Ухов? Живе-ет! Почему первыми гибнут лучшие? А, Ухов, почему?..

Вверху загрохотало: обстрел! Фома Карпович думал одну думку: увидеть Касаткина! Эта мысль вела его навстречу грохоту. Он выбежал на пути. Глазами отыскал белевшие под соснами палатки госпиталя. И совсем неожиданно ощутил жар в голове: горячая боль ослепила. Завертелись огненные круги. Он увидел себя в пламени и, странное дело, не боялся огня.

Ремонтники наткнулись на лежавшего на краю воронки Ухова не тотчас.

— Вот тебе и везучий!

— Не дошел мужик до победы. — Кто-то вздохнул и прокашлялся.

— Как и земляк его. — Майор снял с головы фуражку.

На рельсах одиноко догорал вагон, шипя и стреляя искрами, освещая большой круг искаленного пути. За стеной соснового бора алело далекое небо.



Что нам тысячи километров!  
Имя вслух мое назови —  
И домчится, как песня, с ветром  
До окопов голос любви.

Я сквозь грохот тебя услышу,  
Сновиденье за явь приму.  
Хлынь дождем на шумную крышу,  
Ночью ставни открой в доме.

Пуля свалит в степи багровой —  
Хоть на миг сдержи суховей,  
Помяни меня добрым словом,  
Стынуть буду — теплом повеи.

Появись, отведи туманы,  
Опустись ко мне на траву,  
Подыши на свежие раны —  
Я почувствую, оживу.

1943

## ФРОНТОВИКИ ОТВЕЧАЮТ

М. Тихомировой, г. Куйбышев, Толевый завод

Дорогая Маруся!

Искреннее красноармейское спасибо за Вашу посылочку. Для меня, как воина Красной Армии, Ваша посылка и письмо особенно дороги. Хотя мы и не знакомы, Маруся, но мы знаем друг друга, так как живем в Советском Союзе, в стране, где каждый человек друг другу брат.

Еще раз спасибо, Маруся, и за подарок и особенно за стихотворение Сафронова. Будучи сам человеком, до глубины души любящим искусство и отдавшим сцене без малого 12 лет, я особенно был тронут Вашей мыслью послать мне прекрасные стихи Сафронова о дружбе.

Будьте уверены, Маруся, что до последней капли крови, до последнего вздоха, всю свою жизнь, все свои силы мы отдадим на защиту нашего общего счастья, нашей Родины, нашей свободы.

Благодарю Вас, Маруся, за пожелание встретить 26-ю годовщину Октября в кругу своей семьи. Думаю, что так и будет.

Буду очень рад, если наши письма явятся началом дружеской переписки. После войны постараюсь лично поблагодарить Вас. Крепко жму Вашу руку.

Уважающий Вас Л. Ковригин

Полевая почта 709, часть 33

Газ. «Волжская коммуна», 1943, 27 января. № 21.

**ПИСЬМО ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА П. ПАВЛОВА  
КОЛХОЗНИКАМ-ЗЕМЛЯКАМ**

Товарищи колхозники и колхозницы! Я хочу рассказать вам о том, как сражался я с немецко-фашистскими бандитами. В июне месяце 1944 года командование нашей части поставило перед нами, 12 гвардейцами, боевую задачу — форсировать реку Свирь и обеспечить успешную переправу нашей части.

Мы с одиннадцатью моими товарищами, воспитанниками Ленинского комсомола, под ураганным огнем врага первыми форсировали реку Свирь и обеспечили успешную переправу своей части.

Президиум Верховного Совета Союза ССР присвоил мне звание Героя Советского Союза. Эту высокую награду я и впредь оправдаю с честью, все свои силы, а если потребуется, и жизнь, отдам на защиту нашей священной Родины.

Товарищи колхозники и колхозницы, я призываю вас по-фронтовому трудиться на колхозных полях. Своевременно и без малейших потерь убрать урожай. Больше хлеба и других продуктов сдайте государству.

Ваш земляк, колхозник колхоза им. Войкова Герой Советского Союза Павлов Петр Павлович.

Газ. «Знамя большевизма», 1944, 24 сентября, № 29.

## СТЕЛЛА

Порою память коротка,  
Но я запомнил это место:  
Дома, каштаны городка  
Невдалеке от Бухареста.

Чужой ландшафт, чужая речь  
И небо южное чужое...  
То было утром, на заре,  
К исходу длительного боя.

Вела нас в грохоте война  
От стен героя — Сталинграда.  
И вдруг... вот эта тишина...  
Каштан и домик за оградой.

И черно-черные глаза,  
Девичий взгляд, еще несмелый.  
Не помню, что я ей сказал,  
Но ясно помню имя: Стелла.

Прижав ладонь к груди своей,  
Я произнес:  
— Зови Сергеем.  
Она спросила:  
— Сергеей? —  
И стала чуточку смелее.

Коса — короной, венчик лент  
В сиянье радужного света.  
— Сергеей... Ту... лакатинент?  
Товарищ?.. Армия? Советы?

Я закивал ей головой:  
— Да-да, я... я солдат советский!

— Корош... Спо-сибо... доро-кой, —  
И улыбнулась мне по-детски.

Истопав тысячи дорог  
(Пехоте-матушке досталось),  
Я под собой не чуял ног —  
Валила с ног меня усталость.

Я зашагал за Стеллой в дом  
Походкой медленной и шаткой,  
На кресло, крытое ковром,  
Устало бросил плащ-палатку.

От пота ворот стал тугим  
И гимнастерка, как жестянка.  
Натужно скинул сапоги,  
Стесняясь выставить портянки.

Добро, что девушка как раз  
Ушла в тот миг куда-то в сени.  
Вошла, неся с водою таз,  
И опустилась на колени.

Я испугался.  
— Нет! Я сам!  
Нет, нет, я сам, товарищ Стелла!  
Поставив таз с водой к ногам,  
Она в глаза мне посмотрела.

И вспомнил я родную мать,  
Волну на Волге голубую,  
И захотелось мне пожать  
Румынке руку золотую.

Мы гнали общего врага,  
Идя к победному удару.  
Была мне очень дорога  
Вода румынской домнишары.

И я спокойно задышал,  
Добро, ушла куда-то Стелла.  
Спала солдатская душа,  
Спало натруженное тело.

Я стал пружинисто-стальной —  
Так, отдохнув, окрепли ноги.  
Вбежал из штаба вестовой:  
— Быстрее! Уходим по тревоге!

Я торопился, не поел,  
Оставил в доме хлеба пайку,  
Сказать спасибо не успел  
Моей участливой хозяйке.

Порою память коротка,  
Но я запомнил это имя.  
И речь, и небо городка  
Теперь не кажутся чужими.

## МЩУ ЗА МУЖА

Сердце мое тяжело ранено — в боях с немецкими захватчиками погиб мой муж. С тех пор прошло почти два года. Но я помню наказ мужа. В одном письме он писал мне: «Каждым пудом хлеба, который вы собираете, вы тоже будете бить по немцу, как снарядом».

И я мстила ненавистным фрицам: работала честно, все задания перевыполняла, шла на любую работу и справлялась с ней хорошо. Пашу ли я, жну ли на лобогрейке, делаю ли снежные завалы в поле — все думаю об одном: надо еще больше трудиться, чтобы разбить проклятого немца.

Правление колхоза назначило меня звеньевой.

Я положу все силы, чтобы мое звено было всегда впереди.

Е. Андреяшкина,  
звеньевая первой бригады

Газ. «Волжская коммуна», 1944, 8 марта, № 48.

## СОЛНЦЕ НА ВАТМАНЕ

На художественной выставке в Портовом поселке внимание посетителей задерживала одна картина. Возле нее постоянно толпилась публика.

Широкими, уверенными мазками живописец изобразил охотников на привале. Они сидели полукругом и заразительно хохотали, слушая своего приятеля, который рассказывал, очевидно, какую-то забавную историю из охотничьей жизни. Один из них — тот, что находился в центре картины, — косил на рассказчика лукавый, с хитринкой глаз: «Ну, и горазд же, — мол, — ты, братец, на разные байки! Только меня, стреляного воробья, на мякине не проведешь...»

— Вон тот, что с краю нарисован, точь-в-точь Александр Разливанов, фотограф наш, — пояснил, указывая на картину, бородач в рабочей спецовке. — Похож как две капли воды. А это — Вася Неутолимов, старший мастер нашего завода. Заядлый охотник. Верно подмечено. Художник-то, видать, шутник. С юмором преподнес наших охотников.

— У этого веселого парня, художника, рук нет. Обоих. На фронте лишился.

Неожиданное сообщение экскурсовода озадачило посетителей. В зале сразу стало тихо.

Бородач, который только что узнавал в картине своих знакомых, недоуменно проговорил:

— Постойте... Без рук... А как же — картина?

Экскурсовод объяснил с предельной краткостью:

— Одержимость. — Потом, подумав чуть, добавил. — И призвание.

Перед огромным загрунтованным полотном стоит художавый человек в майке. Перед ним — краски, кисти, карандаши. Художник суетлив, беспокоен, все время в движе-

нии. Отсутствие рук и худоба тела делают его фигуру по-мальчишески щуплой, угловатой, но глаза, большие и глубокие, смотрят серьезно. Они не разгораются весельем даже тогда, когда все лицо улыбается. Волевой взгляд. Темные густые брови над высоким лбом слегка вздрагивают. Он глубоко затягивается папиросой, задумчиво смотрит сквозь белесый дымок на полотно.

Художник стоит посреди маленькой комнаты, а видится ему совсем не то, что заключено в этих четырех стенах. Память воскрешает картины юности, суровые, насупленные лица друзей-однополчан, пропахшее гарью поле битвы, мрачные фигурки убегающих фашистских солдат...

И все это нужно нанести на полотно. Картина должна называться «Стойкость». Или нет — «Победа». А может быть, как-нибудь по другому. Пока еще не решил. Не в названии суть. Ясно одно — картина должна поведать о войне, о героизме русского воина. Таков замысел художника.

А может, картину следует назвать просто — «10 апреля 1945 года»? Пусть эта дата ничего не говорит людям, но художнику она особенно памятна.

...Офицеру Виктору Кувшинову тогда было двадцать лет, но он уже командовал ротой. Солдаты залегли на западном берегу Одера. Получен приказ командования: «Держать фашистов до последнего. Ждать подкрепления». А враг час от часу усиливал натиск. Всплеснув руками, поник у ног Виктора пулеметчик. Захлебнулся, заглох пулемет.

Гитлеровцы двинулись в атаку. Стреляя и галдя, они поднялись во весь рост и густой черной тучей приближались к окопам.

Виктор припал к пулемету.

— Шалишь, не выйдет номер!

Он посылал очередь за очередью, поливая свинцом неприятельские цепи.

Пулемет замолк лишь тогда, когда кончились патроны. Виктор поднялся, вскинул над головой гранату и первым выскочил из укрытия:

— За мной, в атаку!

Взрыв, колыхнув под ногами землю, ослепил, оглушил Виктора. Упругая волна швырнула его далеко в сторону. Потерял сознание. А когда очнулся, почувствовал — нет

правой руки. Ее оторвало выше локтя. Правый глаз совсем не видел. Страшная боль терзала тело.

«Калека. На всю жизнь калека, — кольнула мысль. — Лучше — смерть...»

Он пошевелил левой рукой, пытаясь дотянуться до нагана. Бесплезно. Понял: и вторая рука перебита.

Хирург-капитан, в госпиталь к которому доставили раненого офицера, сокрушенно определил:

— Тридцать шесть повреждений на теле и значительная потеря крови... Не жилец...

В госпитальной палате шла борьба за жизнь Виктора Кувшинова. Опытный хирург, санитары, медсестры круглые сутки не отходили от постели больного: вливали кровь, поддерживали дыхание, следили за пульсом. А с передовой на далекую Волгу, где жила мать Виктора, пришло извещение, что сын ее героически погиб в боях за Родину.

Прошел месяц. И раненый, к удивлению и радости всей палаты, впервые подал голос. Он смотрел на пустые рукава своей больничной рубахи и морщился — не столько от боли, сколько от горестных раздумий о своей несчастной судьбе.

«Бесплезный человек...»

В минуты, когда становилось особенно тягостно, он просил медсестру почитать вслух книгу. Та, словно догадываясь, что ему надо, раскрыла старенький потрепанный томик Николая Островского «Как закалялась сталь».

Медсестра, сердечная девушка, видела безысходную тоску в его глазах и, пытаясь рассеять отчаянье, твердила:

— Силы для жизни в тебе хоть отбавляй, только верь в себя. Ну, скажи, кем ты хотел или мечтал быть до войны?

Виктор ответил с горькой ухмылкой:

— Художником... Но судьба, видишь? Посмеялась над мной... — показал он обвисшие рукава.

Ему представилась родная школа в Нижнем Санчелееве, из десятого класса которой он ушел на фронт. Вспомнился учитель рисования Анатолий Васильевич. Однажды он попросил Виктора расписаться в какой-то справке, а тот вместо росписи нарисовал на бумаге фигурку веселого кота. Подумал было, обидится учитель, но тот лишь расмеялся:

— Сразу видно художника! Ловко ты ката... Одним, что называется, штрихом!

С той поры стали дразнить в классе Виктора «кошачьим художником». Но это ни капельки не обижало его: приятно было числиться в художниках, пусть даже и «кошачьих»...

Он рисовал всюду, где можно и где нельзя: на доске и парте, на стенке и в тетради по арифметике... Ни один номер школьной стенгазеты не выходил без его рисунков и карикатур. И чем дальше, тем сильнее одолевало его желание пойти после школы в художественное училище, а затем — в академию. Он и на фронте не расставался со своей мечтой: делал карандашом зарисовки солдатского житья-бытья, набрасывал портреты своих товарищей по роте.

— Эх, если бы масляными красками! Не то было бы! Да где их достанешь в окопах!.. — не раз говорил он в дни передышки между боями. — Подождите, кончится война...

И вот пришел мир. Солдаты разъехались по домам. Каждый к своему делу, каждый к своей мечте. А мечта Виктора Кувшинова отступила далеко-далеко...

— Ну, подумай, разве можно художнику без рук? — посмотрел он в упор на медсестру, стараясь прочесть в глазах ее истинные мысли. И, видя, что та молчит, опускает взор, отвечал сам: — Нет, не может. Не было такого случая!

Виктор знал прекрасно, что ждет его впереди, и все же не мог, не желал разлучаться с заветной мечтой. Мало-помалу, сжимая карандаш зубами, он начал учиться заново писать буквы, приблизив вплотную тетрадный лист к лицу. Буквы выходили корявыми, неровными, громоздились одна на другую, и ничего нельзя было разобрать. Карандаш не держался в зубах выскальзывал. Медсестре приходилось то и дело поднимать его с пола и подавать Виктору. А он снова и снова заставлял себя делать то, что казалось невозможным, недостижимым.

Поздно ночью, изнуренный непосильным трудом, он засыпал, уткнувшись лицом в тетрадь, где на каждой странице были видны неуклюжие следы его дневных мук и стараний. А утром медсестра снова заставляла Виктора за прежним занятием, с карандашом в зубах...

Так прошло лето. За окном госпитальной палаты клен оделся по-осеннему. В воздухе кружились листья и тихо

ложились на пожухлую траву, укрывая землю нарядным ковром. Сентябрь.

Виктор запомнит один из этих дней на всю жизнь. Запомнит, как удивленно смотрела тогда на него молоденькая медсестра — он попросил ее отнести на почту письмо, адресованное в поволжское селение. Запомнит, как читала она, чуть не плача от радости, четкие, аккуратные строчки на конверте, как потом письмо пошло гулять по палате, переходя из рук в руки, вызывая изумленные возгласы раненых: «Неужто сам Кувшинов писал?! Вот ведь...» Уж кто-кто, а они-то знали, каких огромных усилий стоило Виктору это его первое послание домой. Письмо было шутивным и лиричным. Такие письма он писал лишь матери с фронта. И вот теперь мать узнала, что сын ее жив.

В родные края Виктор возвратился с верой в свои силы, в свою мечту. В поселке гидростроителей, где Виктор осел с матерью на постоянное местожительство, сразу же появилось много друзей. По вечерам шумливой гурьбой вваливались они к Виктору. Дружеское застолье нередко затягивалось далеко за полночь. Виктор показывал друзьям толстую тетрадь с записями рассказов о войне. Они зачитывали их вслух, а потом, как заправские критики, серьезно, без поблажек оценивали литературные сочинения своего приятеля. Рассказы следовали один за другим, и то, что написаны они были красивым, ровным почерком, которому мог позавидовать любой канцелярист, никого теперь не удивляло. Виктор научился не только владеть ручкой и карандашом, но и кистью, начал понемногу рисовать. Друзья подарили ему набор масляных красок, помогли загрунтовать и установить в подрамник холст.

Первой картиной — копией, которую он решил сделать, была работа Брюллова «Последний день Помпеи». Почему именно она? Виктор объяснял друзьям так:

— Посмотрите, сколько людей, и все в движении. Суетятся, бегут, объаты страхом. Нарисовать так непросто. Вот эта сложность и привлекла меня. Начинать надо с самого трудного. Только так можно проверить свои силы.

Уткнувшись в холст, установленный в центре комнаты, он целыми днями колдовал над картиной. Резало глаза от пестроты красок, кружилась голова. Виктор плотнее сжимал губы, державшие кисть припадал к холсту с

величайшей осторожностью и неторопливо наносил на полотно мазок за мазком.

Первый вариант картины не удался. Не было сходства с оригиналом. Принялся рисовать заново. Три месяца не знал покоя и сна. Работал, работал, работал. Пять раз переделывал картину, пока не нарисовал ее так, как хотелось.

И вот совет друзей, придирчиво осмотрев его работу, единодушно заявил:

— Нарисовано недурно...

Друзья повесили картину в комнате художника на самом видном месте.

А Виктор снова взялся за кисть. Окрыленный успехом, он с еще большей настойчивостью и тщательностью принялся копировать картины известных русских живописцев: «Аленушка», «Утро в лесу»...

— Ты бы, Витя, попытался что-нибудь свое, оригинальное изобразить, — советовали друзья. — Вот нас, например...

Приятеля Виктора — и бывший летчик Михаил Хорошилов, и гидростроитель Валентин Жиганов, и мастер завода Василий Неутолимов, и братья Александр и Петр Пекарские, и фотограф Саша Разливанов — все страстные охотники. Когда Виктор сообщил им, что хочет нарисовать своих друзей с ружьями и дичью на привале, они одобрили замысел и стали приходить по воскресеньям позировать.

Так родилась картина «Охотники на отдыхе», которую однажды, совершенно случайно, увидел художник-гидростровец Андрей Кузьмич Вингорский и забрал на выставку работ начинающих живописцев. Там, на выставке, картина получила высокую оценку публики. И новые замыслы зародились в голове этого мужественного и неутомимого человека.

С помощью устроителей выставки в Портовом поселке я разузнал адрес Виктора Кувшинова. Его семья — мать, жена, ясноглазая Люба, техник-геодезист стройки, и грехлетний сын Валерик — размещалась тогда в одном из коттеджей на берегу Волги. Маленький уютный домик стоял среди сосен.

— Красотища-то вокруг! Поневоле художником станешь, — кивнул Виктор в сторону Волги, где ослепительно

играла на солнце морская синь Куйбышевского водохранилища. — Будущую картину так и думаю назвать — «Новое море».

И он рассказал, как во время недавней прогулки по берегу сынишка Валерик подбежал к воде, опустил в нее ногу и ликующе крикнул:

— Папа, гляди, я на море наступил!

Всех рассмешил. Вот тогда и захотелось Кувшинову написать картину о молодом волжском море. И пусть на ней все будет как в жизни: и ликующий сын в воде, и они с женой на берегу, и пароход вдали...

— Твердо решил.

В словах художника, произнесенных громко и уверенно, звучала непоколебимость.

— И учиться буду. Закончу десятый класс и поступлю в художественное училище. Об этом мечтаю с детства. Пусть заочно, но поступлю. Туда необходимо акварельные работы представить, а я прежде с акварелью не очень-то ладил. Придется наверстывать упущенное. Вот начал, полюбуйтесь.

И он подвел меня к широкому листу ватмана с чудесным весенним пейзажем, полным солнца и воздуха. Рассматривая эту красочную акварель Виктора Кувшинова, я совершенно забыл, что передо мной художник, лишенный обеих рук, человек, который изо дня в день совершает подвиг и творит чудо. Творит во имя своей мечты, во имя любви к жизни.

## **ТАНЦПЛОЩАДКА**

Площадку для вальсов Штрауса  
Мы строили.  
Шла война.  
Уже на берлинских штрассе  
Заканчивалась она.

Под лай полевых орудий,  
Новой весне вопреки,  
Еще умирали люди  
И оставались враги.

Мы строили танцплощадку  
Для худеньких наших подруг.  
Оранжевый и дощатый,  
Под нами рождался круг.

Лежал он большой ладошкой,  
Доверчивый и нагой.  
И было нам жаль немножко  
Ступать на него ногой.

Мы отказались от платы.  
Мы понимали...  
И вот  
Дюймовочка в белом платье  
По кругу легко плывет.

На доброй сосновой ладони  
Светилась она свечой.  
В немного печальном тоне  
Мелодию вел смычок.

Как будто ни капли крови  
Пролить не пришлось отцу...

**Танцуй,  
Танцуй на здоровье!  
На счастье свое — танцуй!**

**Пусть будут лишь внешние грозы  
Среди твоих первых гроз...  
А вдовы роняли слезы  
И не скрывали слез.**

**Еще умирали парни  
На скользких обмылках мин...  
Сегодня в старинном парке  
Мы ощутили мир.**

**Мы ощутили мудрость  
Наших усталых рук...  
Над миром всходило утро,  
Как девочка та на круг.**

## ТАЙНИК У ЗАСТАВЫ

...Прискакал из штаба бригады старшина Карасев. Пригнулся, переступая порог: не пройти — притолока низка, а перед командиром в рост встал, касаясь макушкой мантицы. Усталое лицо старшины, осунувшееся в последние дни, молодо светилось. Майор же смотрел строго, держал марку.

— Товарищ майор, секретный пакет!

Дженчураев сорвал печати, торопливо вскрыл конверт. По мере того как читал, преображался. Бронзовое лицо светлело, черноту под глазами словно живой водой смыло. Заулыбался строгий человек. Но обратился не к старшине, а к Антонову, стараясь казаться спокойным.

— Приказано принять под охрану, — и сдался майор, голос его зазвенел, — государственную границу Союза Советских Социалистических Республик! — Передохнул. — Танкисты вышли к границе, к моей старой заставе... Старшина!

— Я слушаю, — готовно ответил Карасев, щелкнул каблуками, вытянулся и головой — в мантицу, лакированный козырек зеленой фуражки закрыл глаза старшины, один нос виден.

Майор повернулся к Антонову:

— Всю войну тайну хранил. Заветную, капитан. Казалось, где встал я, там и граница. Дорога — только вперед! Словно чуял: дойду, не погибну. Не могу погибнуть. И вот, капитан, сбылось. Дошел. Тайна помогла. Из тех, кто знал ее, я да старшина Карасев в живых-то. А ведь вся наша комендатура верила, что вернемся. Страшно было, капитан, жутко. Афанасию Белесенко и невдомек, что захоронено у него во дворе. Слушай, батыр. — Майор повернулся к старшине, который уже справился с фуражкой и готовно ждал приказаний. — Настал наш заветный час. Пойдем-ка. — И майор, натянув зеленую фуражку, шагнул к порогу.

На крыльце остановились. Дженчураев, словно сердце у него защемило, положил на грудь ладонь, широко растопырив пальцы. Глаза прищурил, словно пытался сквозь землю увидеть, как оно там, в земле, захоронение памятного всем сорок первого года...

Сбежал Дженчураев с крыльца, прошелся вдоль забора. Потопал ногами — крепка ли под ним мать-земля. И улыбнулся. Твердо под ногой — ни провала, ни бугорка, ровно, травка ершистым ковром, промытая августовскими дождями, блестит на солнышке.

Пограничники выстроились прямоугольником: от ворот вдоль изгороди — одна шеренга, вдоль дома, обтекая крыльцо до задов, — вторая, а поперек двора — две другие.

Карасев, прицелившись глазом, отмерил шесть шагов вдоль и два в стороны. Поплевал на ладони и взялся за черенок большой саперной лопаты.

Вырезал прямоугольник на земле и махнул рукой солдатам. Четверо пограничников, дотоле стоявшие, опираясь на лопаты, словно витязи на палицы, шагнули к старшине.

— Срезайте дерн. Копать осторожно. Не глубоко тут. На три-четыре штыка.

Пограничники в строю залюбопытствовали, шею вытягивают, топчутся. Что, мол, за клад командиры обнаружили.

Слой за слоем снимают, поначалу черную, словно с зольной землей, потом подцвеченную будто охрой, а вот и румяна глины, влажные, словно крынки из погреба.

Споро работают пограничники.

— Стоп, — командует старшина. — Осторожнее.

Афанасий, Матрена, Варвара и молодые Белесенковы тут же, на крыльце, диву даются, гадают: «Чтой-то на ихнем дворе такое. А клад, видать, ценный закопали. Майор-то глаз не спускает с ямины и все за сердце рукой держится».

— Осторожней! — еще раз говорит старшина и спускается в ямину. — Подкапывай с краев, — и сам лопатой показывает, как подкопывать. Штык лопаты его вычерчивает фигуру, так похожую на человеческую, с руками, раскинутыми на стороны. Вот и округлость головы...

— Подкапывай, подкопывай, — задыхаясь, говорит Карасев. Не от усталости одышка у старшины, от нервов, видать.

Строй пограничников распался, каждому хочется увидеть, что там зарыто.

— Гляди, голова!

— Руки!

— Ручищи, брат!

— Без гроба схоронен. Отчего бы?

— В сорок первом не до гробов было. Где их напасть...

— Точно. Обернули в плащ-палатку...

— Я видел, как в братскую хоронят...

— Гляди-ка, а большущий какой!

— На что старшина велик, а этот!

— Во какие люди в сорок первом воевали!

Слышит старшина солдатские голоса. Слышит, а не оборвет, хотя и непорядок это — в строю разговорчики. Слышит солдат и майор, а тоже помалкивает. Не до замечаний старому пограничнику. Да и строя-то нет, сломался. Люди подступили к самому краю ямины, на свежем выкинутом грунте стоят.

И старшина вдруг, впервые видит, как похож захороненный на витязя-богатыря. Размахнул руки, что крылья, ими да широченной грудью прикрыл землю русскую.

Старшина смахнул градинки пота со лба, тряхнул головой, словно сон отогнать, в себя прийти.

— Осторожно. По двое с концов... Вот так. Подхватили! — командует старшина. Пограничники, крякнув и наливаясь кровью с лица, приподняли...

— Сюда, сюда! — пятился старшина, а перед ним и весь строй отступал.

— По местам! — тихо приказал Антонов. Быстро, быстро, почти неслышно, выстроился живой прямоугольник.

Старшина глянул на майора. Тот кивнул, без слов понимая Карасева. Старшина вынул штык-кинжал от самозарядной винтовки, той, что еще до войны на границе значилась его личным боевым оружием, перерезал тросовые вязки и с головы начал распеленывать «великана». Двое солдат помогали.

— Ах! — вырывалось чуть ли не у каждого из присутствующих.

То, что казалось головой, завернутой в брезент, — просто круглый бугристый, с полметра в диаметре щит, замаранный глиной. И руки вовсе не руки — обыкновенная доска, тоже, как и щит, в глине. Что это, и не поймешь.

Только никак не человек. Бревно скорее, отесанное в четырехгранник.

— Жив, товарищ майор. Жив он, милый! — весело закричал старшина, колупнув ножом напекшийся слой глины. — И покраска сохранилась. Я его ведь пушечным салом смазал...

Дженчураев опустил голову, чтобы не показать подчиненным налитые слезами глаза, шагнул вперед, опустился на колено и рукой снял легко отпавший слой глины. Из-под желто-грязного словно кровинка показалась. Ладонью майор закрыл ее, потер, а когда отнял руку, все увидели пятиконечную алую звезду. Залучилась она, будто внутри ее лампочка зажглась.

— Ветоши для обтирки! — приказал старшина.

Пограничники осторожно, словно они художники-реставраторы, снимали напластование грунта трехгодичной давности.

За звездой открылись золотые колосья, в обхвате их на выпуклости земного шара — скрещение серпа и молота...

— Герб?! — хором выдохнули пограничники.

Очистили и поперечную доску чуть пониже среза Государственного герба, на ней крупно по эмалевому полю четыре дорогие сердцу каждого буквы: СССР...

...На другой день пограничный столб устанавливали на то место, где стоял он в сорок первом. На виду у развалин бывшей заставы, что поросли густым чернобылом, выстроился батальон Дженчураева. Утрамбована земля у подножья пограничного стража, обложена дерном. Воздух разорвали три залпа из винтовок и автоматов — салют сбывшейся мечте каждого советского человека.

**ИВАН АКУЛИНИЧЕВ,**  
член Союза журналистов СССР

## **ЕЩЕ НЕ КОНЧЕНА ВОЙНА**

Крушина над лесным ручьем  
Четыре износила платья  
С тех пор, когда село мое  
Плясало на последней свадьбе.

Еще не кончена война,  
Еще не светятся улыбки,  
Еще качает тишина  
На чердаках пустые зыбки.

Еще, как стая журавлей,  
Летят в места свои родные,  
В края берез и тополей  
Без марок письма фронтовые.

Еще не кончена война.  
Но, с бирюзовинкой во взгляде,  
В лесу апрельском шьет весна  
Крушине свадебное платье.

## ЮНОСТЬ КОМАНДИРА

*Подполковнику В. М.*

Бриджи синие и кант  
Яркий шелково струится.  
Здравствуй, юный лейтенант, —  
В алых кубиках петлицы.  
Здравствуй, зрелая пора:  
Шаг чеканней, мышцы туже.

...Пулемет строчит с бугра,  
Запалясь в январской стуже.  
Подступи к нему в степи!..  
Эх, гранатой по нему бы!  
Как собака на цепи,  
Он матеро скалит зубы.

Не мальчишечья игра —  
Веет смерть  
Железной стужей.  
До проклятого бугра  
Путь не мальчика,  
Но мужа...

Забывается уже,  
Остается за спиною  
Пыль в чувашском Канаше,  
Задубевшая от зноя.

Жажда, жажда —  
Свет не мил,  
Переулки сухи, кривы.

Эту жажду утолил  
Только он,  
Листок призыва.

Правда, был и до листка  
День,  
Когда из дымных далей  
Бронепоезд к ним пригнали.

Вышел он из-за леска.  
И тяжел, и безголос,  
Запекся в горячих ранах,  
Но с полей  
Широких бранных  
Отблеск пламени принес.

И глотком воды живой  
Освежало пламя это.  
От рассвета до рассвета  
Гул стоял над головой.

Был по возрасту отцом  
Бронепоезд Валентину.  
С загоревшимся лицом,  
С бронью слившись воедино,  
Парень вкалывал.  
И в срок  
Из депо  
В стальной одежде  
Бронепоезд этот смог  
В бой уйти,  
Могуч, как прежде.

Задрожав,  
Упала тьма  
На его крутые плечи.  
Революция сама  
Снова шла  
Боям навстречу.

И с перрона,  
Как с крыльца,  
Валентин махал рукою,  
В сердце чувствуя

Такое,  
Будто выходил отца...

А сейчас  
Вот этот путь  
От высоты до высоты.  
Недосуг назад взглянуть:  
Все походы, сон короткий.

Мгла от пули стерегла,  
Берегла земля родная.  
Так до самого Орла  
Шли, фашиста подминая.

Знаменитая дуга  
Налилась упругой силой  
И стальную грудь врага,  
Словно лук,  
Стрелой пронзила.

Было некогда назад  
Поглядеть,  
А нынче глянул —  
Сколько их,  
Друзей-солдат,  
По оврагам, по бурьянам.

И подернулись края  
Строгой дымкою печали.  
Сколько нынче воронья  
В мертвых селах над печами!..

После битвы так тихи  
Дали,  
В пыль уткнулся ветер.  
Вдруг припомнились стихи  
Довоенные в газете.

О папанинцах,  
Чей шаг  
Был победен в гулком зале.

И далекие в ушах  
Марши, марши зазвучали.

Он тогда писал,  
Дрожа  
Всем восторженным сердчишком.  
Выходил из виража  
Чкалов и махал мальчишкам.

И на белом полотне  
Шли стахановцы в забои.

Это было как во сне.  
А проснулся —  
Поле боя.

Обгорелое жнивье.  
Пустота утрат ночами.  
И кружится воронье  
В мертвых селах  
Над печами...

Был и дальше путь тяжел  
В тех краях,  
От гари голых.  
И его в свой час нашел,  
Сволочной свалил осколок.

Три раненья —  
Вот итог.  
Три — не меньше и не больше.  
«Ордена считать, браток,  
Будем после».

Ветер в Польше  
Рвет листву с больших дерев.  
И снаряды слева, справа...  
И маячат, отгорев,  
Стены скорбные Варшавы.

Быстр огонь,  
Как мах косы. —

И сознание померкло.  
Он очнулся:  
Тьма,  
Часы  
На запястье  
Дрожью мелкой...

Спичкой чиркнули —  
И мгла  
Отступила;  
Низко, тяжело  
Свод навис,  
И подошла  
Со свечой в руке монашка:

Бледный лик и скорбный вид,  
Взгляд под платом  
Невеселый.  
Оказалось, что лежит  
Он в подвале их костела.

И весенним днем,  
Когда  
Мы Германию осилим,  
Он придет сюда.  
Звезда  
Зазвенит над острым шпилем.

И костел,  
В движенье весь,  
Будет в небо рваться стройно,  
Словно голубь,  
Словно весть,  
Что навеки смолкли войны.

И сады,  
Листвой паря,  
Шелестя, благоухая,  
Подтвердят,  
Что да, не зря  
Пролилась здесь кровь людская.

Это будет,  
А пока,  
Чтоб дожить до дней тех лучших,  
Не отлеживай бока,  
Поднимайся, подпоручик!

Поднимайся!  
На руках  
Кожа будто бы из воска.  
Ничего!  
Подумай, как  
Догонять ты будешь войско...

Войска Польского ряды  
В трудных битвах поредели.  
Очень скоро будешь ты  
При Грюнвальде,  
В жарком деле.

Здесь полтыщи лет назад  
Польша с Русью —  
Рядом плечи —  
Били немцев  
В славной сече.

«И сейчас осилим, брат!  
Ты, Тадеуш, не гляди  
Со слезою в очи брата.  
Я и с пулею в груди  
Доползу до медсанбата.  
Что раненье!  
Стало пять.  
Пять — не меньше и не больше.  
Ордена свои считать  
Скоро будем  
В мирной Польше!»

...Оживает в ранах боль  
И седую память будит.  
Болью,  
Памятью,  
Судьбой

Стала Польша.  
Вечно будет!

И Освенцима стучит  
В сердце  
Пепел человеческий,  
И надгробных мрачных плит  
Тяжесть  
Пригибает плечи.

Но сады,  
Листвой паря,  
Шелестя, благоухая,  
Подтверждают,  
Что не зря  
Проливалась кровь людская.

## ФРОНТОВОЙ БЛОКНОТ СЕРЖАНТА КАРЯГИНА

Человек и лось смотрят друг на друга. Человек с восхищением и лаской, зверь — с настороженным любопытством. Сделай человек шаг, шевельни пальцами — и только белая пена, сбита рогами с орешника, да глубокие следы копыт останутся на память о красивом и сильном животном. Но человек неподвижен. Он ничем не грозит зверю, и лось, уверившись в его миролюбии, медленно, без опаски отворачивается от него и неторопливо, с достоинством, уходит в чащу.

Человек доволен. Непуганый лось — это хорошо. Это значит — в лесу порядок. А к порядку человек относится ревностно, хотя сейчас за порядок в ответе другие люди. Случается, иной односельчанин, встретив его на лесной тропе, урезонивает:

— Пожалели бы себя, Петр Корнилович... Надо же в такую глухомань за десять верст от жилья пешком забираться... Неужто дома не сидится, на заслуженном-то отдыхе?

А ему действительно не сидится. Точно сила какая-то, от него не зависящая, тянет, толкает, тащит к Манычскому колку, к Днепровскому бору. К Дунайской роще.

Живет Карягин в Новодевичье. Но напрасно спрашивать у новодевиченцев, как пройти вот в эти только что названные участки лесного массива, раскинувшегося на целых десяти тысячах гектаров вдоль Куйбышевского моря. Удивленно пожмут плечами, посмотрят на тебя как на свалившегося с неба. Не знают они о тех колках, борах и рощах. Местные всякие названия им преотлично известны, которые еще от дедов и прадедов идут. А вот чтобы эти Дунайские, Днестровские?.. Их, наверное, на тех далеких отсюда местах и надо искать: на Дунае, Днестре...

— Отродясь у нас таких не было... Может, напутано что?

Нет. Не напутано...

Чем памятна война солдатам? Гибелью городов, сожженными деревнями, друзьями, павшими на поле боя, ноющими по ночам ранами да снами, после которых просыпаешься в холодном поту. А Петру Карягину еще и порубленными деревьями, спиленным, срубленным, взорванным лесом.

...Был мальчишкой, родные говорили:

— И чего это тебя, Петро, все в лес тянет? Ребята в поле сусликов ловят, с удочками на берегу сидят, а ты все к сосенкам жмешься. Вон, весь муравьиным спиртом пропах... По лесной части собираешься, что ли?

А Петру и в самом деле было интереснее в лесу, чем в поле или на речке. Только сходил снег и просыхали лесные тропки — он целыми днями пропадал в зеленой чаще. Не было на Новом Тукшуме даже среди взрослых человека, который так же хорошо бы знал окружающие село леса, как он. И не грибы, не ягоды манили мальчишку под зеленые своды, а полная глубоких тайн жизнь самого леса, его больших и малых обитателей.

Сколько часов присидел Петька у муравейников, наблюдая, как маленькие старательные труженики переносят на свои строительные объекты «бревна» вдесятеро больше собственного веса!

Сколько передавал прожорливых гусениц, которые тучами наползали откуда-то на молодую листву. Сколько шлепков получал от матери за перепачканную одежду!

Делал Петька «перевязки» березам, с которых кто-то снимал бересту толстыми кольцами.

Всех тайных порубщиков знал он на селе и не здоровался с ними — считал их людьми недостойными.

Угадали родные. Пошел Петр по лесной части. Едва минуло пятнадцать, отправился в Новодевиченский леспромхоз проситься на работу. Парень ладный, крепкий. Взяли. Специальности, само собой, никакой. Приходилось все премудрости сложной лесотехнической практики постигать в работе. И лес валил и вывозил его с делянок к большой дороге. Кору заготовлял. Смолу гнал.

А тянуло все-таки к другому. Душа не желала пилить столетние сосны. Больно было уничтожать такую красоту. Вот беречь ее, лелеять, продлевать ей жизнь — другое дело.

Шли годы. Подрос Петр Карягин, возмужал. Стал лесником. Если и делал теперь какие порубки, так только

санитарные, чтобы не портили вида высохшие мертвые стволы, не застили солнце, не мешали расти и набираться сил молодым.

И не было в Новодевиченском лесхозе порядка строже, чем на участке молодого лесника Карягина. Браконьеры за десять верст обходили его зеленое царство.

Народ в Новом Тукшуме разный. Были и такие, что спить его хотели, подарки подсовывали. Получив отпор, удивлялись:

— Что ты за человек, Карягин! Ни себе ни людям. Ведь не твой он, лес-то. Чего его жалеть?

— Мой! — твердо отвечал Карягин. — И твой тоже. Только ты еще не дошел до такого понимания. Подумай только, что будет, если все с топорами пойдут? Тебе что, в голой пустыне хочется жить? Так вот и валяй, покупай билет — дуй в Среднюю Азию. Там, говорят, всяких каракумов да кызылкумов сколько угодно... Пойми, садовая голова, лес вырубешь — реки пересохнут, земля выветрится.

Старательно и любовно учился Петр Карягин лесному делу. Книжки покупал. А открылись в Самаре курсы лесных техников, попросился, чтобы послали его. Когда вернулся, стал работать техником, а потом помощником лесничего.

От того времени осталась среди бумаг и документов Новодевиченского лесхоза характеристика, подписанная директором:

«Специальность свою любит. Лесное хозяйство содержит в образцовом порядке. Ведет большую разъяснительную работу среди населения, особенно среди школьников. Полностью пресек незаконные порубки на своем участке. Присвоено звание ударника с выдачей книжки ударника. Неоднократно был премирован. Характеристика дана для представления в военкомат».

Вот с этим документом, вложенным в запечатанный конверт, и явился Петр Карягин на призывную комиссию Новодевиченского райвоенкомата в морозный январский день 1942 года.

— Специальность?

— Лесник.

Председатель комиссии задумался.

— Это не военная. А что на войне сможете делать?

Петр слегка растерялся:

— Что прикажут. Стрелять умею. Служил в пехоте на действительной.

Председатель кивнул головой.

— Это хорошо... А топором владеете?

Карягин даже обиделся:

— Ну, товарищ майор, какой же лесник топором не владеет?

Этот ответ и решил его военную судьбу. Четыре месяца учебы в школе младших командиров понтонно-мостового полка. Изучали саперную технику. Собирали паромы. Наводили понтонные, свайные, рамные и опорные мосты. Один мост курсанты перебросили даже через Волгу у Саратова. И по нему переправлялись части Советской Армии, идущие из Сибири на фронт. Так что опыт, полученный молодыми саперами в тылу, был весьма основательный.

Первое боевое крещение младший сержант Карягин получил в том же 1942 году под Сталинградом. Его понтонное отделение переправляло на правый берег людей, оружие, боеприпасы и продовольствие. А назад — на левый — везло раненых. И все это под непрерывными бомбежками, орудийным и пулеметным огнем.

Маленькие и большие понтоны были главными транспортными средствами для снабжения окруженных фашистами советских частей, бившихся на правом берегу. Бойцы правобережники считали понтонеров в те дни самыми дорогими людьми. На них буквально молились. Перед их героизмом преклонялись.

И в самом деле, какое надо было иметь мужество и самообладание, чтобы не прерывать своей дьявольски трудной работы под непрерывными налетами вражеских самолетов. В один только день — 26 октября — на паромную переправу, которую обслуживало отделение Карягина, противник бросил более ста авиационных бомб, выпустил около 140 мин и 120 артиллерийских снарядов. Казалось, в этом огненном кошмаре ничто живое не могло уцелеть. А понтонеры Карягина, несмотря ни на что, продолжали свое дело.

Сказать, что с первой бомбежки до последней сержант был одинаково стойким, железным, не знающим страха героем, будет неправдой.

— Когда первый снаряд мимо просвистел и под кормой разорвался — чуть душа в пятки не ушла. Трудно с непри-

вычки под артиллерийским колпаком себя чувствовать. А потом вместо страха ярость пришла. Как это так, на своей земле да дрожать? И вроде бы какое-то успокоение от этих мыслей в душу пришло. Вроде окаменел, стал непробиваем для страха и других поганых чувств. Бомбежка и снаряды перестали на воображение действовать. Заметил, что и с бойцами моими что-то подобное произошло — словно одержимые, работали на переправе. Порой куска хлеба за день не успевали проглотить. Верили: соберемся с силами, поднатужимся и погоним чертовых гусениц туда, откуда они приползли. И дождались...

Дождались понтонеры Карягина. Дождались измученные сталинградцы.

Утром 19 ноября Юго-Западный и Донской фронты перешли в наступление. На следующий день двинулся на врага и Сталинградский. Через три дня фашистские войска, возглавляемые фельдмаршалом Паулюсом, были окружены: Советская Армия, разгромив их, пошла дальше — на запад, к Ростову.

Степи. Степи... Казалось, понтонерам и делать тут нечего. Но вот Маныч. Здесь немцы решили закрепить.

Саперы получают приказ:

— Будете строить опорный мост на сваях.

Дрогнуло сердце младшего сержанта. Мост... Значит, придется рубить под корень чудесный березовый лес, единственный на многие десятки верст в Сальских степях. Уже успел узнать Петр, что связано с этим лесом, какая у него удивительная, страданная история.

Что такое степь у Маныча? Представьте себе ровный, гладкий на многие сотни квадратных километров стол с редкими блюдцами озер. Только рано те озера высыхают. И остается вместо них соль, ослепительно сверкающая на солнце. И цветет та степь всего какой-нибудь месяц. А потом вянут и сохнут травы. Солнце выпаривает из земли соль, и она, как снег, лежит у тебя под ногами. И ни кустика, ни дерева.

И вот нашелся чужак, который решил в начале нашего века доказать, что и здесь, на этих бесплодных землях, можно растить леса. Был тот чужак известным ботаником профессором Петроградского университета. Несколько лет подряд ездил он в Сальские степи, делал всякие измерения,

почву брал на анализ, семена и саженцы разных растений испытывал, с местными жителями беседовал.

А потом составил проект и стал просить у правительства денег на организацию работ по озеленению степи. Три раза отказывали ему чиновники. А он не останавливался — до царя дошел. Понял, что зря время теряет, когда сам Николай II на углу проекта своей рукой вывел: «Отказать. Ненужные и дорогие опыты поощрять не намерен».

Был тот профессор одинок. Имел сбережения. Книг много напечатал. Жалованье получал.

Так вот, взял он из банка свои деньги и бросил клич ученикам: кто добровольно готов отправиться с ним на Маныч? Немного, но нашлись такие, которые за учителем без оглядки готовы были хоть на край света.

Четверо или пятеро студентов отправились с профессором в Сальские степи. Нанял ученый ботаник рабочих, стал за многие десятки верст возить на солонцовые земли черномзем, выписывал семена опробованных пород берез (удивительное дело, но только это дерево прижилось тут), дышал буквально на каждый росточек, пробившийся из земли. Саженцы погибали, выживали только деревца, развившиеся из семян.

Семь лет работала ботаническая экспедиция на Маныче, пока не истратил профессор последний свой рубль. А вскоре умер. Но память о себе оставил большую и красивую. И хоть забылись фамилия и имя ученого в народе — осталась живая легенда о его подвиге, и белоствольное веселое чудо, заполненное птичьими голосами и невесть откуда появившимся лесным зверьем.

И ожила, повеселела сама степь. За многие километры съезжались сюда колхозники на большие праздники. И ничто так не оберегали люди и ничем так не гордились, как этим Манычским березовым колком.

Нет, не плакал Карягин. Разучился, должно быть. Но как сошлись на переносице брови, когда топор ударил по белому стволу, так и не расходились, пока не была закончена переправа.

Именно в тот день вынул Петр Карягин из вещевого мешка детскую тетрадку в клеточку, предназначенную для писем домой, разрезал ее аккуратно на четыре части и сшил суровыми толстыми нитками блокнот. Именно в тот



день появилась в этом блокноте первая, далеко не всем понятная запись:

«Маныч. 12 тыс. бер».

Все спиленные и срубленные стволы уникальной рощи пересчитал командир отделения и занес в свой личный реестр точную цифру.

Тяжело было в тот день на сердце младшего сержанта Карягина. Смотрел на черную, идущую крутыми воронками воду неприветливого диковатого Маныча и вздыхал. Вспомнилась родная Тукшумка. Январь. Над ней уже лед, поди, метровой толщины да столько же снега. Хоть целую танковую армию переправляй — выдержит. А тут черт те что за река! Середина зимы — и ни одной льдины, хотя по ночам холодный ветер до костей пробирает.

Гитлеровцы понимали: наведут русские переправу — конец им. И все делали, чтобы сорвать строительство моста. До шести-семи раз на день бомбили саперов с воздуха, поднимали порой на воздух по несколько пролетов. Непрерывно долбила вражеская артиллерия, то и дело выползали на крутой берег танки и, сделав два-три выстрела прямой наводкой, скрывались, опасаясь противотанковых пушек.

А мост рос и рос. Еще один пролет — и он соединит берега. Но тут пришлось понтонерам отложить топоры и взять в руки автоматы. Немцы бросили к переправе до полка пехоты с двадцатью танками. Наша батарея попала под авиационные бомбы и полностью вышла из строя.

Ситуация складывалась трудная. Понтонеры лежали в неглубоких окопчиках. Вражеские машины уже близко. Видны черно-белые кресты на башнях. Пока основная тяжесть боя — на бронейщиках. Длинные стволы их ружей то и дело вздрагивают. Молодцы бронейщики: уже три танка остановились посреди поля. Два горят. Но остальные идут.

Командир взвода лейтенант Дмитриев командует:

— Заряды к бою!

Переглянулись младший сержант Карягин с солдатом Амиром Шахвалиевым и, кивнув друг другу, поползли вперед, навстречу головному танку. Поднялись, когда до железного чудища осталось каких-нибудь 15 метров, и бросили ему под гусеницы толковые шашки. Бросили — и ничком

на землю. Им-то, саперам, лучше знать, какой силы взрыв сейчас последует.

Когда освободило уши от грохота и понтонеры подняли головы, танк горел. Где-то неподалеку грохнул еще один взрыв. Еще и еще. И не выдержали — повернули назад фашисты.

Утерев кровь и пот с грязных лиц, понтонеры снова взялись за наведение моста. И к утру он был готов.

Через четыре дня был освобожден Ростов. Впервые в жизни Петр Карягин пил донскую воду. Она пахла нефтью, горелым железом. Но нет вкуснее воды родных рек, отвоенных у врага.

На Дону валили громадные, в два обхвата, дубы. На Днепре сталкивали в воду гигантские пирамидальные тополя. На Пруте резали железной крепости грабы и буки. Ставили мосты, связывали плоты, ладили паромы, клали настилы. Лес воевал вместе с людьми по законам войны. Петр Карягин знал эти законы, и все же каждый раз больно сжималось его сердце, когда видел, как падали на землю стволы деревьев — со стоном, словно люди.

Потом были сухие степи Причерноморья и зеленые просторы Молдавии.

...Никто в тот год не заботился здесь о садах и виноградниках. Мужчины воевали. У женщин и стариков не хватало сил убираться в полях, садах и огородах. Лето же выдалось на славу. Земля плодоносила с необычной, какой-то бешеной щедростью. Гнулись ветки под тяжестью яблок. До земли свисали наполненные солнцем виноградные кисти. Где-то недалеко упадет снаряд — и сразу оранжевым ковром спелых абрикосов устилается бруствер окопа, прорытого через сад.

И такая злость охватывала сердце Петра, что он не выдерживал:

— Вот гад, что делает, какую красоту уничтожает!

27 августа советские войска полностью разгромили Яссо-Кишиневскую группу гитлеровских войск. Петр Карягин, довольный, говорил:

— Ну вот, пускай теперь садочки молдавские на свободе цветут. Поедем после победы домой, обязательно несколько черенков к себе на Волгу повезу. Авось привыкнутся. Яблоки здесь — чудо!

А бой продолжались теперь уже на территории Румынии. Понтонное подразделение Карягина сопровождало танковое соединение. Едва пересекли границу, пришлось принимать бой. Большая группа немецких войск, вырываясь из окружения, напоролась на наши части. Группа была солидной: несколько полков пехоты, много артиллерии, танков. Пришлось нашим танкистам занимать оборону. Держали ее и понтонеры, которых было всего около восьмидесяти человек. Бой длился два дня.

Измотав и обескровив противника, советские войска перешли в контратаку. И она удалась с первого раза: фашисты, бросая технику и оружие, начали беспорядочное отступление. Среди воинов, отличившихся в этих боях и получивших правительственные награды, был и сержант Петр Карягин.

..Декабрь 1944 года.

Очищена от немецких фашистов Румыния. Войска 2-го Украинского фронта бьются с врагом между Тиссой и Дунаем, в Венгрии. Однажды вечером командир понтонного подразделения вызвал старшего сержанта в свой блиндаж.

— Получен приказ форсировать Дунай, Петр Корнилович. Как самому опытному понтонеру, начинать придется вам. Берите два понтона с расчетами и ведите их катером к тому берегу. На одном — рота автоматчиков. На другом — три противотанковых орудия. Под Будапештом главный противник — танки. Ваши «пассажиры» будут захватывать плацдарм. Следом пойдут паромы с техникой. На подготовку два дня. Хватит?

Карягин никогда не отличался безрассудной легкостью — все рассчитает, прикинет, а уже потом скажет свое слово.

Вот и сейчас прищурил глаз, потер гладко выбритый подбородок, ответил:

— В обрез, но должно хватить.

Пока понтонеры готовили свои плавучие средства, Карягин из-за кустов изучал в бинокль вражеский берег: какое место лучше для причала, где расположены фашистские батареи, нет ли в реке заминированных участков. Наблюдал, записывал и сокрушенно качал головой. Оборона у противника плотная. Огневые точки чуть не в метре одна от другой.

Ходил вдоль берега Карягин и бормотал:

— Эх, туманчику бы погуще...

И ведь намолил. О лучшем и мечтать нечего. Низкий, плотный, непроницаемый.

И вот уже идет к вражескому берегу катер. Рядом с рулевым Карягин. Впивается во тьму глазами — не мудрено сбиться с курса. За катером понтоны на тросах.

Перед началом переправы саперы долго думали: давать «шумовое» прикрытие или не надо. Решили — не надо. Под пальбу работу катерного мотора немцы, конечно, могут и не услышать. Но подозрение у них определенно родится: молчали-молчали и вдруг — стрельба. Значит, что-то задумано. Лучше довериться плотному туману, который хорошо гасит звуки.

Вот уже и середина Дуная. Теперь, если засекут и откроют огонь, — полный вперед! Только полный!

С вражеского берега взлетела в воздух ракета, другая. Неужели обнаружат? Сейчас все будут решать выигранные секунды.

— Полный вперед!

И команда на понтоны:

— К бою!

Нервы каждого напряжены до предела. Все давно готовы. Пальцы автоматчиков на спусковых крючках. А артиллеристы застыли у орудий. Если понадобится — будут стрелять с понтонов.

Вот уже надвигается на маленький караван широкая, темная полоса. Берег. Правда, до него еще метров двести, но сразу легче на сердце: теперь немцы не успеют подготовиться к отпору. Время выиграно.

Вдруг толчок. Катер содрогнулся и замер. Мель. Только слышно, как нутужно, вхолостую мелко дрожит мотор.

Размышлять некогда.

— В воду! — и сам первый — в ледяные струи. За ним катеристы.

— А ну, взяли, дружно!

В обычной, спокойной обстановке и впятером не сдвинуть с песка тяжело груженный катер. А тут какая-то нечеловеческая сила появилась в руках. Вдвоем сняли судно с мели. Взревел мотор, и тут немцы засекли переправу.

Разрывы вспенили Дунай. Снаряды ложились то справа, то слева, то прямо перед носом катера. А он стремительно неся к чужому черному берегу.

И снова содрогнулся стальной корпус и чуть не упал от внезапного толчка командир переправы старший сержант Петр Карягин.

Но это уже была прибрежная мель. Ближе не подойти. Короткий взмах рукой, влобоборота к понтонам.

— Вперед, в атаку!

В ответ — «ура» спрыгивающих в воду автоматчиков. Артиллеристы бросают с понтона сходни, стаскивают пушки и катят их по речному дну к берегу.

Амбразуры береговых дзотов то и дело озаряются огневыми вспышками. Один из понтонов разбит и разметан. Но наши уже ворвались в окопы первой линии вражеской обороны. Уже ведут рукопашную схватку. Артиллеристы бьют прямой наводкой по дотам и дзотам. Тяжелые пушки с нашего берега ведут огонь по второй линии обороны противника. Плацдарм захвачен. Надо его закрепить. За грохотом орудийных выстрелов и взрывами гранат неслышно заработал мотор маленького катера, и он, развернувшись, потащил уцелевший понтон к своему берегу.

Через полчаса Карягин докладывал командиру части:

— Плацдарм занят. К продолжению переправы готов. Прошу выделить еще один понтон.

В эту ночь старший сержант Петр Карягин под непрерывным огнем противника сделал десять рейсов, перевез на правый берег Дуная до полка пехоты и 12 орудий с прислугой.

В один из февральских дней последнего года войны на груди новодевиченского лесника засверкала Звезда Героя Советского Союза.

Но война еще не кончилась. Боевые операции следовали одна за другой. Карягину суждено было отличиться еще под Будапештом. Неподалеку от венгерской столицы, собравшись с силами, гитлеровцы перешли в контрнаступление. Понтонный полк оказался отрезанным от соседних частей. Командир полка ходил в боевых порядках по окопам, подбадривал солдат. И вдруг вызвал Карягина.

Старший сержант подполз к командиру.

— Берите взвод и выручайте знамя! Немцы окружили штаб.

Огнем и гранатами разметав врага, понтонеры Карягина выручили штабное подразделение и спасли знамя, на котором к этому времени уже сверкали четыре боевых ордена.

А Петр Корнилович, тяжело раненный, упал без сознания.

Но этим война для него не кончилась. Были еще реки Югославии и Чехословакии. Были ранения. И каждый раз, придя в себя на поле боя или в госпитале, Карягин первым делом искал свою записную книжку. И только тогда успокаивался, когда находил ее.

Он закончил войну в Праге и вернулся домой с истрепавшимся в боевых передрыгах блокнотиком, где некоторые карандашные записи только угадывались.

Перед ним не стояло вопроса, чем заниматься. Его послевоенную судьбу решил тот день, когда он на берегу Маныча занес в самодельный блокнот первую запись, поставил первую цифру...

Председатель райисполкома был искренне удивлен оборотом разговора. Первый Герой Советского Союза в районе. Кому, как не ему, предложить самые видные должности?

— Предлагаем вам пост председателя райпотребсоюза... Будете держать в руках районную торговлю. Как Герой заслужили.

— Извините, не буду.

— Тогда есть у нас к вам другое предложение. Районным начальником милиции. Самое место для Героя — эта должность. И почет. И жалованье хорошее...

— Разрешите отказаться.

Вот так случай! Председатель райисполкома со всем расположением. Оба варианта казались ему такими, которые должны бы устроить демобилизованного Героя. А у него, значит, намеренья куда выше!

И третий вариант он предлагал уже потухшим голосом, поскольку он был и не выше и не «денежнее»:

— Есть еще должность начальника пожарной команды... Хороший паек.

И услышал то, чего совершенно не ожидал:

— Спасибо. Только напрасно беспокоитесь. Я на старое место. В лес.

Новодевиченское лесничество за годы войны пришло в самое горестное состояние. Ходил Карягин по знакомым с детства местам и не узнавал их. Вырублены до последнего деревца березовые рощи. В сосновом лесу больше пеньков, чем сосен.

Велось хозяйство кое-как. Ни санитарных вырубок, ни подсаживания молодняка на место выкорчеванных деревьев, ни борьбы с вредителями. Лосей не подкармливали и не берегли.

Сумрачный, насупившийся ходил лесничий по разоренным участкам своего громадного хозяйства. Выходит, усложнилась его задача, отдалялась выношенная под фронтовыми выюгами мечта...

Жизнь вел беспокойную, бродячую. Контору на помощника, а сам подпишет бумаги до света — и на лесные деланки, на посадки молодняка, на подсечку, на луговые угодья. В дни весенних и осенних посадок вообще по неделям не появлялся дома.

Вот когда начал Карягин осуществлять свою мечту — возвращать военный долг лесу. Стали подниматься на горах, пустошах и заброшенных рубках молодые рощи, дубравы, сосняки, осинники, которым он давал названия мест из фронтового блокнота: Манычский колок, Днестровский бор, Дунайская роща, Влтавский парк.

Все, что вырубил за войну Петр Карягин и солдаты его отделения, все до деревца восстановил он на волжской земле. Ну, само собой, приходилось тисс заменять березой, а бук и каштан — сосной и дубом. Где их взять, саженцы из чужих стран, да и не приживутся они на наших землях.

Ну, а про названия карягинские кроме него знает только один еще человек, друг его, помощник, посвященный в тайну записной книжки, лесник Михаил Аляшев, бывший артиллерист.

Для остальных это обыкновенные плантации пересаженных из питомника лесничества, выращенных из семян молоденьких сосенок в Большой Княже, крохотных березок у Луговского поселка, кудрявых приземистых дубков на кордоне Рябинка.

Шли годы. Все шире по новодевиченской земле расплазались зеленые клинья молодых лесов. Все больше в старой, затрепанной книжечке из детской тетради знаков уравнивания. Напротив четырехзначных и пятизначных цифр, обозначавших число срубленных, спиленных, срезанных, сваленных танками деревьев по берегам бесчисленных фронтовых рек, выписывались новые многозначные цифры — прижившиеся на песке, суглинках и черноземе лесничества

сосенки, березки, дубки, осокори, осинки, рябина, черемуха.

Конечно, не вернешь к жизни те молдавские грабы, чешские каштаны и югославские буки. Вместо них под Жигулями вознесут к небу гордые кроны мачтовые сосны, раскинут богатырские ветви кряжистые дубы.

И пришел день, когда можно было закрыть фронтовой блокнот. Петр Карягин сдержал клятву, которую дал себе там, в огне войны. Лес, снесенный руками его солдат для переправ, восстановлен. Ствол в ствол. Три тысячи гектаров новых молодых лесов рассажено и выращено за пятнадцать послевоенных лет Петром Карягиным и его помощниками вдоль извилистых берегов Старой Тукшумки и Куйбышевского моря.

Только после этого, хотя давно уже требовали годы и тревожили раны, ушел старый солдат на пенсию.

...Человек стоит среди леса и слушает его. Еще глубокий и ослепительно бел снег. Березки-подростки бросают на него пронзительно синие тени. Солнце высокое, гордое, холодное. Но человек уже слышал, как где-то упала с ветки первая светлая капелька. Это похоже на полувздых, на шепот. Человек слышит его. Он вдыхает запах зимнего леса, пьет воздух, как разогретый хвойный настой.

Человек слушает весну.

## **Я ПО ЧУЖОЙ ЗЕМЛЕ ИДУ**

Земля от взрывов — как в бреду.  
Над ней не воздух — смрад.  
Я по чужим полям иду,  
Сжимая автомат.

Чужим селеньям, городам  
Не быть в лихой беде,  
Не грабить я пришел сюда,  
Не убивать людей.

Но те, кто шел в мою страну,  
Кто в мой ворвался дом,  
Кто помышлял меня согнуть  
И называть рабом,

Те пусть прощенья не ждут!  
Хоть на краю земли  
Врагов проклятых я найду  
И покараю их.

Любя Отчизну всей душой,  
Врагов круша в бою, —  
В чужую землю я пришел,  
Чтоб защищать свою.

Сергей Кошечкин  
Гвардии младший лейтенант.

Газ. «Волжская коммуна», 1944, 15 октября, № 206.

## В РАЗВЕДКЕ

Когда, казалось бы, осталось  
До нашей цели три шага,  
Луна внезапно показалась —  
Сыграла на руку врагам.  
...Сияет лунная дорожка,  
И каждый кустик — как живой.  
Играет на губной гармошке  
беспечно немец часовой.  
Его-то нам как раз и надо!  
Эх, если б не было луны!  
Товарищ жарко дышит рядом,  
И нервы все напряжены.  
А ветер северный, колющий  
Шуршит пожухлою травой  
И собирает снова тучи  
Над вражеской передовой.  
...Опять пиликает гармошка.  
Коварный свет луны погас.  
— Ну погоди, фашист, немножко —  
Ты доиграешься сейчас!..

## ПЕРЕД АТАКОЙ

Еще полмига до атаки —  
Одной из тысячи атак...  
Кто говорит: не пахнут  
маки?

Я утверждаю:  
Пахнут так,

[illegible]

**КОНСТАНТИН МАЛЫГИН,**  
майор в отставке, участник Великой Отечественной войны,  
в настоящее время декан физико-математического  
факультета КГПИ

## **ЗА ТРИ ДНЯ ДО НАСТУПЛЕНИЯ**

### **РАССКАЗ**

В апреле сорок пятого, за Одером, на узкой полоске плацдарма севернее Кюстрина закопался в стылую землю штаб 118-й артиллерийской бригады. Укрепился глубоко, надежно, как умели это делать только солдаты, прошедшие войну. Наши позиции хорошо просматривались со стороны противника, и потому днем небезопасно было выглядывать из окопа. Настоящая работа начиналась лишь с наступлением темноты.

В блиндаже командира бригады полковника Балагурова собрались ведущие штабные офицеры и командиры дивизионов. Все в полушубках — сыро и знобко в землянке.

Освещалась землянка лампочкой от автомобиля, висевшей над столом. Свет на полковника падал сверху, вниз, оттеняя глубоко запавшие черные глаза.

Начальник связи бригады майор Кочанов положил на стол перед комбригом схему связи. Вместо указки в руке — половинка зеленого карандаша.

— Линии проводной связи, товарищ полковник, продублированы пока до КП третьего и четвертого дивизионов. На КП второго дивизиона вторая нитка будет протянута к утру. Передовой и боковые наблюдательные пункты связью обеспечены надежно. На передовом узле связи сосредоточен достаточный резерв телефонного кабеля, аппаратов и радиостанций. Вся необходимая документация дивизионам выдана. Радиостанции работают только на прием, телефонная связь ограничена. С левым соседом связь надежная, с правым будет обеспечена к утру. Осколком легко ранен командир штабного отделения связи Переверзев, но в госпиталь не поехал.

Майор докладывает деловито и точно, будто, по написанному.

— Ваш помощник вернулся?

— Капитан Малышев из армейских тылов пока не приехал, и потому ощущается недостаток питания для радиостанций и телефонных аппаратов.

— Малышева нет пятый день. А если он вообще не приедет к началу наступления? Мало ли что может случиться?

— Выйдем из положения, товарищ полковник.

— У него резервов еще на год войны хватит, — пошутил один из офицеров.

Комбриг скупо улыбнулся:

— А иначе я не держал бы его на этой должности.

Голос подал командир третьего дивизиона:

— У меня связь с огневыми позициями ненадежная. Лапшин жалуется: нет хорошего кабеля.

— Лентяй ваш начальник связи, — резко ответил Кочанов. — И телефонисты подобрались в него. Кабель нужно было отремонтировать, прежде чем опустить в реку, а они понадеялись на авось.

— От того, что мы сейчас поругаем Лапшина, положение не изменится. Что вы намерены предпринять, чтобы дивизион не остался без связи? — спросил Балагуров.

Майор стал докладывать, время от времени показывая карандашом на схеме. Рукав его затертого по окопам полушубка ниже локтя был крест-накрест зашит толстыми черными нитками. Полковник вспомнил, что вчера во время доклада этого шва на рукаве майора не было. Значит, осколок зацепил Кочанова недавно. Сказал:

— До полной готовности всех средств связи осталось трое суток, товарищ майор.

Кочанов вздохнул, выпрямился. Лицо его оказалось ровень с лампочкой, и все увидели, как он бледен.

— Разрешите выполнять, товарищ полковник?

Из блиндажа комбрига Кочанов вышел в первом часу ночи. На запад и север от блиндажа в двухстах метрах был враг, позади в сотне шагов — Одер. Противник сейчас не стрелял, и кругом слышался приглушенный говор многих голосов.

— Ну что, товарищ майор, будем тянуть вторую линию через Одер? — спросил из темноты командир взвода связи старшина Поляков.

— Надо, Леша. Я это возьму на себя. Организую. А ты постарайся закопать в песок тот участок линии, что идет вдоль берега от батальонного медпункта. К утру закончишь прокладку запасной линии на КП второго дивизиона. Днем в землянке организуешь ремонт резервного кабеля. Два мотка изоляционной ленты есть — пока хватит. Я пойду на ту сторону.

Неожиданно позади, со стороны противника, разбрызгивая огненные быстро гаснущие шарики, круто вверх взмыла ракета и осветила на минуту все блеклым зеленым светом. Сразу стал хорошо виден и бруствер хода сообщения, в котором они стояли, и выброшенные на него пустые телефонные катушки, и даже черные квадратные усики на зеленом в свете ракеты лице старшины Полякова. Позади старшины Кочанов увидел незнакомого офицера в шлеме танкиста и куртке черного хрома.

— К вам вот лейтенант из танковой бригады, товарищ майор, — доложил Поляков.

Условившись с танкистом о способах связи в бою, Кочанов отдал кое-какие распоряжения, попросил у Полякова свободного телефониста и отправился на восточный берег Одера. Путь предстоял не близкий и не простой по ночному времени: километра четыре вдоль берега до понтонной переправы, потом километра полтора через реку, после еще четыре по берегу. Днем пройти десять километров по ровному месту одно удовольствие, а идти темной ночью по берегу, изрытому окопами, блиндажами, ячейками, ходами сообщения, между огневыми позициями минометных батарей, снарядами ящиками и походными кухнями — дело не из легких. Не прошли и километра, как справа донесся характерный звук — стреляла немецкая ракетная установка.

— Проснулись, — неодобрительно произнес ординарец.

Скорость этих ракет меньше скорости звука, и при желании всегда можно было успеть что-то предпринять: упасть на землю, забежать в ровик, но Кочанов продолжал идти. Шесть ракет разорвались почти одновременно на берегу и в воде, осколки просвистели где-то выше головы.

— Примеряются, — сказал ординарец. — Теперь пойдет швырять, пока наши не накроют.

Кочанов опять не ответил. Он не любил разговоров, не относящихся непосредственно к делу, которое сейчас было

для него главным. Но солдат и не ждал ответа. Он говорил для себя, так ему было веселее идти.

Снаряды рвались впереди и позади, справа и слева — противник вел беспокоящий огонь вслепую.

— Нервы проверяет, — сказал спутник Кочанова после очередного залпа.

Вскоре из-за Одера послышался ответный гул наших орудий, и ракетная установка замолчала.

— Уговорили, — съязвил ординарец. — Помните, товарищ майор, как нас под Варшавою батарея немецких ревунов накрыла? Двадцать четыре разрыва сразу. И ничего. Не умеет фриц стрелять.

— Если бы он не умел стрелять, война бы еще в сорок первом году кончилась, — впервые за всю дорогу подал голос Кочанов.

На понтонной переправе через Одер жизнь не затихала ни на одну минуту. Движение шло в один ряд и регулировалось специальной командой, поставленной с обеих сторон моста. Кочанов предъявил патрулю удостоверение личности.

— Минут через пятнадцать на тот берег пустим колонну машин, товарищ майор. — С нею поедете.

— А если пешком?

— Мост узкий. Не рекомендую.

— Я тороплюсь.

— Правой стороны держитесь, если не хотите ждать.

Через мост на запад, одна за другою, на малой скорости, без света шли автомашины, подводы, небольшие колонны людей, самоходные артиллерийские установки. Непрерывным потоком вливались на плацдарм новые и новые силы, готовясь к решающему удару по Берлину. Кочанов двинулся навстречу этому потоку. Порою машины вынуждали его идти по самому краю моста и приходилось ступать по ограничительной доске — на нее машины не въезжали.

Прошли уже около половины пути, когда светлые толстые столбы вдруг подперли тучи и, покачиваясь, стали шарить по небу.

— Проектора заработали, — сказал ординарец. — Должно, фриц бомбить собирается.

— Ты, голова, в случае чего держись за мост, — посоветовал Кочанов, — или за доску какую-нибудь.

В стороне от моста на обоих берегах Одера одновременно затарахтели зенитки. На пересечении лучей двух прожекторов где-то севернее моста маленьким крестиком виднелся самолет, а по соседству с ним один за другим вспыхивали звездочки разрывов снарядов зенитной артиллерии.

— Попадешь в эту муху, — проворчал ординарец.

Вражеские бомбы неожиданно стали рваться в реке южнее моста и на западном берегу Одера — видно, самолеты подошли с разных сторон. Колонна остановилась, слышались крики, ругань, кто-то с перепугу прыгнул в реку и поплыл. Разрывы зенитных снарядов виднелись теперь по всему небу, и вскоре сверху посыпался дождь осколков.

— Полезем под машину, — предложил Кочанов. — Осколок хоть и свой, а шишку на голове набьет.

Вражеские летчики понимали, что попасть ночью, с высоты, в тонкую ленточку моста дело почти невозможное. Они пытались создать панику, приостановить движение войск.

Артиллерия противника обычно по мосту не стреляла — слишком мощным и решительным бывал ответный огонь наших батарей, а тут вдруг посыпались и снаряды.

— Эх, и рыбы погубят... — с сожалением сказал Кочанов, глядя на вздыбленные взрывами горы воды. Бомба ли, снаряд ли угодил, но мост вздрогнул, и впереди, метрах, может, в ста от них, взметнулся столб пламени.

— В бензобак попал, — высказал догадку Кочанов.

Сказать, что сейчас, в этом аду, майор ничего не боялся, значило сказать неправду. Ему было только тридцать два года. Далеко за Волгою его ждала семья. Сынишка с белой челкой над глазами. На письмах уже каракули рисовал. Он был таким же, как и все, и совсем не хотел ни умереть, ни быть раненым. Но за четыре почти года войны, пройдя с боями не одну тысячу километров, Кочанов и сам не заметил, как научился управлять собою, подчинять чувства воле, противопоставлять страху долг. Постоянная забота о том, чтобы все порученное ему было сделано хорошо, стремление во все вникнуть, сознание необходимости во всем быть примером для подчиненных научили его оставаться внешне спокойным даже в самых опасных ситуациях. Волнение обычно выдавалось тем, что в минуту опасности майор становился разговорчивее.

— Наши дальнобойные заговорили, — произнес он и кивнул на восток, где за горизонтом одна за другой виднелись вспышки.

— Наверно, сто вторая бригада, — охотно отозвался ординарец. Ему было не по себе, а голос майора придавал силы.

— Те севернее.

— Два дивизиона. А два вон за той горкой. В лощинке. Рядом с нашими.

Запасной командный пункт бригады располагался на опушке небольшой сосновой рощи на восточном берегу Одера. Отсюда до противника было почти два километра, и хотя с высоток, что на той стороне реки, местность хорошо просматривалась, было здесь сравнительно тихо: ходили во весь рост, работали днем, а ночью можно было и поспать. Поэтому, когда Кочанов под утро пришел на ЗКП, его встретила непривычная тишина.

— Живут же люди, — позавидовал ординарец.

— Капитан Малышев приехал? — спросил Кочанов у часового.

— Не видел. Начальник штаба о капитане справлялся. Приказал вам позвонить в штаб, когда придете.

Переговорив по телефону с начальником штаба бригады, Кочанов тут же, в землянке узла связи, протиснул свое неловкое в шубе тело между телами двух спящих солдат и уснул.

Часа через два его разбудил повар.

— Покушайте, товарищ майор. А то ведь во сне и помереть с голоду можно. Потом доспите.

Помощник по радио капитан Малышев все еще не вернулся из армейских тылов, и Кочанов начал беспокоиться.

Радиотехник лейтенант Штырев, невысокий плотный харьковчанин, пришел за помощью.

— Третий день мучаюсь с радиостанцией, товарищ майор. Передатчик не работает.

На семьдесят радиостанций в бригаде не было ни одного специалиста с техническим образованием. Только практики, которых война вынудила освоить чисто ремесленные приемы ремонта сложной радиоаппаратуры.

— Покажи, — предложил Кочанов.

В блиндаже радиомастерской было тесно от радиостанций, аккумуляторных и сухих батарей, ящиков с запасными частями и многого другого, что в целом составляет материальную основу устойчивой радиосвязи.

— На эти вот два контура подозрение, товарищ майор, — Штырев указал отверткой на маленькую катушечку, запрятанную под многими другими деталями. Добраться вот до них трудно.

— Грей паяльник. И сделай тут посветлее.

Часа через два с этой радиостанцией стало кое-что просняться.

— Ты заканчивай, а я пойду осмотрю кабель, — сказал Кочанов.

Одним из важных дел, ради которого начальник связи бригады пришел на восточный берег реки, была прокладка по дну Одера запасной линии связи. Полевой телефонный кабель последнего года войны — это семь тоненьких проводочков, обмотанных бумагой и оплетенных поверх нее хлопчатобумажными нитками, пропитанными озокеритом. Нужно было проявить немало изобретательности и старания, чтобы заставить долго и хорошо работать провод, опущенный на дно реки. Два с половиною километра кабеля уже было для этой цели приготовлено, но Кочанов решил сам его посмотреть, — как говорят, пропустить между пальцами. Это заняло немало времени, а когда кончили — пошли на рекогносцировку. Осмотрели лодку, стоявшую пока в кустах — солдаты нашли ее во дворе одного из домов близлежащей деревни, — выбрали место на берегу, откуда ночью потянут линию, прикинули, где должны причалить на том берегу, решили еще целый ряд важных для предстоящей операции вопросов. Место, где они ходили по берегу, хорошо просматривалось противником, и он решил подтвердить это несколькими снарядами.

— Не понравились мы ему, — лежа на песке, пошутил кто-то.

— А может, догадывается, почему тут ходим, — предположил Кочанов. — Пристреливается.

— Ночью переправу бомбили, — сказал один из телефонистов. — Не знаете, товарищ майор, не разбили?

— В понтон угодило снарядом. Машина с шофером ко

дну пошла. На берегу бомба в ровик с людьми попала. А так ничего. Работает переправа.

Когда вернулись к радиомастерской, Кочанов представился незнакомый офицер:

— Начальник связи семьсот тридцать шестого полка капитан Рыбкин.

Майор протянул руку.

— С просьбой к вам, товарищ майор.

— Слушаю.

— Наш полк только что прибыл из резерва. Вот рядом с вашими огневыми наш ЗКП. Сегодня ночью на переправе автомашина с имуществом связи утонула, и штаб остался без радиостанций и кабеля. Пока из тыла дивизии подвезут — пройдет дня три, а может, и больше, а связь нужна сегодня. Помогите, товарищ майор.

Кочанов нахмурился.

— Что ж, у вас резервов, что ли, нету?

— Все в одной машине было.

— Тоже мне вояки, — недовольно проворчал Кочанов. Про него не зря говорили, что резервов имущества связи у него на год войны хватит. Он был хозяином бережливым, мотка провода на поле не оставит, но скопидомство не было для него самоцелью, и сейчас решил, что пехотному капитану надо помочь. Спросил все же недовольно:

— Давно на фронте?

— Второй месяц. После академии.

— Хотел бы я знать, чему учат в академии, если такой простой вещи, как рассредоточение средств связи, вас не научили.

— Так пехота же небогата транспортом, товарищ майор. Одна машина на всю связь.

— Зато солдатских спин много. Донесли бы, — не скрывая раздражения, перебил он капитана. Потом спросил более миролюбиво:

— Что вам надо?

— Заимообразно, товарищ майор. Мы возвратим.

— Учены, не первый раз.

— Километра три кабеля, два-три аппарата. Если можно. А уж радиостанцию еще где-нибудь попрошу.

Они стояли у крытой машины — передвижной радиомастерской, Кочанов в сердцах стукнул кулаком по ее кузову. Запасов у него было много, но ведь бригаде и

требовалось немало: шестнадцать батарей, штабы дивизионов и бригады, наблюдательные пункты, запасные позиции, тылы — и всех обеспечить связью.

На стук из машины выглянул лейтенант Штырев.

— Слушаю, товарищ майор.

— Дай капитану трофейную радиостанцию с питанием. Смотри не подсунь чего зря. Два телефонных аппарата дай, пять катушек кабеля.

Капитан стал благодарить.

— Ладно, — недовольно оборвал Кочанов. — Не гимназисты.

Снаряд разорвался метрах в пяти от того места, где они стояли. Осколки провизжали рядом и прошили в нескольких местах кузов машины. Капитан упал на землю плашмя, а лейтенант Штырев прямо из машины камнем пролетел в ровик. Кочанов вздрогнул от неожиданности, на миг прислонился к машине, закрыл глаза и глубоко вздохнул: кажется, и на этот раз повезло. На душе было гадко, но он постарался спрятать страх за иронией: толкнул капитана носком грязного сапога и сказал насмешливо:

— Цел, что ли, голова? Вставай. Улетели воробьи. — Голос Кочанова вдруг стал сиплым и немного дрожал.

Капитан встал, отряхнулся, соорудил подобие улыбки на бледном, без кровинки лице.

— Никак не привыкну, товарищ майор.

— Теперь не привыкнешь. Война на исходе. Штырев! Жив? Вылезай! Вразброс немец стреляет. — Голос майора обрел прежнюю уверенность, и трудно было поверить, что минуту назад он был на волосок от смерти.

Лейтенант Штырев выглянул из окопчика. Он грязен, лицо испуганное, глаза странные, остановившиеся.

— Отпустите, товарищ майор, меня в тыл. Не могу я тут. Ну не могу.

В августе сорок четвертого на Магнушевском плацдарме лейтенант Штырев оказался в ситуации, которая и на фронте встречалась не часто: большой вражеский снаряд, летевший рикошетом, упал плашмя в одном метре от лежавшего на земле Штырева и завертелся, разбрасывая песок и обдавая пороховой гарью и жаром. Секунды длились бесконечно, и каждая из них могла стать для лейтенанта последней. Затаив дыхание, не мигая, смотрел он на свою смерть, будто хотел ее загипнотизировать. К счастью, сна-

ряд не разорвался, но Штырев впал в шок. Целую неделю лежал он в землянке бригадного медпункта с остановившимися глазами и выражением ужаса на лице. Потом постепенно отошел, зато стал панически бояться обстрела.

Кочанов знал это, понимал, что жестоко держать лейтенанта в зоне артогня, но не видел иного выхода из положения.

— Пойми, друг, — мягко начал он. — Не могу я тебя отпустить в тыл. Ты же у нас один на семьдесят радиостанций.

— Не волен я над собою, товарищ майор. Голова тут не работает, руки дрожат.

Кочанов решил подойти с другой стороны:

— Сколько дней ты стоишь в этом лесу?

— Неделю.

— Часто немец стреляет?

— Каждый день.

— Кого убило?

— Убило? Никого. Сашку вот ранило.

— Эка невидаль — ранило. Да и то в плечо — царапина. Значит, реальная-то опасность невелика. На психику немец действует.

Понимал Кочанов, что все это лишь случайность, а весь разговор — увертка, но иначе поступить не мог.

День прошел в хлопотах и заботах. Майор проверил состояние связи на огневых позициях, убедился в исправности запасных радиостанций, аппаратов и линий связи, а когда вернулся к землянке Штырева, увидел капитана Малышева.

— Что так долго? — спросил он, подавая руку.

— Под бомбежку попали. Колеса пробило. И радиатор.

Остаток дня ушел на разбор и распределение между подразделениями привезенного имущества связи. Все основное делил на шесть частей: четырем дивизионам, штабу бригады и себе в резерв, на всякий случай.

— Война еще не кончилась, — объяснил он помощнику, — мало ли что может случиться. Да и закончится война — связь нужна будет. Новое-то имущество теперь не скоро получим.

Перед вечером командир отделения связи доложил:

— Все готово для прокладки кабеля через Одер, това-

рищ майор. Две сухие доски нашли. На буксире тянуть будем. Если лодку затопит, за доски уцепимся.

Когда все было обговорено, начальник связи двинулся в обратный путь. И снова переправа через Одер, дорога вдоль берега в темноте, тревожное ожидание телефонистов, что тянули через реку провод.

Кочанов выбрал место у самой воды, сел на случайно подвернувшийся снарядный ящик и вдруг почувствовал, как гудят ноги, руки — все тело. Усталость охватила сразу всего, и не было сил ни встать, ни даже шевельнуться. У его ног плескалась маслянистая масса воды. В ней сейчас не отражались ни луна, ни звезды, ни какие бы то ни было огоньки. Лишь иногда на минуту слегка подсвечивал воду чахоточный свет немецкой ракеты, и опять все погружалось в густую бесконечную тьму. Майор понимал, что его присутствие здесь совсем не обязательно, что опытные, прошедшие с ним войну телефонисты и сами все сделают на совесть, но не мог сейчас заставить себя пойти в штаб, где немедленно обступят десятки больших и малых дел и где, в общем-то, пока вполне справятся и без него.

Солдат, сопровождавший Кочанова, подтащил два ящика и уложил позади начальника связи.

— Ложитесь, товарищ майор. Целый день на ногах. Я-то выспался, пока вы с Горюшкиным на огневые ходили.

Кочанов совсем было собрался лечь на ящики, но вдруг раздумал.

— Нет, спасибо. Тогда совсем не встану. А впереди целая ночь работы. Поесть не найдется?

— Хлеб, товарищ майор. Мятый, правда, но не очень. И вода во фляге. Родниковая.

Где-то на бескрайней в темноте водной глади трое в лодке быстро опускают в воду телефонный кабель. Торопливо стучат в уключинах весла, брызжет вода, булькают, уходя в воду, камни-грузила. Трое в лодке берегов не видят, идут по компасу, торопятся, чтобы течение не унесло их далеко вниз. Днем на берегу было продумано и учтено, казалось бы, все, а как-то получится? Вот в воде разорвался снаряд. Потом взрыв у восточного берега Одера, где-то в середине — враг стреляет не по цели, вразброс. Кочанов чутко вслушивается: криков о помощи не слышно, значит, целы ребята.

Запасную телефонную линию через Одер протянули удачно, и часам к двенадцати Кочанов был на передовом узле связи. Командир отделения радио старшина Курепов доложил, что начальник связи дивизии срочно требует сводку связи.

— Позвони Малышеву. Пусть напишет, — буркнул Кочанов, укладываясь в землянке. — Поспать бы часок.

— Андропова убило, товарищ майор. Кричевцова тяжело ранило.

Кочанов рывком сел.

— Что?!

— Мина в траншею угодила. Уже вечером.

Почти четыре года провел Кочанов на передовой, где ранение и смерть были следствием естественного течения фронтовой жизни, где хоронили без слез, деловито, как выполняли всякую привычную работу. Многих друзей, знакомых и незнакомых, оставил на пути от Москвы до Одера Кочанов, но так и не научился спокойно воспринимать гибель человека. Тем более сейчас, когда все говорило о близком конце войны, когда так не хотелось ни умирать, ни хоронить других.

Опустив на кулак голову, он долго молчал, потом вздохнул:

— От Мозыря вместе... Сколько осколков над их головами просвистело...

Опять замолчал. В голову, в который уже раз, настойчиво стучалась мысль о том, что слепой осколок может угодить и в него. Связисты так же вот будут его жалеть, комбриг, вздохнув, подпишет очередную похоронную, а жизнь будет идти своим чередом...

— Каждый телефонист сейчас на вес золота, а таких и за золото не найдешь, — произнес, чтобы уйти от навязчивой мысли.

— Лейтенант от левого соседа приходил, — продолжал докладывать Курепов. — Позывные сверяли и волны. Невязки кое-какие есть, товарищ майор.

— Пусть Малышев этим займется.

— Начальник штаба прислал вам новую карту. До Берлина и дальше. Приказано ознакомить с местностью всех связистов.

— Знаю, — лениво протянул Кочанов. — Завтра днем в землянке занятия проведем. Берлин изучать будем. Пока

по карте. Вот ведь до чего довоевались мы с тобою, Саша: по Берлину связь тянуть будем.

Майор чувствовал усталость, есть не хотел, но знал, что без еды можно совсем свалиться, поэтому заставил себя поработать над котелком. Ел долго, не торопясь, чувствуя, как все больше и больше его клонит ко сну.

— Начальник связи третьего дивизиона просит разрешения на выход в эфир, — произнес Курепов, когда майор отставил котелок и собрался прилечь. — Говорит, телефонная связь с огневыми неустойчивая, а вдруг немец полезет.

— Нельзя! — отрезал майор. — Поставь запасной приемник на их волну и следи. Если выйдет в эфир без разрешения — под суд отдам подлеца! Пусть вторую линию через реку тянет. Я ему сегодня три километра нового кабеля дал.

Прогудел зуммер телефона.

— Комбриг на доклад вызывает, товарищ майор, — передал телефонист.

До начала наступления на Берлин оставалось пятьдесят два часа.

**САМУИЛ ЭЙДЛИН,**  
гвардии старший сержант,  
участник великой Отечественной войны,  
член Союза писателей СССР

## **ТРЕБЛИНКА**

Завалены поля,  
Дороги,  
Тропы  
Сплошной грудой  
пепла и костей...  
Сюда вели  
Пути со всей Европы,  
Обратно  
Людям не было путей.  
Их выгружали тут же,  
За оградой,  
И раздевали догола  
В мороз.  
Здесь лес дышал  
Могильною прохладой,  
Земля стонала,  
Мокрая от слез.  
Светловолосый,  
С пухлыми губами  
Тупой верзила  
Отдавал приказ:  
— Сдавать все вещи,  
Ценности —  
И в баню!  
С дороги баня  
Будет в самый раз...  
Под музыку  
Вели аллеей смерти.  
Свистел флейтист,  
Вовсю трубил трубач,  
Чтоб заглушить,

Чтоб растворить в «концерте»  
И детский крик,  
И материнский плач.  
Аллея смерти —  
Страшная аллея.  
О ней напишут,  
Может быть, тома.  
По ней ходили,  
На глазах седея,  
На полпути  
Уже сходя с ума.  
Казалось —  
Лес от диких воплей замер,  
Казалось —  
Содрогается земля.  
Людей душили  
В стенах узких камер  
И аккуратно  
Клади в штабеля.  
Такое горе  
Не уложишь в строки,  
Не выразишь  
За тысячу часов...  
Мы с каждым боем  
Сокращаем сроки  
Существованья  
Гитлеровских псов.  
Мы не забудем  
Ни одной слезинки.  
Нас не удержишь,  
Мы идем туда,  
Мы вспомним всех,  
Замученных в Треблинке  
В великий день  
Сурового суда!

Треблинка,  
1944 г.

## **ГЛОТОК ВОЛЖСКОЙ ВОДЫ**

Весть о тяжелом ранении старшины Черенцова передал капитану Строеву посыльный из третьей роты.

Батальон вел бой за рейхстаг. Фашисты сопротивлялись бешено, и потери были большие. Несколько комнат цокольного этажа были забиты ранеными солдатами. Но уже пробивались навстречу солдатам батальона Строева бойцы Давыдова и Самсонова.

Для комбата старшина Черенцов был не просто старшина, а ветеран полка, самый опытный воин батальона, прошедший с боями от Волги до Берлина. Словно заколдованный, ходил на краю гибели куйбышевский парень Павел Черенцов и ни разу за войну не разорвал для себя перевязочного пакета. Обходила старшину смерть. Даже под непрерывным огнем в Сталинграде, на знаменитом пятачке у самой Волги, носившем название «Остров Людникова», остался невредимым Черенцов.

О нем ходили легенды не только в дивизии, но и в армии. Старшину считали счастливым, а он был тем солдатом, который всегда держал при себе малую саперную лопату, а с каской не расставался даже зимой.

— Береженого бог бережет! — говорил старшина. — У меня к врагам особый счет, мне еще до Гитлера добраться надо. Так что валяться по госпиталям или отправляться на тот свет — времени нет.

Воевал старшина умело и храбро, стал полным кавалером ордена Славы. Была у него «чудинка», как многие считали, — не пил водку и не курил. На насмешки отговаривался: «От курева только кашель бывает, а это в разведке помешать может. А водка, что ж, вещь хорошая, если суставы ею протереть после мороза или слякоти»...

Когда закончилась Сталинградская битва и полк перебросили на другой участок, увидели солдаты на ремне у

старшины новенькую немецкую фляжку в суконном чехле с черным пластмассовым стаканчиком сверху.

— Русской водки не хотел, на фрицевский «шнапс» потянуло, — подтрунивали товарищи.

Ничего не отвечал Черенцов на эти подначки, но и не видел никто, чтобы он отвернул когда-либо крышку от своей фляжки. До самого Берлина дошел, а так и не притронулся к содержимому фляги. Это давало повод острякам для новых шуток.

— Не иначе, Черенцов коньяк выдерживает в своей фляге. Коньяк, он, чем дольше держишь, тем вкусу в нем больше. И крепость растет.

Но не такой был Павел Черенцов человек, чтобы принимать близко к сердцу шуточки товарищей. Обиды на них не держал, но с флягой этой, как с лопаткой малой и каской, не расставался. Появились было желающие познакомиться с содержимым фляги, да старослужащие отговорили.

Друзья числили за старшиной Черенцовым еще одну слабость. Любил собирать газеты и листовки, где о его подвигах написано. А писали о нем много — и в дивизионке, и в армейской, и во фронтовой газетах. А однажды о поиске, из которого он немецкого полковника приволок на горбу, даже в сводке Совинформбюро сообщили.

Для этих вырезок приспособил старшина твердые корки от католической Библии (в немецком блиндаже подобрал) и носил их всегда при себе в вещмешке. Впрочем, каждому было бы приятно про себя в газете прочитать, домой вырезку послать, чтобы родные гордились.

Правда, не было у Черенцова родителей. Умерли они от голода в 1921 году, и вырос Павел в детском доме. Но, зная, было кому показывать после войны газетные вырезки, раз собирал он их и бережно хранил. А если и не было пока того человека, так недолго ждать оставалось до победы.

Все эти мысли о старшине Черенцове промелькнули в голове капитана Строева.

А еще подумал он о том, что солдаты его батальона как-то уверовали в удачливость Черенцова. И шли с ним безбоязненно на любое задание.

Вот и в этот раз, посылая людей на самый важный участок, комбат, не задумываясь, назначил командиром группы старшину Черенцова. Назначил с твердой уверенностью,

что и из этого, последнего, боя выйдет Павел Черенцов, как всегда, невредимым.

И вдруг сообщение о тяжелом ранении старшины. Оно вызвало у комбата тревогу не только за друга, но и за всю группу.

— Останешься здесь, а я сам проберусь туда, — сказал он замполиту Жигалину.

Тот хотел сказать, что место комбата на КП батальона и что можно послать вперед старшего лейтенанта Парфенова, но увидел в глазах Строева такое нетерпение, что не сказал ничего.

Сзади, тяжело дыша, плюхнулся на пол запыхавшийся ординарец Родин. Он протянул комбату автомат. С Родным приползли два связиста с катушками телефонного кабеля.

— Четыре человека — это уже сила, — решил Строев и первым поднялся с пола, открыл огонь и, прячась за каждый выступ, перебежками стал пробиваться вперед. Туда, где в сплошном треске выстрелов вела бой рота Милованова и где лежал, истекая кровью, старшина Черенцов.

Милованов, длинный, худой, с ввалившимися от бессонницы глазами, обросший рыжей щетиной, разместился под лестницей, ведущей на третий этаж. Широкие пролеты лестницы и массивные мраморные ступени создавали иллюзию надежного укрытия.

Ротный сидел на опрокинутом кресле, разложив на ящичке план рейхстага, выдранный из немецкого путеводителя, и усталым, осипшим голосом пояснял усатому сержанту задачу.

Увидев Строева, Милованов встал, хотел было доложить о делах в роте, но капитан прервал его:

— Где Черенцов?

Милованов показал глазами на пол, где в самом углу под лестницей, в полумраке, лежал на плащпалатке старшина. Рядом с ним на обломке какого-то мраморного бюста сидела молоденькая санитарка и снимала марлевым тампоном крупные капли пота со лба старшины. Черенцов молчал, окровавленный ватник лежал у него под головой, сквозь разорванную гимнастерку видны были бинты, плотно опоясавшие грудь. Ремень был расстегнут, на нем уже не было малой лопатки, но знаменитая фляжка еще висела.

— Куда ранен? — тихо спросил Строев у санитарки.

Услышав голос комбата, Черенцов сам приоткрыл глаза и с усилием произнес:

— Снайпер меня, товарищ капитан. Вот ведь чепуха какая получилась. Пришел мой час...

— Ну что ты, что ты, Павел Иванович, — дрогнувшим голосом ответил Строев, опускаясь на колени прямо на усеянный осколками и битой штукатуркой пол. — Что ты, дорогой мой. Крепись, пожалуйста. Сейчас мы тебя в батальон отправим, а там к врачам...

Над лестницей, на третьем этаже вдруг сильнее затрещали выстрелы, стало нарастать «Ура!» и сразу все стихло. Сверху, стуча по ступеням подметками трофейных сапог, густо подбитых металлическими гвоздями, сбежал усатый сержант, с которым недавно беседовал Милованов, и радостно крикнул Строеву:

— Все, товарищ капитан! Соединились с батальоном Самсонова, вышибли фрицев с этажа! Там ребята со знаменем к куполу пробиваются.

Только тут услышал Василий Строев, что выстрелы затихли и на втором этаже, через который он с таким трудом пробился к Милованову. Он подошел к окну и увидел, как по площади к рейхстагу бежали, не пригибаясь, сотни солдат, у некоторых в руках были красные флаги.

Выстрелов со стороны рейхстага уже почти не было. Тогда комбат приказал Родину и связисту раздобыть носилки. На них осторожно положили старшину. Родин и связист подняли носилки. Строев накрыл Черенцова плащ-палаткой, сам пошел впереди. Навстречу им попались радостные и возбужденные Жигалин с Парфеновым. Они вместе с солдатами выводили в коридоры сдающихся немцев.

Увидев раненого Черенцова, солдаты бросили пленных и столпились вокруг носилок. Старшину в батальоне любили, о его ранении никто еще не знал.

— Держись, Паша, — тепло говорили друзья. — Наша взяла, брат. Малость ты не дотянул до последнего выстрела. Но ничего, поправишься — мы еще попляшем на твоей свадьбе!

Носилки поставили в тени у развалин какого-то дома. Строев отпустил связиста, велел ему разыскать и привести врача, а сам присел на край тротуара рядом с носилками.

Только сейчас на него обрушилась адская усталость от трехсуточной бессонницы. Вдруг стала сильнее болеть раненая рука, на нее он до сих пор не обращал внимания, так как ранение было не опасное, кость не задело, а таких ран за войну у Строева было немало. Комбат устало привалился к стволу молодой липы, прикрыл глаза и вдруг услышал хриплый голос Черенцова:

— Смотрите, товарищ капитан! Знамя...

Строев посмотрел вверх, туда, куда был направлен взгляд старшины, и увидел на оголенном переплете сферического купола рейхстага развевающееся на весеннем ветру алое полотнище.

— Победа, товарищ капитан! Конец войне! Эх, сейчас бы по рюмочке за такое событие, да жаль — нету, — вздохнул виновато Родин.

— Вот у товарища старшины фляжка целой осталась. Он ее с самого Сталинграда бережет. Так я думаю, что в такой-то момент можно было бы по глотку сделать. Да и Павлу Ивановичу не помешает для здоровья.

Черенцов медленно перевел взгляд с купола рейхстага на комбата.

— Не спиртное во фляжке. Вода из Волги. Я ее у «Острова Людникова» набрал, когда мы уходили из Сталинграда. Думал ее здесь Гитлеру в морду выплеснуть. Хотел, мол, воды из Волги попить, так нá, захлебнись ею! Не ты на Волгу, а Волга в Берлин пришла...

Черенцов смолк, говорить ему было трудно, лицо покрылось испариной, губы пересохли, и он впервые попросил у санитарки пить. Но у нее воды с собой не было. И тогда она, молчавшая все время, вдруг зло и громко сказала:

— Сдохнет Гитлер и без волжской воды! Чести для него много. А вот тебе, Паша, в честь победы как непьющему можно сделать один глоток. Но только один, пить тебе опасно, пока доктор не разрешит.

Строев взял фляжку Черенцова, отвернул крышку и плеснул в стаканчик немного воды из фляжки. Комбат был уверен, что за эти годы вода испортилась. Но никакого запаха он не почувствовал. Вода была чистой и холодной.

— А фляжка серебряная. Генеральская. Я ее в штабе

тогда взял. От серебра вода сохраняется, — все так же тихо и тяжело произнес Черенцов.

Строев налил немного воды, санитарка приподняла голову старшины, и капитан бережно поднес стаканчик к воспаленным губам Черенцова. Тот сделал один глоток, хотел было еще попросить, но маленькая санитарка решительно отвела руку Строева.

И в это время где-то рядом, в подвале, тоненький детский голосок произнес по-немецки:

— Воды! Мамочка, я пить хочу!

Стекло в окошке было выбито, и в подвальном полумраке Строев увидел испуганную молодую женщину, прижимавшую к себе белокурую девочку. Женщина стояла у заплесневевшей стены маленького кирпичного чуланчика, зажимала рукой рот задыхающейся девочки и с ужасом смотрела в глаза Строеву.

— Простите ее, господин офицер, — умоляюще просила она Василия, — мы не наци, мы рабочие... Мой муж погиб в Сталинграде. Вот уже три дня, как мы здесь прячемся. У нас кончилась вода, а Марта такая маленькая, глупая еще совсем.

— Кто там? — спросил Черенцов. — Что она говорит?

Строев перевел Черенцову слова немки и добавил зло:

— Все они теперь не фашисты, а муж в Сталинграде воевал. Может, он и по нас с тобой стрелял, Павел Иванович!

Женщина все так же испуганно следила за губами Строева, словно пыталась понять, о чем это гневно говорит сейчас советский офицер. Она понимала, что ее судьба и судьба девочки в руках этих страшных русских, о которых так много плохого рассказывали плакаты, висевшие последнее время на улицах Берлина, о зверствах которых писали все газеты и неоднократно говорил по радио доктор Геббельс.

— Где девчонка? — спросил вдруг Черенцов. — Пусть подойдет.

— Зачем тебе? — удивился Строев.

— Как зачем? Напоить надо ребенка. Она-то при чем?

Строев перевел просьбу Черенцова немке, но та лишь крепче прижала к себе девочку. Девочка громко заплакала. Тогда маленькая санитарка сердито крикнула немке:

— Чего боишься, фрау? Давай сюда ребенка...

И, несмотря на сердитый тон, немка вдруг поверила, что ни ей, ни ее дочери не могут причинить зла эти люди. Санитарка взяла из рук матери девочку, подала ее в окошко Строеву, тот бережно принял ее и поставил на тротуар.

Черенцов поманил ее пальцем к себе. Она робко приблизилась к носилкам. Старшина взглянул на русые, запыленные волосы девочки, на ее худенькое, давно не мытое лицо, которое красили огромные синие глаза, подумал, что такого цвета бывает вода у них на Волге в солнечный июньский день. Он стал отвинчивать крышку фляги, поглядывая на девочку, на Строева, на Родину, на маленькую санитарку, на мать девочки, которая незаметно выбралась из подвала и уже успокоилась, но все же заискивающе смотрела на советских воинов, и сказал, обращаясь ко всем:

— Вот и дошла моя вода до Берлина. И не напрасно я ее берег. Вишь, сгодились...

Когда девочка напилась, он потряс флягу. Там еще осталось немного воды.

— А ну, дай-ка фляжку сюда, — сказал комбат и вылил остатки воды в черный стаканчик. — Как раз всем по глотку будет, по глотку волжской воды в честь Победы. За то, чтобы и наши дети, и эта маленькая немочка никогда не знали ни ужасов войны, ни подвальных чуланов.

Все сделали по глотку. Последнимпил капитан Строев. В тот момент, когда он поднес стаканчик ко рту, он увидел, как из-за угла выехала полковая санитарная машина...

**ПИСЬМО КОМАНДИРА ТАНКОВОЙ РОТЫ ГВАРДИИ  
СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА А. П. ДОЛГОВА МАТЕРИ**

*Не позднее 2 мая 1945 года*

**Мама!**

Ты, наверное, совсем устала. Сколько тебе выпало дел, дорогая! Как ты там справляешься со всей оравой — трудно представить.

Мамочка, я прошу тебя, хоть не волнуйся за меня. У меня все хорошо. Дело простое, солдатское — воюем. Стараемся поскорее добить фашистов. Когда окончится война и мы соберемся все вместе, я расскажу тебе о себе много-много, как я здесь жил, как мы воевали.

Ты все пишешь мне, чтобы я был осторожнее. Я прошу простить, мама, но это невозможно. Я командир. А с кого же будут брать пример солдаты, если их командир в бою начнет думать не о том, как бы выиграть бой, а как бы спасти свою шкуру. Ты, мама, понимаешь, что я не могу этого делать, хотя, конечно, очень хотел бы пройти всю войну и остаться живым, чтобы снова вернуться в родной город, встретиться со всеми вами.

**Целую**

**Саша.**

Александр Петрович Долгов родился в 1917 году в селе Большое Томилово Чапаевского района Куйбышевской области.

В центре города Бранденбурга, на широкой площади, похоронен Герой Советского Союза Александр Долгов.

**ВАЛЕНТИН МЯСНИКОВ,**  
подполковник в отставке,  
участвовал в Великой Отечественной войне  
в составе Советской Армии и войска Польского,  
член Союза писателей СССР

## **УВАРОВ**

О том, что Уваров — человек военный, Светлана Аркадьевна узнала лишь после того, как поезд пересек государственную границу и остановился в Тересполе, где польские пограничники стали проверять документы. Возвращая их Уварову, высокий худощавый поручик пристукнул каблуками, вскинул два пальца к головному убору:

— Проще, товажишу полкувнику.

— Так вы, Семен Гаврилович, оказывается, офицер! — воскликнула Светлана Аркадьевна, едва поручик прихлопнул за собой дверь.

Уваров резко тряхнул головой, недовольный и любопытством, и пронзительным взглядом собеседницы, и уж затем, отвечая на ее вопрос, круто приподнял плечи: а что же, дескать, удивительного, если и офицер?

Но Светлана Аркадьевна все же удивлялась. Земляки, оба из Куйбышева, больше суток едут в одном купе, а он хотя бы словом или намеком, что ли, дал понять о своем полковничьем звании... Между тем, для нее это весьма важно. Ее сын — тоже военный. Правда, пока он не офицер, всего лишь ефрейтор, но какой же солдат не мечтает о маршальском жезле? Так сказал Игорек, когда пришла повестка из военкомата и отец спросил, очень ли хочется ему служить? Про маршальский жезл, правда, Игорек сказал с улыбкой, но разве угадаешь, что у него на уме? А вдруг действительно решит навсегда остаться в армии?

— У меня ведь, Семен Гаврилович, сын здесь служит, — сказала Светлана Аркадьевна.

Уваров нехотя оторвался от газеты.

— Где? В Польше?

— Да. В Бжеге. Может, слышали про такой город?

Поняв, что разговор, по всей вероятности, затянется надолго, Уваров положил газету на колени.

— Хороший город. Чистый. Весь в зелени. — Помедлив, добавил: — От Освенцима — два-три часа езды.

Светлана Аркадьевна прикусила губы, темно-синие глаза ее сразу округлились, стали неподвижными.

— Почему, Семен Гаврилович, именно от Освенцима? Тот пояснил:

— Это самый близкий к Бжегу город из тех, в которых мы побываем. А про два-три часа упомянул умышленно. Вам же очень хочется повидаться с сыном.

— Хотя бы несколько минут, — вздохнула Светлана Аркадьевна.

— Давно не виделись?

— Почти полгода. Он у меня осеннего призыва. Скоро девятнадцать исполнится.

Уваров снова развернул газету, но прежде чем продолжить чтение, грустно улыбнулся:

— А я, помню, встретил в Польше свою двадцать первую весну... В сорок пятом.

Скорее машинально, чем осознанно, Светлана Аркадьевна быстро прикинула: если в сорок пятом двадцать один, то сейчас, в семьдесят третьем, сорок девять? Сорок девять? Сначала даже не поверила, решила, что ошиблась. Пересчитала снова. Нет, все правильно. Ему действительно лишь сорок девять лет. Всего-навсего на четыре года старше нее. А она-то думала... Да и как не ошибиться: голова совершенно белая. Под острыми, глубоко посаженными глазами густая сеть морщин.

«А впрочем, — решила Светлана Аркадьевна, — в военной форме он не выглядит, наверное, таким старым. Многие форма вообще очень молодит. Игорек вон на фотографии — совсем ребенок. Ребенок... И вдруг — в армии. Боже, как он там? Ведь еще целых полтора года! А если на самом деле захочет стать офицером, как дал понять в последнем письме, тогда, тогда...»

— Семен Гаврилович, простите, пожалуйста. В военное училище поступить очень трудно?

— Смотря в какое. Есть средние, есть высшие. Но в любом случае, как правило, конкурс. Однако, если человек подготовлен основательно...

— В том-то и дело, — произвольно и горестно вырва-

лось у нее, — в том и дело, что Игорек, сын мой, случайно не закончил школу с золотой медалью. Одна тройка помешала — в девятом классе получил по-русскому... Коль решится в училище, непременно поступит. Боже!..

Уваров, прищурившись, посмотрел на собеседницу — будто бритвой полоснул. Но тут же глаза его приняли обычное выражение — спокойно-сосредоточенное и чуть усталое. Усмехнулся.

— Значит, семейные нелады? Сын хочет быть военным, а мать против. А что папа думает?

— Папа? — Светлана Аркадьевна пренебрежительно махнула рукой, тут же с опаской глянула на верхнюю полку. Можно было не беспокоиться: оттуда доносилось мирное похрапывание. Все-таки голос приглушила. — Что папа! Меня, говорит, никто не вел за руку к креслу директора завода, сам дошел. Пусть и сын самостоятельно выбирает свою дорогу.

— Вполне разумно...

Светлану Аркадьевну даже передернуло. С трудом сдержалась. Ах, лучше не расстраиваться. Дала себе слово: больше вообще не будет разговаривать с Уваровым на эту тему. Но свое мнение выскажет. И не медля, сейчас же.

— Мне бы лишь встретиться с Игорьк... с Игорем. Он не может не понять материнского сердца. Его путь — в институт. Оттуда — в аспирантуру. А потом...

— Не новая песенка. Из старой оперы, — неучтиво прервал ее Уваров, снова уткнулся в свою газету и уже не отрывался от нее, наверное, до самой Варшавы.

Теперь Светлана Аркадьевна обиделась не на шутку. «Сухарь!» И поклялась не только не разговаривать, а вообще подальше держаться от него. Мало ли в их группе по-настоящему интересных, учтивых, благовоспитанных туристов. Вот хотя бы тот, что курит какие-то заморские сигареты, Кипли... Купля... Каплюньков! Слава богу, еще не настолько стара, чтобы не чувствовать на себе взгляды, которые он украдкой бросает на нее.

Но странное дело, именно после того, как дала себе твердое слово не знаться с Уваровым, что-то особенно тянуло к нему. И когда глухой ночью приехали в Варшаву, а затем с Гданьского вокзала гостеприимные хозяева польской столицы проводили их в «Гранд-отель», она искренне огорчилась, узнав, что жить им придется на разных эта-

жах. Зато потом, когда отправились в поездку по стране, ее место в комфортабельном автобусе — бывают же такие приятные случайности — оказалось рядом с Уваровым. Уютно устроившись в кресле, призналась:

— Знаете, Семен Гаврилович, мне с вами как-то покойно...

— Прикажете считать за комплимент? — В острых глазах его неожиданно полыхнули озорные бесенята.

За всю дорогу ни разу, кажется, не начинал он разговора первым — ни со Светланой Аркадьевной, ни с другими пассажирами. Лишь однажды, километрах в пятнадцати-двадцати от Ченстохува, попросил водителя:

— Пане керовцо, зараз бенде каплица. Проше затшиматсе...

И как тогда, в поезде, когда узнала, что Уваров — полковник, так и сейчас Светлана Аркадьевна удивилась:

— Вы говорите по-польски? Ведь такое трудное произношение... Все же я поняла: просите остановить машину. А что такое «каплица»?

— Вот, — кивнул Уваров в сторону изгиба дороги. Там, на опушке подступившей к шоссе рощицы, возвышалась часовня из тесаного камня.

Едва автобус остановился, Уваров спрыгнул на землю и с легкостью, какой от него никто не ожидал, перемахнул через широкий кювет. С минуту постоял у часовни, погладил ее стены в тех местах, где они были выщерблены, — очевидно, след осколков минувшей войны, — затем прошел вперед, потоптался на одном месте, перешел на другое, и тут, склонив голову, стал внимательно рассматривать что-то под ногами...

Когда, молчаливый и задумчивый, вернулся в автобус, Каплюньков так, чтобы его слышали все, спросил:

— Что вы там искали? Клад? Нашли? Увидели?

Кто-то хихикнул. Кто-то засмеялся. А Светлана Аркадьевна возмущенно стиснула кулачки. Он улыбнулся ей — стоит ли, мол, возмущаться, — опустил на свое место и лишь после этого, не повышая голоса, ответил:

— Нет, Каплюньков, не увидел. Хотя люди, которые подобрали меня здесь, говорили: вся земля была пропитана кровью.

В машине повисла неловкая тишина, нарушаемая ровным гудением работяги двигателя. Да, будто непрекращаю-

щийся вздох, шуршали стремительные колеса по отполированному асфальту.

В Освенцим приехали перед заходом солнца. Здесь должны были переночевать, утром осмотреть бывший концлагерь, а затем двинуться дальше, по намеченному еще в Варшаве маршруту. Но Светлана Аркадьевна не очень уверенно предложила:

— Товарищи, а зачем откладывать осмотр на завтра? Я столько читала, слышала про этот ад... Все равно не смогу уснуть. Лучше уж сразу... — К ней присоединились еще несколько человек. И Уваров тоже.

— Можно и так, — согласился экскурсовод. — Только придется быстро: времени маловато.

И двинулся вперед, увлекая сразу, словно по команде, притихших туристов в глубину лагеря.

Слева от ворот возвышалась сторожевая вышка. На ней тогда постоянно маячил часовой, вооруженный пулеметом. При малейшем подозрении на побег открывал огонь. Бил без промаха. А если и получалась осечка, все равно пленника ожидала неминуемая смерть. Ведь на его пути стояло ограждение из колючей проволоки, таящей в себе неотвратимую, как судьба, силу.

Смущенно поглядывая на Светлану Аркадьевну, Уваров осторожно дотронулся кончиком пальца до проволоки, поспешно отдернул, потянулся снова. Пояснил:

— Тогда по ней проходил ток высокого напряжения. Малейшее прикосновение — и конец. Кто решался на последний шаг в жизни, «шел на проволоку». Так называли самоубийство.

Тут же, у входа в лагерь, росла старая береза. Как несколько часов назад Уваров гладил выщербленные осколками стены часовни, так теперь медленно-медленно провел заметно подрагивающей ладонью по шелушащейся, потрескавшейся коре березы.

— Гитлеровцы не срубили ее, чтобы засвидетельствовать свою любовь к природе. Но именно здесь, около этой березы, человек в последний раз слышал свою фамилию — потом ее заменял номер. Около нее в последний раз стоял он в своей одежке. Отправлялись мы отсюда в бараки уже во всем полосатом, арестантском...

Светлана Аркадьевна подумала, что, вероятно, ослышалась.

— Кто «мы», Семен Гаврилович?

Ответил он не очень охотно:

— Ну, Ришард... я... другие... — Склонив голову, прикрыл лицо ладонями, но, словно чего-то устыдившись, сразу же их и отдернул. — Идемте! А то мы совсем отстали.

Однако не сделали, пожалуй, и сотни шагов, опять остановились.

— Видите тот барак? Их называли блоками. В нем мы с Ришардом жили. На одних нарах спали. Только я на первом ярусе, он на третьем. А где было взять силы, чтобы взобраться туда? На людей мы не походили. Трудно было Ришарду. Ему было особенно трудно...

— Его казнили, Семен Гаврилович?

— Не успели. Умер после войны. Сын и дочка остались. Все к себе звали, в каждом письме. — Уваров приложил руку к тому месту, где обычно находится нагрудный внутренний карман. — А я не мог. Но теперь увидимся. Теперь обязательно... Пошли!

И потом, много времени спустя, Светлану Аркадьевну будут мучить по ночам кошмары Освенцима. То ей приснится лагерная кухня. После вечерней проверки здесь устанавливали передвижную виселицу. Сгоняли всех пленных. Они должны были смотреть, как вешают их товарищей. То увидит орудия пытки... Чаше столб. «Провинившихся» подвешивали на нем за вывернутые назад руки. Нередко мерещился и «козел». На нем били розгами. Полагалось 25 ударов. Но, усердствуя, эсэсовцы давали их до семидесяти пяти. Наказуемый должен был громко считать по-немецки каждый удар. Если ошибался, все начиналось снова. То окажется в корпусе, в котором, по свидетельству Гесса, «врачи СС занимались неврачебной деятельностью». Их цель была одна: разработать наиболее эффективные методы уничтожения славян. Больше других преуспел в этом профессор Карл Клауберг. В своем письме Гиммлеру он сообщал: «Если производимые мной опыты будут проходить так, как проходили до сих пор, а нет никакого основания думать, что будет иначе, то близок уже день, когда я смогу сказать: врач, получивший соответствующую подготовку в специально оборудованном кабинете, имея в своем распоряжении 10 человек персонала, будет в состоянии произвести стерилизацию нескольких сотен, а может, и тысячи женщин в течение одного дня».

А однажды, в полночь, ее разбудил встревоженный муж:

— Что с тобой? Что ты? Дрожишь, хрипишь, словно тебя кто-то душит. Уж не заболела ли?

— С чего бы? Просто, наверное, лежала неудобно. Не беспокойся. Спи.

Если бы сказала правду, непременно услышала бы в ответ: «Нервы у тебя, милая, стали ни к черту. Лечиться надо». А при чем тут нервы? И какие нужны нервы, чтобы оставаться спокойной, побывав, как она только что была, пусть и во сне, в крематории?

Но и страх, и кошмары — все это к Светлане Аркадьевне пришло потом. Сейчас же, осматривая лагерь, с трудом переставляя одеревенелые, будто чужие ноги, испытывала такую физическую боль, что кружилась голова. А когда вслед за Уваровым вошла в четвертый корпус, боль стала невыносимой. Поспешно прислонилась к стене, иначе, пожалуй, не устояла бы.

Тут, в четвертом корпусе, возвышалась гора человеческих волос. Россыпью. В бумажных мешках. Несколько тонн. Их продавали, как, скажем, продают кудель, по 50 пфеннигов за килограмм. Или отправляли на заводы фирмы «Алекс цинк». Получалась портняжная ткань. Тюки такой ткани находились здесь же.

Робко отделившись от стены, Светлана Аркадьевна спросила:

— Это волосы?..

Уваров кивнул.

— Идемте дальше...

Пошли. Но прежде чем войти в одиннадцатый блок, стояли у «стены смерти». Здесь расстреливали обреченных. Лязгали затворы. Щелкали сухие выстрелы. С глухим стуком падали бездыханные тела. Сейчас тут было тихо-тихо. Лишь чуть слышно потрескивали стеариновые свечи, беспокойными язычками пламени облизывая прохладный воздух, да слышался монотонный шепот. Это какая-то женщина, вся в черном (возможно, она и зажгла свечи), молилась на коленях.

Может быть, если бы кроме женщины в черном тут еще были люди, если бы слышались живые голоса других, Светлане Аркадьевне и дышать было бы легче. Мертвая тишина оглушала.

Не скоро успокоилась, не скоро пришла в себя. И не сразу поняла, что они вошли в подвал одиннадцатого блока, стоят возле той самой камеры, в которой пленников отправляли газом. Затем осмотрели соседнюю камеру. Массивная деревянная дверь, испещренная полосками: то, ломая ногти, исцарапали узники. Голые каменные стены. Недосыгаемо высокий потолок. Цементный пол. И крошечное, перекрещенное решеткой окно.

— Но ведь тут можно было задохнуться и без газа, — узнав, что размер темницы всего семь квадратных метров, а загоняли в нее гитлеровцы по сорок — сорок пять человек, ужаснулась Светлана Аркадьевна.

— И задыхались, — подтвердил Уваров. — За ночь — пятнадцать — двадцать трупов. Впрочем, тут, в подвале, есть стоячий карцер. Там воздуха узникам отпускатось еще меньше.

Карцер этот — меньше квадратного метра на четверых, с отверстием в пятикопеечную монету, через которое поступал воздух, — походил на собачью конуру. Но собака в своей конуре вольна и сидеть, и лежать. А узник в карцере мог только стоять. Вползал он в него через небольшую дыру наподобие подтопка у печи. Если за ночь не умирал, утром выводили его на работу — осушать болота, копать дренажные рвы, таскать огромные дорожные катки. А вечером загоняли снова. Причем посаженному за попытку к бегству не давали ни пищи, ни воды.

— Обычно больше трех-четырёх суток никто не выдерживал, — тихо, медленно, неестественно спокойно говорил Уваров. — Но я был тогда очень сильный. Сравнительно, конечно, с другими. Только на пятый день потерял сознание. И в тот день в Освенцим ворвались войска Первого Украинского фронта...

Светлана Аркадьевна вцепилась в рукав Уварова:

— Идемте, Семен Гаврилович, отсюда. Идемте!

— Да, да, — послушно отозвался он, — да, идемте.

А сам — ни с места. Будто пристыл к полу. И неподвижного взгляда оторвать от карцера не может. И ладонь, которую приложил к его холодной стене, отнять не в силах. Весь он — словно изваяние. Лишь грудь тяжело вздымается и опускается: старается втянуть как можно больше воздуха. Его так не хватало тогда, двадцать семь лет назад.

Тогда, тогда... Они вернулись тогда в барак ночью. Во время работы на каменоломне бежал человек. Корпусной надзиратель обнаружил это лишь на вечерней поверке. Доложил своему начальству. Рапорт дошел до коменданта лагеря. Тот распорядился:

— Поставить всех на колени с поднятыми руками. На шесть часов. А потом — действовать по моему приказу.

Помогая Ришарду взобраться на нары, Уваров вполголоса спросил:

— А что это за приказ?

« — Ты еще не знаешь? Не найдут убежавшего в течение суток — расстреляют двадцать человек. — И тут же, забыв о своем собеседнике, страстно, с жаром зашептал: — Господи, господи, помоги мне попасть в число этих двадцати. Прошу тебя: помоги...

Надо было что-то сказать, утешить товарища, но Уваров молчал. И слов нужных не находил, и знал: бесполезно. Чем, как поможешь человеку, у которого там, на воле, остались крошечные дочь и сын, умерла на его глазах жена и самого бросили сюда, в концлагерь, на верную смерть? А еще молчал Уваров потому, что во всех бедах считал виноватым себя. Если бы Ришард и Малгожата не подобрали его, почти бездыханного, после неудачно сложившегося боя под Ченстохувом, не спрятали у себя на чердаке, не выхаживали в течение многих недель, то сосед — фольксдойче\* не доложил бы оккупантам, что Навроцкие скрывают советского лейтенанта. И, значит, гестаповцы не нагрянули бы в их дом.

Запрокинув голову, Уваров подождал, пока на своих нарах под самым потолком не притих Ришард, потом лег и сам. Подушки, разумеется, не было — положил вместо нее ботинки и шапку, а на голову натянул фуфайку, чтобы хоть немножко согреться, заслониться от падающей сверху воюющей соломенной пыли, главное же — чтобы не слышать стога Янека — семнадцатилетнего паренька из Лодзи. Четыре дня назад его искусила собака лагерфюрера Фритша. Но многие узники считали: Янеку повезло. Потому что чистокровная немецкая овчарка Фритша, прозванная Вепрем, нескольких человек уже загрызла насмерть. А Янек вот остался жив. И это тем более невероятно, что оказать како-

---

\* Немец, родившийся и живший вне Германии.

го-либо сопротивления Вепрю он не мог — находился в состоянии крайнего истощения. Он напоминал скелет, обтянутый желтой кожей. Двигался еле-еле. К окружающему миру был абсолютно равнодушен. В памяти временами образовывались такие провалы, что не мог назвать даже свое имя. Но был в сознании или нет, все время просил:

— Косточку... Спасите меня... Косточку...

Мысль, что если б он съел мясную косточку, то снова поднялся бы на ноги, появилась у него минувшей ночью. И твердил, как молитву, как заклинание:

— Косточку... Косточку...

А Уваров сначала думал, что Янек просто бредит. Понял свое заблуждение, когда встретился с его взглядом — чистым, ясным, молящим. Нет, он не бредил, был в своем уме. Больше того: возможно, и на самом деле выжил бы, если б выполнили его просьбу. Но где взять ее, косточку, где?

Как ни укутывал Уваров голову, натужный стон Янека не давал ему уснуть. Заткнул уши пальцами — все равно слышал:

— Косточку...

И тогда не выдержал. Поднялся с нар, не спеша натянул на себя полосатую фуфайку, тщательно ее застегнул и, осторожно ступая, вышел из барака.

Вернулся под самое утро. Шел, покачиваясь из стороны в сторону. Чтобы не упасть, придерживался за стену. Руки его были обмотаны какими-то тряпками. Просачиваясь через них, на пол с глухим стуком падали тяжелые капли крови.

Добравшись, наконец, до своего места, Уваров посмотрел на соседние нары. Янека не было. Спросил у поспешно спустившегося сверху Ришарда:

— Давно?

— Часа два назад... А ты где был?

Уваров промолчал. Лег вниз лицом и так, не шевелясь, пролежал до самого подъема.

Работу в тот день отменили. Беглец не нашелся. И всех до одного обитателей блока выстроили во дворе лагеря. Поигрывая вороненым парабеллумом, лагерфюрер Фритш медленно цедил слова:

— Та-ак. Значит, хотите убежать? Что ж, пожалуйста, бегите. Но помните: пощады не будет. Убежал один — расстреляем двадцать. Убежит двадцать — четыреста!..

Фритш проходит вдоль первой шеренги. В мертвой тишине гулким эхом отдается стук его сапог. Колющие глаза сверлят изможденных пленников. Шевелиться нельзя. Отворачиваться нельзя. Моргать нельзя. Надо окостенело смотреть в лицо лагерфюрера. А он не спешит с выбором жертвы, наслаждается безраздельной властью. Все-таки выбрал: вот тот...

Затем Фритш тычет в обреченного во второй шеренге, подходит к третьей. А здесь, в третьей, рядом, плечом к плечу, стоят Уваров с Ришардом. Ришард и Фритш встречаются взглядами. Смотрят не мигая, в упор. Ноздри Фритша раздуваются, короткие толстые пальцы, обхватившие рукоятку парабеллума, подрагивают. Черным дулом пистолета упирается в переносицу Ришарда: этот.

Круто повернувшись, лагерфюрер направляется — тук! тук! тук! — к следующей шеренге. Но Уваров не слышит его оглушительных шагов. Он не отрывает глаз от мертвенно побелевшего лица Ришарда. Пройдут еще считанные минуты — десять, пятнадцать, и вместе с другими обреченными его уведут в одиннадцатый блок, откуда одна лишь дорога — в крематорий. И останутся Кристинка с Ясеком одни. Во всем мире одни...

Уваров глубоко, жадно, словно про запас, втягивает в себя ядреный воздух, делает четкий, твердый шаг из строя:

— Разрешите?

На несколько мгновений Фритш теряет дар речи. Нелыханное дело! Какой-то заморыш нарушает порядок, осмеливается самостоятельно подавать голос. С ума сошел? Так он не первый.

— Что хочет эта свинья?

Уваров говорит:

— Хочу на казнь вместо другого. Можно?

Сбитый с толку, Фритш молчит. Затем интересуется: вместо кого?

— Вот, — показывает Уваров на Ришарда.

— Почему именно за него?

— Я слаб, немощен. И руки, видите? Раны рваные, может быть заражение крови. Какой вам от меня прок? А он...

— Ты есть дохлятина! — соглашается Фритш. — Русская свинья! А лезет в герои. Откуда такой выискался?

— Из Куйбышева, — отвечает Уваров. Плечи его

расправляются, голова поднимается выше. — Есть такой город. Он на Волге, как и Сталинград...

— Семен Гаврилович! Семен Гаврилович!.. — будто откуда-то очень издалека услышал Уваров голос Светланы Аркадьевны. — Я больше не могу здесь. Не могу...

Выбравшись из подвала на первый этаж, они столкнулись с Каплюньковым. Тот обрадованно зачастил:

— Вот вы где. А я вас ищу, ищу. Идемте скорее. Сейчас экскурсовод покажет виселицу. На ней повесили Гесса. Скорей!

Уваров посмотрел на Каплюнькова так, словно перед ним было совершенно пустое место. А Светлане Аркадьевне сказал:

— Что ж, раз экскурсовод поведет... Но вы сначала успокойтесь. Нельзя так дрожать. Просто внушите себе: на то, что творили здесь фашисты, способны не люди, а звери.

— Но разве, Семен Гаврилович, хоть один зверь может додуматься до подобных надругательств над человеком? Может?

Он не отвечал долго. Лишь когда подошли к месту, где по приговору Верховного народного трибунала в Польше был повешен бывший комендант лагеря, проговорил:

— Вот потому-то, Светлана Аркадьевна, ваш сын и выбрал такую дорогу. Дорогу человека с ружьем. Чтобы огрadyть мир от двуногих зверей.

Нет, никогда, до конца дней своих не простит себе Светлана Аркадьевна, что поддалась уговору Уварова, отошла от него. Видела же, хоть он и тщательно скрывал, все время видела: ему очень и очень плохо. Настолько плохо, что посинели губы. Правда, ошибку свою все-таки поняла, торопливо вернулась туда, где он остался, но его уже не было. Каплюньков, оказавшийся рядом, сказал с плохо скрытой обидой и ехидством:

— Ищете своего полковника? Вон туда подался.

И показал небольшой пустырь, где в стороне от лагерных строений, на заметно возвышающемся пригорке росла одинокая сосна.

С судорожно колотящимся сердцем, почти бегом взбегая на пригорок, Светлана Аркадьевна обнаружила, что сосна старая, у кроны покривленная, ствол ее прочерчен черной бороздой — когда-то ударила молния. Потом в двух-трех метрах от дерева заметила вырытую в песке яму. Ос-

вещенный прощальными лучами скользящего над самым Освенцимом солнца, в ней белел хорошо сохранившийся скелет какого-то животного, скорее всего собаки. А Уварова увидела Светлана Аркадьевна не сразу потому, что его скрыл толстенный ствол сосны. Он сидел, крепко прижавшись спиной к этому стволу и вытянув перед собой длинные негнувшиеся ноги.

— Семен Гаврилович! Семен...

Уваров был мертв.

**МОИМ ФРОНТОВЫМ ДРУЗЬЯМ**

Пройдут года,  
Позарастают тропы,  
Исхоженные нами на войне.  
Но города  
Истерзанной Европы  
Нам будут часто  
Видеться во сне.  
И каждый раз,  
Рассказывая были,  
Об этом память  
Бережно храня,  
Мы вспомним тех,  
Что с нами рядом были  
В годину бед  
На линии огня.  
С кем штурмом брали  
Вражеские дзоты,  
Когда огонь  
Безжалостно косил;  
С кем на полесских  
Маялись болотах,  
По пояс вязли  
В месиве трясин.  
Вот мы стоим,  
Как некогда У Брянска,  
И снова ждем,  
Как это было там,  
Когда ж прочтет  
В честь нас,  
Героев Гданьска,  
Приказ победный  
Диктор Левитан...  
В родном краю,

Уже под мирным кровом,  
В кругу друзей  
Бокалами звеня,  
Я вспомню их  
Душевым, теплым словом,  
Как и они  
Когда-нибудь  
Меня...

Гданьск, 1945 г.

## СТАРЫЙ СОЛДАТ

В воскресенье в доме тишина.  
Люди не торопятся проснуться,  
люди не торопятся коснуться  
дел своих

и нежатся со сна.

Все, что надо, сделано в субботу,  
вымыт пол, закуплены хлеба.  
И неутомимая судьба  
не спешит начать свою работу.  
В воскресенье в доме тишина.  
А тебе вдруг вспомнилась война.  
Очень дождь тогда ты не любил —  
тяжелели мокрые шинели  
и уже мешали, а не грели,  
и окоп со стенок глиной плыл.  
В обороне ладно уж. А вдруг —  
наступление. Тут уж не до шуток!  
Ты сейчас в любое время суток  
помнишь мины чавкающий звук.  
Но впервые ранило тебя  
в жаркий полдень далеко от боя  
на проселке пулею шальною,  
под Москвой в начале сентября...  
Но когда все это было — в среду  
или в пятницу? Узнай поди...  
Словно непрерывный день один —  
все четыре года до победы...  
Воскресенье. Люди долго спят.  
Отдохни еще и ты, солдат!

**ПРИКАЗ  
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО  
ПО ВОЙСКАМ КРАСНОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОМУ  
ФЛОТУ**

8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.

Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена, Германия полностью разгромлена.

Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны.

В ознаменование полной победы над Германией сегодня, 9 мая, в День Победы, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам Красной Армии, кораблям и частям Военно-Морского Флота, одержавшим эту блестящую победу, — тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи орудий.

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!

Да здравствуют победоносные Красная Армия и Военно-Морской Флот!

**Верховный Главнокомандующий  
Маршал Советского Союза                      И. Сталин**

9 мая 1945 года, № 369.

## О МИТИНГЕ КОЛХОЗНИКОВ С. ЗАБОРОВКА ПО СЛУЧАЮ ПОБЕДЫ НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ

С раннего утра село Заборовка оживилось. На зданиях всех учреждений, на домах колхозников развеваются красные флаги. На улицах повсюду нарядные, ликующие люди.

...Колхозники поздравляли друг друга:

— С Победой, дорогие!

Сюда пришли муж и жена Петровы, родители двух воинов-фронтовиков, сражавшихся в боях за Берлин и неоднократно получавших благодарности... Все стахановцы: тт. Варнакова, Храмова, Кулагин, чьи сыновья прославили себя в боях с гитлеровцами. Сияющим пришел т. Чечин, шесть братьев которого прошли трудный путь войны от Сталинграда до Берлина.

Митинг открыл председатель колхоза т. Короткин.

— Великая Отечественная война закончилась полным разгромом врага, — сказал он. — Теперь задача состоит в том, чтобы восстановить наше народное хозяйство, и для этого надо трудиться упорно и много.

— Враг разбит, — заявил т. Петров, — и никогда больше не поднимет он свою зверскую морду. Поздравляю вас с Победой. Слава героям-бойцам!.. Радость наша велика. Но много и забот о ранах, нанесенных врагом. Я призываю еще энергичней трудиться для того, чтобы еще радостнее жилось в нашей любимой стране.

Колхозники послали приветствие фронтовикам-односельчанам и приняли обязательство закончить весенний сев к 20 мая.

Газ. «Волжская коммуна», 1945, 11 мая, № 91.

## САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ

К концу ночной смены в цехах Куйбышевского ордена Ленина подшипникового завода произошло нечто необычное. У всех глаза сияют радостью. Люди обнимаются, целуются, у многих слезы от избытка чувств.

Всех взволновала долгожданная радостная весть о полном разгроме проклятого немецкого фашизма.

Из уст в уста передавались поздравления в честь великого Праздника Победы.

По всем цехам прошли массовые митинги. Каждому хотелось выступить и сказать слово благодарности славной Красной Армии, всему советскому народу...

В цехе массовых сепараторов бригадир лучшей фронтовой бригады Дуся Ржевских сказала:

— Мы дождались самого счастливого дня — дня великой Победы! Усилия и лишения нашего народа не пропали даром. Победа завоевана... Моя бригада выполняла нормы на 235 процентов. В честь такой победы мы обязуемся выполнять норму на 300 и более процентов. Да здравствует Праздник Победы!

Выступившие стахановцы тт. Арчаков, Головастика и другие не могли без волнения говорить о радости победы.

Многие рабочие дневной смены, узнав по радио весть о капитуляции фашистской Германии, пришли в ночные смены, чтобы участвовать в митингах и разделить с коллективом великую радость.

Газ. «Волжская коммуна», 1945, 10 мая, № 90.

## СОДЕРЖАНИЕ

Победа!	5
<b>Степан Щипачев.</b> 22 июня 1941 года . . . . .	7
Указ президиума Верховного Совета СССР . . . . .	8
<b>Федор Тимофеев.</b> Граница . . . . .	9
Заявления куйбышевцев о добровольном вступлении в народное ополчение . . . . .	32
Из постановления обкома ВКП(б) и облисполкома о создании народного ополчения в Куйбышевской области . . . . .	33
Патриоты . . . . .	34
Народный гнев . . . . .	35
<b>Сергей Хропов.</b> Встречи давние, незабываемые . . . . .	37
Быть всегда начеку . . . . .	45
О работе молодежи по оказанию помощи фронту . . . . .	47
Товарищеские подарки . . . . .	49
<b>Иван Арсентьев.</b> Вася Шамшурин . . . . .	50
О первом открытом исполнении седьмой симфонии Шостаковича . . . . .	64
Из отчета о шефской работе артистов Государственного ордена Ленина Академического Большого театра Союза ССР в госпиталях и воинских частях за период с 1 июля по 1 октября 1942 г. . . . .	65
Отзыв политотдела 52-й армии . . . . .	67
<b>Евгений Астахов.</b> Трое со старой фотографии . . . . .	69
Письмо военного фельдшера путивльских партизан Н. Д. Ляпиной родителям . . . . .	93
Построили эскадрилью самолетов «Куйбышевский комсомол» . . . . .	94
Письмо сержанта П. Дорогова к землякам — колхозникам Кошкинского района о боях с гитлеровцами . . . . .	96
Письмо работниц завода им. Масленникова бойцам Красной Армии . . . . .	97
<b>Федор Салтыков.</b> Аировцы . . . . .	99
<b>Владимир Чугунов.</b> После боя . . . . .	115
Решение облисполкома о размещении 5000 эвакуированных детей из Ленинграда . . . . .	116
<b>Клавдия Киршина.</b> Всем миром . . . . .	118
Решение облисполкома о дополнительном приеме в область эвакуированных детей . . . . .	129
Справка Куйбышевского городского отдела народного образования об общественной работе школ за период Великой Отечественной войны . . . . .	130
<b>Андрей Павлов.</b> У огня лучины . . . . .	132

Письмо командного состава соединения Макарова куйбышевским рабочим . . . . .	159
Федор Сухов. В бою под Орлом, под Варшавой... . . . .	161
Владимир Глебов. И выстоять, и победить!.. . . .	162
Николай Асеев. Волжская военная флотилия . . . . .	172
Записка курсанта И. Шестовских — участника битвы на Волге . . . . .	175
Григорий Тертышник. Здесь начиналось возмездие . . . . .	176
Семен Гудзенко. Не до отдыха нам . . . . .	187
Детям Сталинграда . . . . .	188
Бригаде артистов — медаль «За оборону Сталинграда» . . . . .	189
Валентин Беспалов. Семен Табачников. Соревнование . . . . .	190
Соревнование по профессии . . . . .	204
Антанас Венцлова. На Волге . . . . .	205
Достойное пополнение Красной Армии . . . . .	206
Подвиг . . . . .	207
Подвиг сержанта С. Заруднева . . . . .	209
Александр Алга. Кровь. . . . .	211
Иван Падерин. Сквозь огонь . . . . .	213
О сборе средств на постройку танковой колонны «Куйбышевский колхозник» . . . . .	219
Еще крепче помогайте Красной Армии . . . . .	220
Виктор Кочетков. В тылу врага . . . . .	222
И. Подорожанский. Девон . . . . .	233
Мы дадим армии столько нефти, сколько нужно! . . . . .	236
Нерушимая связь фронта и тыла . . . . .	238
Принимай, фронт! . . . . .	239
Самолеты «Валериан Куйбышев» громят врага . . . . .	242
Вениамин Жак. Отомсти врагу, крылатый «Куйбышев»! . . . . .	243
И. Горюнов. Клянули! . . . . .	244
Куйбышевцы — трудящимся Смоленска . . . . .	247
Письмо бойцов Красной Армии с призывом крепить связь тыла с фронтом . . . . .	248
Михаил Толкач. Касатик . . . . .	249
Александр Яшин. Что нам тысячи километров! . . . . .	262
Фронтовики отвечают . . . . .	263
Письмо Героя Советского Союза П. Павлова колхозникам-землякам . . . . .	264
Сергей Кузнецов. Стелла . . . . .	265
Мщу за мужа! . . . . .	268
Владимир Разумневич. Солнце на ватмане . . . . .	269
Танцплощадка . . . . .	276
Анатолий Леднев. Тайник у заставы . . . . .	278
Иван Акулиничев. Еще не кончена война . . . . .	282
Борис Сиротин. Юность командира . . . . .	283
Андрей Вятский. Фронтовой блокнот сержанта Карягина . . . . .	290
Я по чужой земле иду . . . . .	305
Владимир Удалов. Стихи . . . . .	306
Константин Малыгин. За три дня до наступления . . . . .	308
Самуил Эйдали. Треблинка . . . . .	321
Владимир Удалов. Глоток волжской воды . . . . .	323
Письмо командира танковой роты гвардии старшего лейтенанта А. П. Долгова матери . . . . .	330
Валентин Мясников. Уваров . . . . .	331

<b>Самуил Эйшлин.</b> Моим фронтовым друзьям . . . . .	344
<b>Борис Соколов.</b> Старый солдат . . . . .	346
<b>Приказ</b> . . . . .	347
<b>О митинге колхозников с. Заборовка по случаю победы над</b> <b>фашистской Германией</b> . . . . .	348
<b>Самый счастливый день</b> . . . . .	349

Составители: **Табачников Семен Михайлович**  
**Толкач Михаил Яковлевич**

## НАВЕКИ ПАМЯТНЫЕ ДНИ

Редактор **Н. В. Сорокин**  
Художник **Г. Г. Коновалов**  
Худож. редактор **Е. В. Альбокрипов**  
Технический редактор **З. К. Яшина**  
Корректор **Э. И. Щербак**

Сдано в набор 10/IX 1974 г. Подписано к печати 21/III 1975 г. ЕО05171.  
Формат 60X84<sup>1/16</sup>. Бум. № 1 типографская. Печ. л. 22. Усл. печ. л. 20,46.  
Уч.-изд. л. 17,21. Цена 90 коп. Тираж 15 000 экз. Заказ № 6846.

Куйбышевское книжное издательство, г. Куйбышев, ул. Спортивная, 5/27.

Тип. изд-ва «Волжская коммуна», г. Куйбышев, пр. Карла Маркса, 201.



